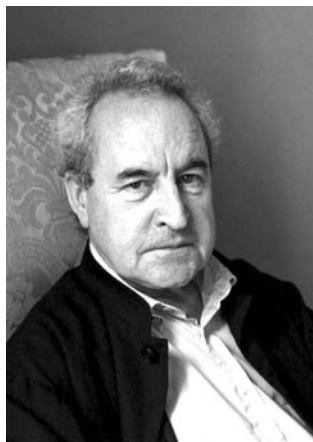


Джон Бэнвилл



[3]

ИЛ 3/2022

Плащаница

Роман

Перевод с английского Даниила Адельсона

Под редакцией Анастасии Бородачевой

Мы создаем слово в точке, за которой начинается наше незнание, дальше которой не способны видеть, например, слово “я”, слово “делаю”, слово “страдаю” — они, скорее всего, являются линией горизонта нашего познания, но никак не “истиной”.

Первая

КТО говорит? Это ее голос, в моей голове. Боюсь, это не кончится, пока не кончусь я. Она говорит со мной, пока я волочусь в одиночестве по этим мощным улочкам, говорит то, что я не хочу слышать. Иногда я отвечаю, громко протестую, требую, чтобы меня оставили в покое. Вчера в пекарне на виа Сан-Томмазо, где я часто бываю, я, должно быть, вы-

SHROUD

Copyright © 2002, JOHN BANVILLE

All rights reserved

© Даниил Адельсон. Перевод, 2022

крикнул что-то, возможно, ее имя, ибо все в этом людном месте вдруг посмотрели на меня, как у них бывает: не с тревогой и неодобрением, а с любопытством. Они уже знают меня: пекарь, мясник, парнишка в овощной лавке, а также их клиенты — в основном домохозяйки с крашенными хной волосами, пухлые, как голуби, крепко надушенные, с уродливыми украшениями и большими, темными глазами. Отмечу их удивительно стройные ноги; дамы стареют сверху вниз, ведь это все еще те слегка изогнутые, соблазнительные ножки, которые были у них в двадцать лет или даже раньше. Я их явно интересую. Возможно, их привлекает некоторый намек на *commedia dell'arte*¹ в моем облике: мрачный взгляд с прищуром, комично исковерканная походка, палка и шляпа вместо дубинки и маски Арлекина. Кажется, они не против, что я со странностями. Но я не спятил, правда, я всего лишь очень, очень стар. Я будто прожил целую вечность. Оглядываясь назад, я вижу то, что кажется первозданной тьмой, усеянной пятнами холодного жесткого света, бесконечно далекими друг от друга и от меня. Скоро, через несколько месяцев, мы вступим в последнюю декаду этого тысячелетия; к сожалению, я не доживу до следующего, но минувшие годы принесли столько славы, столько восторгов.

Да, я вернулся в этот город с аркадами, что, может быть, и неразумно. Я снял жилье в одном из переулков рядом с Дуомо, не скажу, в каком именно, по причинам, которые не до конца мне ясны; однако признаюсь, что временами беспокоюсь, как бы не заявила полиция. Оно не так уж велико, мое прибежище: пара комнат, низкие потолки, сырость; окна такие маленькие и грязные, что приходится держать настольную лампу зажженной весь день из страха споткнуться в полумраке. Я бы не хотел, чтобы меня нашли здесь мертвым: дверь выломана, кричащая квартирная хозяйка, и я бог весть в каком виде. Она, квартирная хозяйка — *quella strega!*² — вдова с явными театральными наклонностями. Она говорит, что раньше здесь был квартал красных фонарей, и бросает на меня многозначительный взгляд, широко раскрывая глаза и откидывая голову назад, демонстрируя неприятные и огромные, как пещера, ноздри. Я всегда подозревал, что закончу подобным образом: изгоем, который волочится по закоулкам некоего города, разговаривает с самим собой и ловит пристальные взгляды прохожих. И все же я решил вернуться сюда, хотя, конечно, и не из нежной привязанности. Турин

1. Уличная импровизационная комедия итальянского Возрождения (*итал.*).
(Здесь и далее — *прим. перев.*)

2. Эта ведьма! (*Итал.*)

напоминает огромное, вычурное кладбище, со всем этим мрамором, памятниками, жестикулирующими статуями; неудивительно, что бедняга Н. сошел здесь с ума, возомнив себя царем и отцом царей, и дошел до того, что однажды остановился на улице, чтобы обнять клячу извозчика. Они потеряли его багаж, как и мой когда-то, отослали в Санпьердарену, когда тот направлялся в противоположную сторону; с тех пор Н. не мог слышать мелодичное название этого места без гневного ворчания.

Но довольно этих капризов. Я собираюсь объяснить себя, самому себе и тебе, моя дорогая, ибо, если ты говоришь со мной, то, несомненно, можешь и слышать. Спокойно, тихо, избегая привычной вычурности тона и жестов, я буду говорить о том, что знаю, за что могу поручиться. Полип сомнений сразу поднимает свою тупую и уродливую головку: что я знаю? за что могу поручиться? *Не существует ни духа, ни разума, ни мышления, ни сознания, ни души, ни воли, ни истины — все это вымысел.* Так заявляет безумный философ, размахивая своим могучим молотом. И все же меня преследует мысль, что мне послан последний шанс искупить какую-то часть себя. Я не говорю о душе — я не так далеко зашел в своем слабоумии. Но, быть может, некую маленькую, драгоценную вещь я могу выкупить, как однажды выкупил у ростовщика серебряную таблетницу Мамы Вандер. Я задаюсь вопросом, могло ли это быть твоей истинной целью: не разоблачить меня, сделав себе на этом имя, а, скорее, предложить мне возможность искупления. Если да, то ты уже сделала свое дело: искупление — не то слово, которое до сих пор занимало видное место в моем словаре. Но в то время твои мотивы не были мне ясны — впрочем, подозреваю, они не были ясны и тебе. Возможно, ты действительно меня предала, и вскоре в уголке академического мирка неожиданно всплывет издание с посмертным эссе, написанным тобой обо мне, и я буду опозорен, осмеян и изгнан из аудитории под свист толпы. Впрочем, неважно.

Имя, мое имя — Аксель Вандер, на этом я настаиваю. Хотя бы на этом, если не на большем. Ее письмо доставили мне как-то утром, давным-давно, в славном городке Аркадия: Гермес в шлеме и очках привез его на велосипеде. Содержащееся там послание я ждал, я страшился его всю свою жизнь, ту жизнь, которую считаю настоящей. И вот время наконец пришло, и первое, что я почувствовал, — замешательство, будто мне вдруг сказали, что моя давно умершая сестра, которую я едва помню и никогда не любил, все же не умерла, а жива-здорова, обитает в соседнем пригороде и собирается нанести мне не-

возможный визит. Что бы я мог сказать о той отверженной версии себя спустя столько времени? Я пил виски целый день, впав в эйфорию от ужаса и паники, и проснулся глубокой ночью, обнаружив себя сторбившимся на старом вращающемся стуле, внизу, в кабинете, с догоревшим окурком, все еще зажатым в пальцах. Снаружи, в мягкой калифорнийской темноте, я чувствовал запахи, которые даже сейчас, спустя столько времени, кажутся мне экзотическими: эвкалипт, еще теплая от дневного солнца пыль, запах древесного угля, доносящийся со светлых холмов, где месяцами сонно тлели в траве костры. Я позволил письму упасть на пол и рассмеялся безумным, пьяным смехом. По Кедровой улице, шипя шинами, проехала машина; она двигалась очень медленно, будто водитель считал номера домов, и я подумал о маске, за которой прищуренные глаза пристально рассматривают двери и слепые окна. Я поднял руку, выставил большой палец вверх и ткнул указательным в темноту, туда, где была дверь. Я снова рассмеялся, на этот раз более спокойно, повернул руку, засунул указательный палец в рот и позволил большому упасть, как бойку пистолета. Я бы пустил себе пулю в лоб, если бы... если что?

Тьфу.

Я попытался встать, но не смог и с грохотом повалился обратно — стул подо мной взвизгнул в агонии, а мертвая нога загромыкала, словно упавшее бревно. Я ненавижу эту ногу, неизменный спутник моих непутевых лет, ненавижу даже больше, чем незрячий глаз, который неподвижно и свирепо смотрит на меня по утрам с зеркальной глади, затуманенный и бесцветный, — таким я представляю себе глаз мертвого альбатроса. Вот я — мертвый груз, повисший на собственной шее. Но долго так продолжаться не будет. В последнее время я начал ощущать, что хую, — скоро моя старая плоть истает со скелета, и все исчезнет. Я не буду возражать, я буду рад; тогда, отделившись от всего несущественного, я стану, со сверкающими костями и сухожилиями, гладкими, как воск свечи, новым, неизвестным, — наконец-то моим настоящим “я”. Бывают мгновения в состоянии опьянения или после него — говорят, их иногда переживают страдающие от сердечных приступов люди, — когда мне кажется, что я отделяюсь от своего тела, плыву вверх и зависаю в воздухе, глядя на самого себя с отстраненным вниманием. Это случилось и сейчас. Я увидел себя распростертым там, внизу, а затем снова переместился обратно неистовым рывком, как стреноженная лошадь, что беспомощно бьется и фыркает, пытаюсь встать на ноги. Я потянулся за стоящей на столе бутылкой и жадно отпил из гор-

лышка, издавая сосущие звуки. Рот саднило от выпитого за день. Рука повисла рядом со стулом, бутылка выскользнула и неуверенными толчками покатилась по полированному деревянному полу, изливая содержимое булькающими спазмами. Пусть льется. По правде говоря, мне не нравится дымно-пельный вкус бурбона, но я уже давно избрал его своим напитком, следуя стратегии несоответствия — еще одного способа оставаться на страже; так актер кладет камешек в ботинок, дабы напомнить себе, что персонаж, которого он играет, хром. Это было в те дни, когда я переделывал себя. Было несказанно трудно рассуждать именно так, а не иначе, учиться разборчивости, искать золотую середину — никто не узнает, насколько трудно. Если бы это было создаваемым мной произведением искусства, они бы аплодировали моему мастерству. Возможно, это было моей ошибкой — делать все тайно, а не открыто, с размахом. Их бы это развлекло, они бы простили меня — Арлекин всегда прощен, всегда выживает.

Я услышал под одним из колесиков стула шорох бумаги, подобный предостерегающему хихиканью. Это было то письмо. Видите: я наклоняюсь, кричаю, поднимаю его, расправляю кулаком на подлокотнике и снова читаю в конусе света, усеянного золотистыми пылинками; моя старая, безумная голова наклонена, покатое плечо, увитая веревками вен рука, как клешня; биение пульса в висках, машинописные строки дрожат в его ритме, здоровый глаз слезится от напряженной попытки удержать слова в одной строчке. Она в Антверпене — Боже мой, Антверпен! — ее замысловатый, ученый тон меня позабавил. Из всех сил пытаюсь сосредоточиться, я размышлял о том, как много она может знать обо мне. Я думал, что стряхнул шкуру далекого прошлого, однако вот свидетельство того, что она не сброшена, а волочится за мной, болтаясь на одной-двух нитках засохшей слизи.

Тогда мне с пьяной ясностью пришло в голову, что я должен сделать. Странно, как этот полный случайностей мир незаметно внушает нам свои хитроумные замыслы. Я порылся в бумагах на столе, нашел пролежавшую там целую неделю тисненую карточку и с гримасой презрения прочитал напыщенные и высокопарные уговоры: “Chiarissimo Professore! Il Direttore del Convegno considera un altissimo onore e un immenso piacere invitarla ufficialmente a Torino...”¹ Я, конечно, намеревался отказаться резкой, пренебрежительной от-

1. “Уважаемый профессор! Организатор Конференции почитает за высокую честь и огромное удовольствие официально пригласить Вас в Турин...”
(Итал.)

пиской, но сейчас понял, что должен ехать и там заставить ее прийти ко мне. Где же еще встретить свою погибель, как не там?

Когда я прочитал письмо, моим первым порывом было исчезнуть, просто оставить свою жизнь, как я уже сделал однажды с исключительным успехом. Сейчас это может быть не так просто; тогда я был никем, теперь же есть люди — их немного, но живут они на разных континентах, — которым знакомо имя Аксель Вандер. Однако у меня были намечены пути к отступлению: секретные банковские счета приведены в порядок, убежища укреплены и ждут... Я, конечно, преувеличиваю. Но минуту или две я действительно тешил себя мыслью о побеге, и мысль эта меня забавляла; я почувствовал себя смелым, готовым к риску — вновь молодым. Я задавался вопросом: знает ли сия обладательница ядовитого пера — кем бы она ни была — о влиянии ее письма на меня? А что если она специально дает мне время, чтобы я мог все бросить и сбежать? Но куда? Какие бы планы я ни вынашивал, убежать дальше этого желтовато-коричневого берега — последней окраины известного мне мира — я не мог. Нет, я бы не стал этого делать, не доставил бы ей удовольствия слышать, как, спасаясь бегством, тяжело стучат и спотыкаются мои глиняные ноги. Гораздо лучше встретиться с ней, рассмеяться в лицо обвинениям — ха! Я бы, конечно, ей солгал; лживость — моя вторая, нет, даже первая натура. Всю свою жизнь я лгал. Я лгал, чтобы сбежать, чтобы меня любили, чтобы получить место и власть; я лгал, чтобы лгать. Это было образом жизни; ложь — почти анаграмма слова “жил”. И вот моя искусная ложь обнаружилась, и вскоре я буду уничтожен.

Проснулся я в пять, в потоке призрачного света, еще не совсем трезвый. На секунду мне почудилось, что Магда издаст знакомый жалобный стон и, словно вздымающаяся волна, перевернется на кровати. Я протянул руку туда, где ее не было: простыня была пронизана каким-то особым, едва уловимым, липким холодом, который я, должно быть, себе вообразил. Я полежал немного с закрытыми глазами и закурил, затем встал и пошел босиком в гостиную, стуча безжизненной ногой по кленовым доскам. Я не склонен к апокалиптическим настроениям, ибо столько раз видел, как миры, казалось бы, ушедшие навсегда, продолжали существовать, но в то утро у меня было ощущение, что я пересек — меня заставили пересечь — невидимую черту, и я нахожусь в состоянии, которое навсегда останется состоянием “после”. Точкой перехода, конечно, было письмо. Теперь я был рассечен надвое окончательно, я — тот, кто всегда был больше, чем просто самим со-

бой. С одной стороны находилось знакомое “я”, каким оно было до получения письма; теперь же появилось новое Я – странная, заглавная буква, накренившаяся в сторону от всего известного ранее, внезапно ставшего незнакомым. Дом выглядел настороженным, будто его возмущало вторжение в его тайные дела в столь ранний час. Призрачные тени теснились по углам, стараясь остаться незамеченными. По окну струился дождь, стена напротив была покрыта рябью и походила на темный шелк. Я замер и начал всматриваться во тьму, пытаюсь сосредоточиться; когда-то присутствие Магды было осязаемым, но не сейчас – и тени были просто тенями. Из сада был слышен стучащий по листьям и глине дождь, и я представил себе, как он, точно проволока, стремительно падает сквозь безветренную зарю.

Кофемашина все еще фырчала, когда дождь внезапно прекратился. Я так и не привык к погоде на этом побережье, она всегда была слишком упорядоченной, слишком предсказуемой: здесь весной за утренним ливнем неизменно выходит солнце, и нет ничего из той непредсказуемости, разгоряченной лихорадки весен моей юности. Аркадийцы в своей развязной и неприветливой манере всегда жалуются на климат, но для меня такие условия едва ли являются непогодой: я выходец из северо-европейских мрачных долин с их ледяными бурями, косыми дождями и небесами, полными мятежных туч, что бесконечно движутся на восток. Я понес свою дымящуюся кружку в угол, где обычно завтракаю, и неуклюже забрался между скамейкой и столом. Промокший сад, взерошенный и сверкающий, имел смущенный вид добропорядочного обывателя, приводящего себя в порядок после непотребной шалости. Над заливом расстелется туман на пол-утра, пока солнце не станет достаточно сильным, чтобы сжечь его, как говорят здесь синоптики. Мне нравится это выражение – *чтобы сжечь его*, есть в нем что-то образное, живое, уверенное. Здесь, на этом побережье, к стихиям нужно относиться снисходительно; даже нередкие катастрофы – своего рода шутка, распространенная в обиходе. Первые месяцы после того, как мы переехали в этот дом, я любил вот так сидеть по утрам: смотреть на деревья с авокадо и персиками, на колибри, порхающих вокруг кустарника, который, кажется, зовется гибискусом, в состоянии трепетного блаженства вполуха слушать утренние новости по радио, с нетерпением ожидая, когда в конце комично-торжественный голос диктора сообщит, что ждет меня сегодня: максимум и минимум температуры – здесь она не бывает слишком высокой или слишком низкой, – ветерок, как дыхание, тихий и мяг-

кий, марево дыма. Это было все равно, как если бы вам посулили череду щедрых и совершенно незаслуженных угощений.

Когда я наспех побрился и вышел из ванной, надевая галстук, Магда *была* там в своем старом сером халате с изношенным пояском. Она сидела в углу, в котором до этого сидел я. Она выглядела такой же реальной, как кресло: руки на бедрах, фланелевый подол между широко разведенными коленями; сердце гулко застучало в груди, и я на секунду испугался, что упаду. Именно такой я запомнил ее в этом доме: сидит в невралгическом свете раннего утра, стальные волосы с пробором точно посередине, тяжелые косы свернуты на голове, как два огромных наушника, босые мозолистые ноги, задумчивый, ничего не ожидающий взгляд чуть отведен в сторону. Сегодня она тоже немного отвела лицо и как всегда настороженно склонила голову. Казалось, она заговорит, надо только немного подождать. Но затем я моргнул, и она исчезла — сердце, что-то проворчав, успокоилось и забилося в привычном, размеренном ритме. Почему она не может оставить меня в покое? Она хотела уйти, я в этом уверен, так почему же она продолжает вот так возвращаться? Чашка кофе стояла там, где появилась Магда, и над ней все еще вился слабый шлейф пара, похожий на дымок из ствола пистолета.

Обессиленный, я вошел в помещение, которое мы почему-то называли гостиной. Это была самая темная комната в доме, лампа тускло горела там днем и ночью. Возможно, именно поэтому люди никогда здесь не задерживались, несмотря на диван, мягкие кресла и книжные полки, на которых книги лежали в беспорядке... Люди? Что я говорю? Здесь не было людей, о которых можно было бы говорить, кроме меня и Магды. Мы не жаловали гостей; мы не были общительны; мы едва ли знали имена ближайших соседей — я настаивал на таком порядке вещей, и Магда охотно соглашалась — или же мне так казалось. Я сел на диван, уставший, раздавленный внезапным, сладковатым приступом жалости к себе. Я никогда не ощущал так остро трагизма и опасности жизни, как ранним утром, в то время, когда должен быть полон новых надежд и энергии. На мгновение моя решимость пошатнулась: почему я собираюсь в эту поездку, чего хочу добиться? Я обхватил рукой колено, поднял мертвую ногу и с грохотом водрузил ее на один из маленьких столиков, отчего настольная лампа подпрыгнула и замерцала. Что мне оставалось? Только ехать.

В комнате было единственное большое окно, которое выходило на узкую дорожку и стену соседнего дома. День полностью утвердился в своих правах, и окно превратилось в боль-

шой прямоугольник сырого солнечного света, который по диагонали разрезали тени цвета индиго; напротив во мраке сидел я — это могло бы быть картиной, наглядной и унылой, примитивным изображением метафорической сцены. Я снова про себя отметил, насколько необычен солнечный свет в этих краях: неизменное и ровное матовое сияние заполняет собой все пространство, словно мерцающий, бледный газ, который спускается не с неба, а струится из каждой вещи, на которую попадает, — белые, как кубики сахара, здания, пастельные автомобили, блестящие черно-зеленые деревья выстроились на каждой улице, будто мечтательные стражи. Но еще раньше я отметил, как в комнате пыльно. С тех пор как ушла Магда, я не делал попыток поддерживать в комнате порядок и даже не знал наверняка, где находится все необходимое для уборки. Хотя должны же быть в доме метла, швабра и ведро? У меня сложилось впечатление, что Магда вызывала горничную, та приходила в мое отсутствие, и я, бывало, поджидал все утро, но никто не появлялся. Может быть, я всего лишь вообразил себе иссиня-черную Джемиму с выпученными глазами, огромной грудью и белой, завязанной узлом косынкой. Так неужели Магда всю работу по дому делала сама? Не знаю, почему это так меня удивляет. Теперь, когда она ушла, пыль преспокойно лежит повсюду — крупный, рыхлый слой цвета кротового меха исчерчен тропами лабиринта, которые составляют картину моей вдовой жизни в доме: от двери в коридор, из кухни к столу, из ванной в спальню. Границы моего мира исчезали, превращаясь в серую полутень рыхлой грязи.

Вдовый или вдовец? Есть такое слово — вдовый? Временами даже язык мне ставит подножку, чтобы я еще раз споткнулся.

Для меня было загадкой, чем занималась Магда в последние годы, в то время, когда меня не было, — а я все больше старался дома не бывать. Работа по дому едва ли могла быть исчерпывающим ответом даже для такой неторопливой и задумчивой женщины, какой была Магда. Всякий раз, когда я расспрашивал о том, что она делала днем, у нее делался затравленный вид, она слегка отворачивала лицо и опускала плечо, и я чувствовал, будто натолкнулся на большое, настроженное травоядное животное. Эти пугливо-подобострастные реакции всегда раздражали меня, хотя я и не мог придумать, какими словами выразить негодование, и мне приходилось довольствоваться ожесточенной улыбкой с побелевшими от ярости губами и быстрым втягиванием воздуха через ноздри с шипением рептилии, что заставляло ее вздрагивать. Мне доставляло удовольствие, что после этого

она весь вечер ходила по дому с кротким, обеспокоенным взглядом и вела себя очень тихо, словно с тревогой прислушивалась, не утих ли мой гнев. Когда мы вместе бывали на какой-нибудь неизбежной вечеринке или приеме в колледже, я не мог устоять, чтобы не сказать о ней несколько сдержанных колкостей, приглашая того, кто по незнанию вовлекал себя в разговор, присоединиться к моим насмешкам над ее невзрачным одеянием и нелепым, безмолвным присутствием рядом со мной. Отчасти именно мои колкости сделали ее объектом общих насмешек: годами я слышал, как ее называли Мэдхен Вандер, Муттер Вандер и, как ни странно, Старая Ева. Ее будто бы не обижала открытая, мелочная жестокость: она застенчиво улыбалась, словно гордясь тем, как отвратно могу я себя вести, ее большие черные глаза-бусины сияли, верхняя губа выступала вперед. Конечно, эта изрядная терпимость приводила меня в ярость, и мне хотелось ударить ее прямо там, пока она, осыпаясь насмешками, стояла в своем пальто, в широких плоских ботинках, с бокалом вина в руке, из которого забывала отпивать, умиротворенно погружившись в бездонные глубины себя, — моя большая, неспешная, загадочная супруга, которую я, должно быть, любил без малого сорок лет, что мы прожили вместе, ибо, в противном случае, я бы ее оставил.

Я встал с дивана и снова пошел в спальню, где с удивлением обнаружил, что уже собрал чемодан. Должно быть, я сделал это ночью, когда был пьян. Я не запомнил этого. Однако я вспомнил звонок в авиакомпанию, и что, к моему удивлению, ответил не автомат, а человек бодрым, раздражающе-веселым голосом: “Никак не могу приспособиться к нарастающему безвременью”, — но после этого в памяти осталась лишь нечеткая, тихо гудящая пустота сна с похмелья. Возможно, дело не только в бургоне, и я схожу с ума.

Как обнаружить наступление старческого маразма, если само критическое мышление под угрозой? Будут ли впереди промежутки облегчения, вспышки пугающей ясности среди пустой болтовни, пробирающие до дрожи моменты узнавания себя перед зеркалом, когда в ужасе таращишься на закапанный слюнями воротник рубашки и ширинку с пятнами мочи? Может быть, и нет, может, я одряхлею, не подозревая об этом. Наступление глубокой старости — как я убеждаюсь на собственном опыте, — медленный процесс накопления и оседания мягкой серости на вещах, вроде пыли в заброшенных домах, под которой некогда отчетливые края моей самости стираются. Существует также и обратный процесс, когда вещи становятся жесткими и неподвижными: мой стул превра-

щается в слитки горячего железа, суставы иссыхают так, что натирают друг друга, словно пемза, ногти на ногах становятся твердыми, словно рог. Все вещи в мире, якобы неодушевленные, присоединяются к заговору против меня. Вещей нет на своих местах, я их теряю: очки, книгу, которую читал минуту назад, выкупленную серебряную таблетницу Мамаы Вандер — снова я об этой безделушке, которую хранил как талисман более полувека и которая теперь, видимо, пропала навсегда, исчезнув в расщелине времени. Предметы падают с верхних полок, мебель вырастает на моем пути. Я случайно наношу себе порезы — бритвой, ножом для фруктов, ножницами, не проходит недели, чтобы утром я снова не обнаружил себя ссутулившимся над раковиной и неуклюже раскрывающим зубами пластырь, пока кровь из рассеченного пальца с шокирующей обыденностью капает на керамику. Разве эти зловключения не отличаются от прежних? Я всегда был неловок, даже в самые лихие годы юности, но сейчас я задаюсь вопросом, не является ли нынешняя неуклюжесть чем-то новым, не просто неповоротливостью, а радикальной трансформацией, внешним проявлением провалов и окончательных замыканий, происходящих глубоко в мозгу. Незначительные мелочи — самые верные предостережения, нужно лишь быть внимательным. Первым замеченным мной признаком болезни Магды было внезапное пристрастие к попкорну, картофельным чипсам, ирискам, щербету, дешевым леденцам — всему тому, что так любят дети.

На улице просигналил клаксон; для меня звук автомобильного гудка — самый характерный голос этой великой страны: горластый, императивный, с оттенком радостной издевки. Я схватил чемодан, палку и, спотыкаясь, пошел к двери, словно отбывший длительный срок заключенный, услышавший лязг дверного замка.

Таксист был карикатурным иммигрантом с Востока, медведеподобным, неразговорчивым, скорее всего русским, — многие из них кажутся именно такими в эти дни заново обретенной свободы. Он нехотя взял мой чемодан, повернулся и неуклюже покати́л его по ступенькам крыльца. Иногда мне думается, что все побережье — съемочная площадка, и каждый здесь играет свою роль. На улице пышные деревья сияли в свете солнца, в каждом дворе распускались яркие цветы, и даже сейчас, ранним утром, в разгар весны, в воздухе ощущалась затхлость, изнуренность — еще одно следствие неменяющейся погоды и безветрия, а также смога, которого не мог рассеять даже идущий на рассвете дождь. Водитель такси не открыл мне дверь, и я с трудом забрался в приземистый авто-

мобиль: сперва забросил палку, затем, повернувшись задом и сложившись пополам, запихнул себя через дверь на сиденье, схватил обеими руками бесполезную ногу и втащил ее за собой. Сложно быть грациозным, когда ты наполовину калека. Пока я выполнял эти замысловатые маневры, русский сидел впереди, словно каменное изваяние, и бесстрастно смотрел вперед, с волосатыми ушами и грузными опущенными плечами. Потом он куда-то сдвинул рычаг — я так и не научился водить огромные, ужасающие машины из этой страны — и надавил на педаль газа: мотор взревел, такси рвануло с обочины, словно раненое животное. Обернувшись, я заметил, что один из соседей стоит на крыльце в майке и шортах, наблюдая за моим отъездом с выражением укрепившегося подозрения, словно он ждал, когда такси завернет за угол, чтобы броситься к телефону и сообщить властям, что подозрительная пташка улетела. Он один из местных: тощий, высокий тип с седыми кудрями и разбойничьими поникшими усами. За два с лишним десятилетия, что мы жили рядом, я обменялся с ним не более чем горсткой сдержанных, любезных приветствий, хотя однажды он заходил к нам пожаловаться на бродячую собаку, которую приютила Магда; разумеется, пришлось от собаки избавиться. Сейчас я впервые задумался: мог ли этот парень быть евреем? Вполне вероятно: эти кудри, этот нос. Половина населения Аркадии и ее окрестностей, казалось, принадлежала к избранному народу, хотя эти *Luftmenschen*¹ были слишком уверены в себе, слишком настойчивы; когда-то я знал других.

Мы спустились к берегу и свернули в сторону моста. Я был прав: над заливом все еще стоял туман, хотя солнце светило все ярче. Шоссе было перегружено утренним потоком машин, которые по шести полосам мчались вперед, словно стадо обезумевших животных. Я прижал руки к лицу. Я чувствовал себя уставшим, мой разум устал, он изнашивается, как и я сам, хотя и не так быстро. И все же он не перестает работать ни на мгновение, даже когда я сплю; я никак не могу смириться с этим жутковатым фактом. Я все чаще, в особенности ночью, возвращаюсь к мыслям об ужасной способности разума пережить биологическую смерть. Говорят, что отрубленная голова Дантона осыпала проклятиями Робеспьера. Не дай бог оказаться в такой западне даже на минуту, почувствовать, как останавливается сердце, как гаснет свет — ах! Такси уперлось в дорожный подъем и начало медленно карабкаться по

1. Мечтатели (нем.).

склону моста, с трудом развивая шестьдесят километров в час, шины шипели, двигатель грохотал, будто старый кондиционер. Я откинул голову на засаленное сиденье и снова закрыл глаза. Во мраке кишели старые вопросы. Что я знаю? Сегодня даже меньше, чем вчера. Время и возраст принесли не мудрость, как им положено, а смятение и растущее непонимание — каждый год оставляет новое кольцо невежества. Что я знаю? Когда я открыл глаза, мы добрались до вершины моста; перед нами был город, чинно шагающий вверх и вниз по линии невысоких холмов: щетинистые здания, плоские и безликие, как сценические декорации этого раннего часа. Крошечный самолетик парил в большом, голубоватом облаке. За все время моей жизни здесь я ни разу не был на другом мосту, знаменитом, ржаво-красном; я даже в точности не знаю, где он начинается и куда ведет. Какое мне дело до местной топографии? Топография разума — вот это другое дело. *Топография разума* — я действительно говорю такие вещи вслух?

Помятая белая машина, которую вел щуплый темнокожий юноша, внезапно выехала на нашу полосу, и русский резко нажал на тормоз — такси застонало и опасно качнулось, меня бросило вперед, и я больно ударился здоровым коленом обо что-то твердое в спинке кресла. Автомобильная катастрофа, эта квинтэссенция американского роуд-шоу, всегда была одним из моих ночных кошмаров, который пугал невыносимой абсурдностью грохота, жара и боли. Разгневанный русский начал маневрировать на дороге и наконец, вывернув руль, выехал на левую полосу, обогнал белую машину, открыл окно на пассажирской стороне и выкрикнул в него витиеватое казачье проклятие. Темнокожий, чья тощая рука покоилась на дверце машины и длинные хрупкие пальцы барабанили по ней в такт гремющей из радиоприемника музыки, повернулся в нашу сторону, широко улыбнулся, обнажая полный рот невозможно огромных и невероятно белых зубов, резко откашлялся и выплюнул вязкий зеленый комок, который со шлепком ударился об угол заднего стекла рядом с моим лицом, заставив меня вздрогнуть от отвращения. Парнишка вскинул свою египетскую голову и захохотал — я увидел этот смех, но не услышал его из-за шума автомобилей и грохота радио, — а затем лихо рванул вперед в черных клубах выхлопного дыма. Русский свирепо пробормотал несколько слов, значение которых я понял и без перевода.

Выехав с моста дорогой, которую я раньше не замечал, мы резко спустились в незнакомую местность с заправочными станциями, дешевыми мотелями и охрянными зарослями. Я

смутно подумал, действительно ли русский знает дорогу в аэропорт; далеко не в первый раз один из этих разгневанных изгнанников из Московии увозит меня не туда, куда надо. Я наблюдал за унылым пейзажем, как стремительно проносятся тени, и снова был поражен странностью пребывания здесь, да и вообще где угодно, в окружении всех этих обманчивых феноменов. Русский был русским с длинными руками и волосатыми ушами, темнокожий был просто темнокожим, носившим порванную майку и плюнувшим в нас; даже я был просто самим собой и ехал в аэропорт, а из аэропорта в другой, старый мир. Были ли мы, кто-либо из нас, чем-то большим чем набор признаков, даже для самих себя? Был ли я чем-то большим, чем перемещающаяся в пространстве совокупность импульсов, страхов, случайных фантазий? Я потратил значительную часть того, что, полагаю, могу назвать карьерой, на попытки вбить в головы тех, кто готов был слушать в окружающей меня непробиваемо сентиментальной толпе, простой урок о том, что “Я” не существует: ни эго, ни драгоценной искры индивидуальности, которую вдохнул в каждого из нас бородатый небесный патриарх, также не существующий. И все же... При всем моем упорстве и к моему затаенному стыду признаюсь, что даже я не смог целиком избавиться от убежденности в существовании ядра самости в мирской суете — стержня, невосприимчивого к любой буре, что срывает листья с миндального дерева и заставляет качаться и дрожать ветви.

Вот и аэропорт, чуть размытый в ослепительном утреннем свете, взволнованные путешественники тащат свои чемоданы, такси, словно гончие, обнюхивают друг друга с тыла, темнокожий в кепке, скаля зубы, восклицает: “*Доброе утро, сэр!*” с гипертрофированной, фальшивой, подчеркнутой веселостью. Я расплатился с русским — зверь улыбнулся! — взял чемодан, повернулся на шарнире палки и двинулся вперед походкой лодочника навстречу темному незнакомцу в дымчато-зеркальных дверях зала вылета, которые за мгновение до того, как я и мое отражение должны были столкнуться, уничтожив друг друга, внезапно спохватились и раскрылись передо мной с горячим вздохом.

Лечу! Лечу!

Она положила два потрепанных обрывка газеты на освещенный лампой прикроватный столик, села рядом, поджала под себя ноги, руки плашмя лежали на краю столика, подбородок покоился на них, ее взгляд блуждал, задерживаясь то на новостном репортаже о его давней смерти, то на напечатанных

бок о бок выцветших от времени фотографиях, его и другого. Каждый ее вздох на короткое время замутнял стеклянную столешницу и колыхал клочки бумаги цвета сепии — тонкие и легкие, словно крылья бабочки. Она почувствовала прилив вины: она вырезала их маникюрными ножницами, сгорбившись над папкой с газетами, ожидая, что библиотекарь заметит ее, подойдет и будет с негодованием бранить ее на языке, которого она не знает. Она снова удивилась опечатке в подписи к фотографии — *Аксель Ванден* — ее необъяснимой уместности. Как молодо он выглядел — почти мальчишка, очень симпатичный, но с какой-то тревогой на лице; возможно, его просто застала врасплох вспышка фотоаппарата, хотя ей не переставало казаться, что в этих глазах есть испуг и дурное предчувствие. Другой, рядом с ним, улыбался высокомерно и вместе с тем с самоиронией. Осторожно, кончиками пальцев, она взяла два прямоугольника рисовой бумаги, которые обрехала точно по размеру, и положила по одному на обе вырезки: сначала на сообщение о смерти, затем на фотографии. Авторучка, которую она купила, была старомодного дизайна, утолщенная посередине и суженная к концу; она стоила непомерной суммы. Внутри была не резиновая колба для чернил, как она ожидала — антикварный эффект был фальшивым и ограничивался только наружностью, — а всего лишь жесткий пластиковый стержень. Так было даже лучше: колбу ей бы пришлось удалить из-за боязни, что она протечет или лопнет, стержень же она могла оставить внутри, он был безопасным и достаточно маленьким, чтобы хватило места для воплощения задуманного. В этом случае ручка будет работать, и это хорошо; правдоподобие кроется в деталях — этот урок она усвоила у мастера. Затем она переместила две газетные вырезки к краю стола и осторожно, не смея дышать, плотно обернула их вокруг стержня с чернилами, сначала одну, потом другую, лицевой стороной вниз с защитными листками рисовой бумаги между ними, и закрепила их петелькой тонкой нити, сорванной с кромки блузки. Завязать узел было сложно, потому что листы и газетной, и рисовой бумаги раскручивались; она сделала три попытки, прежде чем все получилось. Она была столь же осторожна, прикручивая корпус ручки обратно; во время одного из оборотов он каким-то образом зацепился за нити, раздался треск, и ей показалось, что у нее в животе перевернулось что-то мягкое и теплое. Но все-таки она добилась своего. Зажатая в пальцах полновесная ручка напоминала заряженный пистолет. Проверяя ее исправность, она размашисто написала свое имя в блокноте, который лежал рядом с кроватью; на ее вкус стержень был слиш-

ком тонким. Она снова закрутила колпачок, положила ручку в карман блузки, встала перед зеркалом гардероба и долго смотрела на себя. Собственное отражение всегда ее очаровывало и вместе с тем пугало — стоящее там вездесущее существо было таким знакомым, пронизательным и таким странным.

В тот вечер голоса в ее голове молчали.

Теперь делать было нечего — она сделала все, что могла. Аксель Вандер уже должен был получить ее письмо, в этом ее заверили на почте. Она запрашивала самую быструю доставку, что стоило ей еще одной непомерной для ее скромных сбережений суммы. Она подошла, прислонилась к окну и вгляделась в ночь. На площади виднелись дождевые лужи, блестящие и черные, как нефть, и ряд деревьев, как ей показалось, платанов, отбрасывающих на тротуар неровные, продолговатые тени. Откуда-то до нее доносились звуки шарманки, игравшей с механической и зловещей веселостью — шарманка, глубокой ночью? — в воздухе витал слабый тошнотворный аромат; ей потребовалось некоторое время, чтобы определить его как аромат ванили. Ей нравилось находиться здесь, в незнакомом городе, изолированной от всего мира. Она была уверена, что он придет. Возможно, уже завтра. Возможно, он уже отправился в путь. Она представила его — попыталась представить, — как он спешит через залы аэропорта, взволнованный и раздраженный, бьет кулаком по стойке регистрации, выкрикивает свое имя, требуя внимания, настаивает на том, что должен сесть на ближайший рейс, — он был известен буйством нрава. Ее охватила дрожь возбуждения, и она поежилась. Она представляла его с тем молодым, ухмыляющимся лицом со старой газетной вырезки. Он, наверное, рассердится или испугается, может, предложит деньги или даже будет угрожать ей. Но она не боялась. Перспектива столкнуться с его гневом и угрозами ее не тревожила — напротив, она чувствовала спокойствие, как если бы она каким-то образом взлетела и зависла в затвердевшем воздухе, недостижимая, вне всякой опасности. Чего она хотела от него? Она не знала сама. Да, было что-то, чего она желала, она чувствовала это в себе, словно смутное и неприятное недомогание, — так она представляла себе ощущения при первой беременности. Его судьба, его будущее были в ее руках. Она нашла его. Да, он придет, она была в этом уверена.

Было уже за полночь, когда я наконец добрался до города. Были задержки рейсов и пропущенные пересадки, и лимузин, который должен был встречать меня в аэропорту, отсут-

ствовал — водитель устал ждать и уехал. Потом мне сообщили, что чемодан не прилетел, что его, должно быть, отправили в другое место. За стойкой розыска багажа смуглый сотрудник в сдвинутой на затылок фуражке с нераскуренной сигаретой за ухом притворился, что не понимает моего итальянского, — я мог сказать ему, что учился у Данте, — затем пожал плечами, сказал, что мой багаж может быть где угодно и выдал стопку непонятных форм, которые следовало заполнить. Я швырнул бумаги ему в лицо, и на одно мгновение, когда он свирепо сдвинул и без того низкие брови и бросил на меня гневный взгляд, мне показалось, что он может накинуться на меня, и я сделал шаг назад, подняв, словно защищаясь, палку. Однако он всего лишь пожал плечами, пробормотал что-то в телефонную трубку, сказал, что сейчас кто-нибудь подойдет, и отвернулся с презрением. Снова последовало ожидание. Сгорая от нетерпения, я слонялся по зоне прилета, проходя мимо толп туристов, шумных семей и уверенных в своей важности бизнесменов с их тоненькими портфелями и ослепительной обувью с кисточками. Наконец пришла молодая девушка в униформе авиакомпании и сообщила мне с коротким мелодичным смешком: да, багаж *профессора* действительно улетел в другом направлении, но вскоре будет доставлен обратно и отправлен прямиком ко мне в отель. У нее был огромный бюст, маленькие усики и выпученные глаза — она напомнила мне одну знаменитую оперную диву послевоенных лет, имя которой в тот момент я не мог вспомнить. Я выругался, она быстро моргнула и выдавила из себя холодную улыбку, не веря, что верно расслышала. Она нашла мне такси, и меня повезли с ошеломительной скоростью — я и забыл, как они здесь ездят, — сквозь сырость ночи, в город, где последние субботние толпы все еще разгуливали под каменными аркадами.

В гостинице я обнаружил, что мой номер отдали кому-то другому. Там сделали вид, что у них нет сведений о моем бронировании, но по уклончиво-рассеянному взгляду старого лысого типа на стойке регистрации я понял, что это ложь. Я повысил голос, начал угрожать и бить палкой по полу вестибюля. Вызвали управляющего, который был нелепо-обольстительным, грузным, стареющим денди с коричневатокрасной кожей, блестящими волосами и широкой грудью напыщенного тенора — вся эта ситуация начала превращаться в *опера buffa*¹, — он, наступая на меня с елейной улыбкой и рас-

1. Опера-буффа, итальянская комическая опера (итал).

простертыми объятиями, заверил, что все будет устроено, все будет исправлено через некоторое время, надо лишь проявить немного терпения. Так что я пошел и сел в скрипучее кожаное кресло в опустевшем баре под раздраженным взглядом усталого бармена. Я выпил слишком много красного вина, и, когда наконец меня проводили в номер на пятом этаже — разделенную перегородками коричневую каморку с унитазом в углу, я был слишком пьян и измотан, чтобы снова жаловаться. Несмотря на изнеможение и поздний час, я решил, что должен поговорить сразу, немедленно, *сейчас* с автором письма, с моей таинственной Немезидой, и даже позвонил на линию связи, попросив соединить меня с Антверпеном, но затем сделал паузу и передумал — я бы сразу начал кричать на нее, — бросил трубку и забрался в кровать, осоловелый и непринявший ванну, все еще в нижнем белье, которое не менял с тех пор, как отправился в путь полмира назад.

Я провел беспокойную ночь; кровать — как это часто бывает с гостиничными кроватями, — была слишком маленькой, чтобы вместить человека с негнущейся ногой, постоянно будили доносящиеся снаружи звуки: гудки машин, рев мотоциклов, крики молодых людей. Ближе к рассвету шум стих, и я ненадолго задремал, погрузившись в кошмарные сны. Я рано проснулся, в поту, отдающем алкоголем, с раскалывающейся головой, поднялся, поковылял к окну, распахнул шторы и, прищурившись, посмотрел на нависшее над зданиями плотное, лазурное небо Европы.

После завтрака, вновь суетясь и извиняясь, меня переселили в большой люкс на более приличном третьем этаже. Комнаты были просторными и прохладными, с полом из черного мрамора. Возвращенный чемодан с пристыженным видом стоял у ножки кровати. Я испытываю симпатию к гостиничным номерам, к их атмосфере анонимности, ощущению отрезанности от мира, отголоскам шепотков, громких вздохов и голосов женщин, кричащих в беспомощном экстазе. Лежа в утренней ванне, я представлял себе Мисс Немезиду: иссушенная старая дева, неопрятные голубоватые ногти, очки на цепочке, рот с расходящимися веером мелкими морщинами, усики над верхней губой, она погружена в горькую неудовлетворенность от несбывшихся надежд юности, когда она носила широкие брюки, курила сигареты, писала тезисы о политических взглядах Вордсворта или атеизме Шелли, которые так шокировали и впечатлили ее наставника в Гертоне или синего чулка в Брин-Маре. Конечно, с ней будет легко. Сначала я пушу в ход обаяние, затем угрозы, а если все это не поможет, затащу ее на самый верх Моле-Антонеллианы и

столкну вниз. Рассмеявшись, я начал кашлять и почувствовал, как прокуренные легкие забились в своей клетке, словно большие, наполовину надутые, влажные шары; вода в ванной пришла в движение и едва не выплеснулась наружу. Портсигар — еще одна украденная безделушка из прошлого — лежал рядом со мной на мыльнице. Я закурил, маленькие хлопья горячего пепла зашипели в воде. Для подавления утреннего кашля нет ничего лучше глотка сигаретного дыма.

Я с трудом поднялся из ванной и тут же ударился локтем о край стеклянной полки. Новая боль отразилась эхом в колене, которое я ушиб вчера в такси. Я постоял немного, схватившись за руку и ругаясь. Я плохо вписываюсь в этот мир, неуклюже — слишком высок, слишком широк, слишком тяжел для вещей обычных размеров. Я не хвастаюсь, как раз наоборот: я всегда считал свое слишком крупное тело обременительным и неловким. Передо мной в запотевшем зеркале ванной комнаты, простиравшемся от пола до потолка, неясно вырисовывалось бледное отражение. Я вышел из ванной и встал у окна, глядя вниз на теснящиеся в тени улицы, все еще растирая ушибленный локоть. Мимо проехал автобус, машины, шли крохотные люди. На углу, куда косо падал маслянистый солнечный свет, торговка цветов подняла глаза и будто увидела меня — возможно ли это на таком расстоянии? Что за странное зрелище я, должно быть, собой представлял: парящий там, за стеклом, нелепый серафим, огромный, обнаженный, древний. Я поднял руку, держа ладонь прямо перед собой в торжественном приветствии, но женщина мне не ответила.

Прежде чем понять, что я делаю, я схватил телефон и попросил номер Антверпена. Ожидая ответа, я слышал собственное дыхание в трубке. Все еще мокрый после ванны, я ронял капли на мраморный пол, в темной отражающей поверхности которого мог видеть еще одно тусклое отражение себя, на этот раз в перспективе от ног к голове, как на том изображении мертвого Христа с бронзовым оттенком, — как зовут этого художника? — сначала ступни, потом голени, колени и свисающие половые органы, далее живот и крупная грудь, и все это венчает ореол из спутанных волос и бесстрастное лицо, направленное вниз.

Она ответила после первого же гудка. Я даже не знал, что сказать, не думал, что дозвонюсь так быстро: я ожидал отсрочки, препятствия, отговорки. Да, сказала она, да, это я. Я не мог определить ее акцент, англичанкой она не была, но говорила по-английски. Я каким-то образом понял по ее голосу, что она не делала ничего, совсем ничего — только ждала мое-

го звонка. Я представил себе эту картину: убогая комната в дешевой гостинице, свет северного весеннего утра падает из мансардного окна, она сидит на краю кровати с опущенной головой, пораженные артритом старые руки лежат на коленях, она выжидает долгими часами, прислушивается к тишине, отчаянно желая, чтобы ее нарушил звонок телефона. Говорила она с рассудительной осторожностью, тщательно подбирая слова; был ли рядом тот, кто мог ее подслушать? Нет, она одна, в этом я был уверен. Я сказал, что она должна приехать ко мне, потому что я к ней не поеду. Последовала долгая пауза. Она сказала, что это вопрос денег: путешествие на поезде было дорогим и длительным. Теперь паузу взял я. Она думает, я должен заплатить за то, чтобы она приехала и уничтожила меня? Я все еще молчал. Хорошо, сказала она наконец, она сядет на ночной экспресс и будет здесь к утру, и, не сказав больше ни слова, но и не торопясь, повесила трубку. Я вздрогнул; высохнув от мыльной воды, моя старая кожа стянулась и замерзла. Руки слегка дрожали, но не от сырости или холода.

Я нетерпеливо оделся, как и всегда теперь. С годами утренние ритуалы становятся все более утомительными. Для чего надевать эту рубашку, этот льняной костюм, этот галстук, который слишком короток и широк на конце и в котором, как видно в отражении, я похож на утопленника? У стариков должна быть особая одежда, что-то вроде монашеского облачения: простого, функционального и соответствующего предчувствию приближающегося савана. Я провел пальцами по блестящим прядям спутанных волос без видимого эффекта; я не хотел, чтобы волосы так отрастали, особенно когда начал седеть, но чувствовал, что именно этого ожидали от знаменитого Mijnheer de Professor¹ из ветхого, пыльного Старого Света. Внезапно, будто дуновение ветерка, в голову пришло воспоминание из детства, как мама смачивала кончик пальца и приглаживала запятую тонких волос на моей макушке, которая через мгновение поднималась снова. Вместе с тем мне вспомнилась странная, сладострастная дрожь отворачивания, которую я испытывал, когда она помогала мне надевать новую одежду: рубашку, бриджи или жесткий сине-белый матросский костюмчик с картонным ценником, все еще свисающим с петельки. Что было причиной такой реакции? Чрезмерная близость матери, под чьей пахнущей хризантемами пудрой я мог уловить смесь более интимных и возбуждающих

1. Господин профессор (*нидерл.*).

запахов? Нет, думаю, дело не в этом; то, от чего я вздрагивал, было, конечно, осознанием себя — внезапным, ужасающим пониманием того, что я в ловушке, заперт в арматуре из плоти и костей, словно куколка, втиснутая в затвердевшую мастику своего кокона. Тотчас же снова возникает настойчивый вопрос: *Какого себя?* Что за липкое имаго воображал я внутри себя и думаю ли я до сих пор, что оно внутри меня, жаждет вырваться наружу и расправить великолепные пятнистые крылышки?

Лифт был устаревшим, шумным — его вид задел еще одну смутно-ностальгическую струну далеких воспоминаний. Я слышал, как он спускается сверху, останавливаясь на каждом этаже и открывая свои двери с лязгом трущегося металла, как если бы охапки проволочных вешалок для одежды поочередно раздавливали гигантскими стальными когтями. Однако когда он добрался до меня, внутри никого не было. Вестибюль тоже был пуст, стойка регистрации осталась без присмотра. Через приоткрытую дверь за стойкой я заметил вчерашнего портье, он ел бутерброд, сгорбившись в углу стола, на котором находилась пишущая машинка и груды бумаг. Сегодня он был без галстука, в белой рубашке с закатанными рукавами и расстегнутым воротником, обнажающим волосатый треугольник крупной груди. Был ли он без костюма и несколько растрепанный больше похож на самого себя? Он набрасывался на бутерброд с сосредоточенной свирепостью собаки, которую не кормили несколько дней. Заметив, что я подсматриваю, он не стал утруждать себя приветствием, только нахмурился, сжал челюсть, наклонился в сторону и толкнул дверь ногой. Я уже собирался идти дальше, как вдруг перед моим мысленным взором непрошенно возник образ кофейной кружки, оставленной мной на столе в прихожей, когда подъехало такси в аэропорт. Я увидел ее вдалеке, там, где царила ночь, на темной стороне мира: ободок отмечен высохшим полумесяцем следа от моих губ, остатки кофе превратились в кольцо пушистого коричневого порошка на дне — кружка просто стояла там, во тьме, среди безмолвных, неподвижных предметов, которые я оставил в запертом доме, и мне стало понятно с необъяснимой, но полной уверенностью, что я туда никогда не вернусь. Вздвогнув, я покачнулся и, чтобы не упасть, положил руку на стойку. Из комнаты вышел портье и посмотрел на меня. Чтобы скрыть внезапную слабость, я попросил карту города, и портье разложил ее на стойке с демонстративным усердием — почему они всегда, прежде чем заговорить, отводят в сторону свой бессмысленный, скучающий взгляд? — и начал показывать, где находится

гостиница. Да, да, сказал я, я знаю, где нахожусь! Я схватил карту, не складывая, сунул ее в карман, прошел через стеклянные двери и, опираясь на палку, спустился по ступенькам на узкую улицу.

Что это значило? Почему я не вернусь? Я умру здесь, в этом городе? Я не суверен и не верю в предчувствия, но это была убежденность — нет, полная убежденность, — что я не вернусь домой, никогда. Но затем я подумал: *Домой?* Я шел по улице в замешательстве и смутной тревоге, в незнакомой обстановке, вдыхая незнакомые запахи города. В освещенном солнцем углу я наткнулся на продавщицу цветов. Она сидела возле своего лотка на складном брезентовом стуле. Я предположил, что она иностранка, еще одна эмигрантка, на этот раз не из России, а из одного из тех государств, что втиснулись, словно базальтовые валуны, хотя и начали быстро рассыпаться между громоздкими континентальными плитами Востока и Запада. Ее кожа была тусклого, желтоватого оттенка, и одежда она была в нечто, показавшееся мне цыганским костюмом, с браслетами, множеством дешевых колец и туго завязанным под подбородком ярким платком. Мне показалось, что она молода, что ей не больше тридцати, но лицо ее было лицом старухи, осунувшимся и грубым. Она говорила сама с собой, быстро, низко, ритмично, нараспев — это было похоже на едва слышные, жалобные причитания. Я ощутил, как что-то внутри екнуло — так бывает, если в темноте пытаешься поставить ногу на несуществующую верхнюю ступеньку лестницы, — когда понял по затянутым пеленой, пустым глазам, что она слепа. Однако же она ощутила мое присутствие, отыскала в лотке букетик ландышей и протянула его мне, при этом причитания усилились и стали удивительно неубедительными, почти безучастными. Я вынул банкноту абсурдно-большого достоинства, она безошибочно протянула тонкую, коричневую, как лист, руку и взяла ее, быстро спрятав за вышитым бисером лифом. Я подождал сдачи, но ее не было. Она, как и раньше, сидела и тихо причитала, качаясь взад-вперед на своем стуле, не обращая на меня внимания. Только тогда я заметил, что она беременна. Позади меня промчался желто-черный трамвай, выплевывая большие, легкие искры из верхней дуги, — тротуар содрогнулся. Ссутулившись от этой силы и лязга, я повернулся и поспешил дальше.

Я свернул в первое попавшееся кафе и сел за самый дальний столик, словно прячась от преследования. Моя верхняя губа была влажной от пота, сердце ходило ходуном, будто мультяшный будильник. В чем дело, почему эта неожиданная встреча так меня встревожила? Я вспомнил, как старик из Па-

рижа, мой дальний родственник по материнской линии, в своей сырой квартире в Маре совал мне в руки пригоршни франков и перечислял имена людей, которые могли бы мне помочь в Лиссабоне, Лондоне, Нью-Йорке, повторяя их имена снова и снова с настойчивым бормотанием, будто то были строки из Закона Моисеева. Даже сейчас, полвека спустя, я могу вспомнить удивительно много их имен, конечно, с самими людьми я никогда не встречался. Скорее всего, все они уже мертвы, а их дети выросли и стали юристами, докторами или крупными фигурами в страховом бизнесе — им было бы все равно, кто я, за кого себя выдавал или почему без какой-либо веской причины обманул того старика в Маре, сказав ему, что я тот, кем не был на самом деле. Дрожащей рукой я поднял чашку кофе, пытаюсь подавить воспоминания, которые всплывали из мрака прошлого. *Примечательно не то, что мы помним, а то, что забываем*, — кто это сказал? Я взглянул на замысловатое убранство кафе: люстры, пузатые кофемашины, блестящий медный кран у бара, из которого непрерывно журчала струйка воды. Было несколько посетителей: старик с одышкой и его точно так же тяжело дышащая собака, женщина в затейливой шляпе, которая ела пирожное, и похожий на клоуна парень с волосами морковного цвета, кричаще одетый в дурно скроенный клетчатый пиджак и ярко-желтую рубашку с грязным, широким воротником, расправленным над лацканами; он то и дело поглядывал в мою сторону со слабой, едва уловимой ухмылкой. У двери болтались три официанта в черных галстуках: они обменивались обрывистыми замечаниями и разглядывали носки своих кожаных мокасин. На секунду, странно и беспричинно, все будто замерло, как если бы сердце мира пропустило удар. Неужели такой и будет смерть — трещина во временном потоке, через которую я скользну так же легко, как письмо, что с шелестом падает в таинственные глубины почтового ящика? Я рассчитался, резко встал и направился к двери, будто снова убегая от кого-то, и у меня возникло ощущение, как это часто бывает в такие минуты, будто я оставил позади какую-то часть себя и подумал, что, если обернусь, увижу грубую пародию на самого себя — развалившуюся на стуле, где я сидел, хромую марионетку в натуральную величину с повисшими руками и криво сочлененными конечностями, смотрящую в потолок с деревянной ухмылкой.

Тяжелая и высокая дверь не поддавалась, и мне пришлось упереться всем телом, чтобы толкнуть ее вперед. За спиной я услышал размашистые шаги и в залитом солнцем искривленном дверном стекле увидел ухмыляющееся лицо. Это был тот

рыжеволосый парень, наблюдавший за мной, пока я пил кофе. Я развернулся, чтобы встретиться с ним лицом к лицу, и дверь на своих жестких пружинах захлопнулась, ударив меня по плечу; я бы кубарем покатился мимо столов, стульев и ног официантов, если бы морковноголовый не схватил меня за локоть — конечно же за тот, на котором был синяк от ушиба в ванной, — и не удержал в вертикальном положении. У него было крупное, круглое, румяное лицо с брызгами рыжей щетины на щеках и подбородке, которая сверкала в лучах проникающего через стекло солнца. Этот ужасный пиджак был ему сильно велик, так же, как и брюки; кроме того, он носил пару нелепых, некогда белых, полотняных туфель с грязными шнурками и толстыми резиновыми подошвами. Он кивнул, ухмыльнулся и произнес что-то на местном наречии. Я с трудом стряхнул его настойчивую руку, сделал шаг вперед и отпустил дверь, надеясь, что она ударит преследователя по физиономии, но он ловко увернулся и последовал за мной на улицу, все еще продолжая свою неразборчивую скороговорку. Единственное слово, которое я мог разобрать, было похоже на *синьор*, морковноголовый повторял его снова и снова со странным ударением, неистово кивая и тыча себе в лицо. Я отвернулся от него и, направив яростный взор прямо перед собой, двинулся по высокому коридору аркады настолько быстро, насколько позволяла больная нога и неровная тротуарная плитка. Тем не менее морковноголовый не отставал и в нетерпении семенил рядом, что-то бормотал и налегал то сбоку, то спереди, то сверху, пытаясь втиснуть свое лицо перед моим. Так мы и тащились вместе по каменным аркадам с чередующимися полосами тени и света под взглядами недоумевающих прохожих, пока на перекрестке, рядом с букинистическим ларьком, я наконец не замер, сделав шаг в сторону и высоко подняв палку бледной, дрожащей рукой, — тогда морковноголовый, наконец, остановился, поджал губы и, покачивая головой, с печальной улыбкой примирительно поднял пустые ладони.

Я вышел из тени на длинную площадь и на мгновение остановился, тяжело дыша, в ожидании, когда утихнет гнев и беспокойство, все еще гадая, чего хотел от меня этот парень. Безучастным взором я рассматривал то, что путеводители называют панорамой: белые, как свадебный торт, фасады, обнажившего свой меч бронзового всадника, окутанные медовой, солнечной дымкой знаменитые церкви-близнецы в дальнем конце площади. Этот город показался мне не более привлекательным и интересным, чем любой другой из известных мне. Обычай, легенды, истории о ярких персонажах и событиях —

все это оставляет меня равнодушным; все живописное кажется мне отталкивающим. Меня не волнует, какие битвы выиграл или проиграл Эммануил Филиберт и где Кавур любил обедать. История — винегрет из анекдотов, не истинных и не ложных, — так какое значение имеет место, где она должна развернуться? Как же я презирал романистов, чьи жалкие вымыслы были моей напастью в первые годы карьеры, когда меня заставляли всучивать эти сказочки студентам; я имею в виду тех северных идолопоклонников залитого солнцем юга, мнимых язычников — все как один обманщики и мошенники, — чьи произведения разворачивались на островах с царящим ароматом тимьяна, или в укрытых под сенью сосен селениях на вершине холма, или в покрытом дымкой морском порту в позабытом уголке Средиземноморья, где герой и его синеглазая возлюбленная делят прощальный ужин в маленьком ресторанчике в переулке у гавани, куда не заглядывают туристы; на столе анчоусы, горькие оливки и молодое местное вино, жена хозяина ресторана что-то протяжно напевает, уличные мальчишки-арабы кланчат подавание, треногая собака грызет кость, старый поэт за соседним столиком выкашливает свою жизнь над последним абсентом. Как будто место что-то может значить, как будто пребывание в пылкой и экзотической обстановке обеспечивает жизненное процветание. Нет, дайте мне безымянный клочок земли с асфальтом, маслянистым тлеющим костром, смутными очертаниями фабрик вдали, какое-нибудь гнусное нигде, лишь бы я смог почувствовать себя в безопасности, дома, если я вообще где-то могу быть как дома.

Я пошел дальше. Поток машин стремительно пронесся через площадь, разделяясь на два русла вокруг бронзового всадника и снова хаотично соединяясь. Солнце, крадучись, заглатывало толстое, цементно-серое, ослепительно-серебристое облако. Голубь парил передо мной, неловко опускаясь, при взмахе его крылья напоминали сменяющие друг друга фиолетово-серые чернильные пятна. Я снова повернул и пошел в сторону от площади по сужающимся мощеным улочкам, пока наконец неожиданно не вышел на широкую, окаймленную с обеих сторон цветущими каштанами аллею. Здесь мне дышалось легче. Проходя под широким, высоким, прохладным пологом из листьев, я задумался: в какой момент дерево начинает себя чувствовать по-настоящему собой, когда понимает, что в полной мере достигло истинного бытия? Я имею в виду, если бы оно обладало разумом — в самом деле, кто знает наверняка, единственные ли мы существа, наделенные сознанием и является ли наш тип сознания единственно

возможным? — на какой стадии годового цикла дерево сказано бы: да, вот сейчас, *сейчас* я такое, какое есть, сейчас, наконец, я нахожусь в своей полной древесности. Будет ли это при первом весеннем озеленении, или в июньской полнолестной славе, или в осеннем пламени, или даже в угловатой обнаженности зимы? И проживание одного жизненного цикла в другом — один от бутона до наготы, другой, более длительный, от саженца до дуплистого пня, — должно быть, сбивает с толку. Будет ли опадание листьев каждый год казаться дереву приближением смерти? Будет ли весна похожа на возрождение? Размышляя в зеленом полуденном сумраке, я услышал или, вернее, почувствовал раскатистый грохот, как если бы вдали по листу гибкого металла ударили огромным молотом. Гроза? Непохоже. Шум самолета? Может быть, выстрел из пушки отмечает полуденный час? Чем бы этот грохот ни был, он прервал мои размышления. Я ускорил шаг и свернул в сторону гостиницы.

Вскоре я понял, что заблудился, и мне пришлось остановиться на углу улицы, чтобы развернуть мятую карту, которую дал мне портье. Я шурился в поисках названия улицы, когда заметил на углу напротив смотрящую на меня девушку. Она была высокой, прилично одетой, не красавицей, но и не дурнушкой; я бы не заметил ее, не посмотрел бы на меня с легкой улыбкой узнавания, будто уже встречала меня когда-то. Она вышла на середину улочки, протиснувшись между двумя машинами, припаркованными бампер в бампер. Она идет ко мне? От этого предположения у меня участился пульс, и я не знал, остаться или сбежать. Кем были все эти люди: продавщица цветов, морковноголовый, теперь эта девушка, — чего они хотели от меня? Грузовик затормозил, колеса застыли, шины завизжали, когда он сбил ее. Она будто закружилась на цыпочках: голова запрокинута, волосы развеваются, напряженная и грациозная, словно танцовщица. Был крик, но не ее. Позади нее на тротуаре крепко сложенный седой мужчина взмахнул рукой и прокричал что-то глубоким басом. Машины с визгом выворачивали вправо и влево, грузовик проехал по центру улицы еще метров двадцать и наконец остановился, развернувшись поперек и дымясь. Девушка упала навзничь, широко раскинув руки, она была прижата к краю одной из припаркованных машин. В ее волосах была кровь, и сверкающая, едва заметная струйка крови текла из левого уха. Крупный мужчина, тот, что взмахнул рукой, бросился к ней со всех ног, но прежде чем он добежал, она резко соскользнула на землю, словно все в ней вдруг потеряло твердость. Теперь и другие прохожие бросились

сюда, люди выбирались из машин посмотреть, что случилось. Я быстро развернулся и бросился вперед без оглядки, не заботясь, куда именно, лишь бы подальше от этого места. Люди толкали меня, напирали с затуманенным, нетерпеливым взором, желая посмотреть на упавшую девушку. Я был в панике: задыхался, пот заливал глаза, и глубоко в паху нарастала пылающая боль. Я не знал, от чего убегал; не от смерти девушки, конечно, или не только от нее. Смутный образ пришел мне в голову — из Босха или Данте? — изможденная фигура, с раскрытым ртом, сутулая и голая, бежит с распростертыми руками по горячей, красной земле, неся на себе другую фигуру — своего собственного двойника, плотно привязанного спиной к ее спине. Наконец я оказался на тихой, уединенной, небольшой вымощенной булыжником площади, с важно разгуливающими голубями и клочком пыльной травы, окруженной массивным фасадом дворца в стиле барокко, название которого я знал, но в ту минуту не мог вспомнить. Не в состоянии идти дальше, я приземлился на скамейку из гладкого мрамора. Больше здесь никого не было. На город опустилась пелена полуденной летаргии. Медленное облако скрыло солнце, мягкий посеревший воздух и тишина наконец успокоили мои взвинченные нервы. Боль в паху утихла.

Почему я так разволновался? Я ведь и раньше бывал свидетелем жестокого конца. Случилось ли так потому, что это была еще одна безжалостная демонстрация смерти, от капризного выбора которой не защищены даже молодые? Нет, это слишком мрачно. Возможно, просто потому, что девушка смотрела на меня, знала или узнала, возможно, даже собиралась со мной заговорить. Но почему из-за этого встреча — если это событие можно так назвать — становится такой тревожной? В определенных кругах, надо признаться немногочисленных, мое лицо хорошо знакомо. Я привык, что люди меня узнают. Они останавливаются, чаще всего молодые, и смотрят на меня застенчиво, иногда с негодованием, но чаще просто вялым, пустым, глуповатым взором, будто видят не настоящего меня, а мое изображение. Так почему же внимание девушки привело к тому, что я захотел броситься наутек? Нет, конечно, я знал, почему так разволновался: дело было не в этой девушке, а в Магде. Когда она была жива, я едва думал о ней — теперь же она постоянно в моих мыслях, словно тень, одинокий зритель, сидящий на скамейке над освещенным кругом, в котором непрерывно идет пышное и все более хаотичное представление обо мне и моем притворстве. Она витает там, безвольная тень, возможно, желает уйти, но ее удерживает любопытство увидеть не такой уж грандиозный

финал: кувыркаются клоуны, кланяются акробаты, исполняют свой последний трюк дрессированные животные. Лишь после смерти она для меня ожила.

Странно, но как бы я ни старался, я не могу в точности вспомнить, как и когда мы познакомились. Вероятно, это случилось в то первое лето в Нью-Йорке, немыслимо-ярком, торопливом, шумном и гнетуще жарком, где даже на улице я ощущал себя запертым в огромной, дымной, оглушающей фабрике. Все было в движении, не было ни минуты покоя. Днем и ночью по улице над угловым подвальным помещением, где я жил, грохотали машины; листы бумаги на изрезанном старом кухонном столе, который я использовал в качестве письменного, дрожали и двигались в струях воздуха подаренного одним знакомым электрического вентилятора — он медленно поворачивал свое размытое, словно маска фехтовальщика, лицо, отказываясь от помощи. Весь день вереница бестелых ног сновала по тротуару за расположенным над моим столом окном на уровне земли, будто случилось восстание или проходил беспорядочный, шаркающий танцевальный марафон. Шли разговоры, хриплые, громкие, вызывающие или высокопарные с внезапными излияниями искренности и дружелюбия. Я встречал их в конце рабочего дня — *работа* была тогда одним из священных слов, произносимых с благоговейным придыханием, — тощих, взмокших от напряжения молодых людей в рубашках с расстегнутым воротом, ровными стрижками и зажимками “Зиппо”, и девушек с серьезным взглядом в туфлях-лодочках и юбках по щиколотку, прижимающих к груди, словно наперсник, копию “Капитала” в мягкой обложке. Водянистое, сладковатое пиво, густой сигаретный дым, внезапно вспыхивающие перепалки, крики и поднятые вверх указательные пальцы — этот жест пренебрежения противоположным мнением, такой характерный для времени и места: рука двигается из стороны в сторону, лицо вполоборота, нос сморщен, нижняя губа опущена: *Ндаа!* — для меня все это было в высшей степени странным, но в то же время знакомым, и я не мог понять откуда, пока не вспомнил, что, конечно, видел все это в кино, снова и снова, каждый субботний вечер, когда был молод. Америка с экрана была мне знакома лучше, чем улицы города, в котором я родился и жил. И вот в Нью-Йорке, в настоящем Нью-Йорке, я решил быть киногероем с торчащей в уголке рта толстой сигаретой и стаканом бурбона под рукой. Я даже одевался подобающе: коричневая фетровая шляпа, узкий двубортный костюм, двухцветные ботинки — мужчина что надо. В те дни плохие, но умные парни были в моде. Мне

лишь не хватало спутницы, какой-нибудь высокой красотицы, раскованной и много пьющей, мне под стать. Поэтому люди были озадачены, в особенности девушки, когда оказалось, что я избрал себе на роль возлюбленной и подруги добрую, молчаливую, сдержанную Магдалену. Даже когда ей было чуть за двадцать, ощущалось в ней нечто массивное, каменное, гранитное и неодолимо-серое, что привлекало меня. Я быстро понял, когда начал обращать на нее внимание, что она держится в стороне не из-за стеснительности или страха — хотя она была застенчива, пуглива, — а чтобы иметь возможность наблюдать за происходящим из своего укрытия. Она была неистощима в своей услужливости и выполняла все поручения мужчин и более властных женщин: приносила им книги, сигареты, бутерброды и бумажные стаканчики с кофе; я все еще вижу ее, в сандалиях, в невыразительном трикотажном платье, с заплетенными в косы волосами, вижу, как она спускается по ступенькам подвала тем странным, слоновьим способом: боком, шаг за шагом, спуская сначала одну широкую ногу, затем вторую; подбородок уперт в бледную, как рыбы брюхо, шею, взгляд сосредоточен на своей ноше. Она жила в Нижнем Ист-Сайде — в те дни название этого места все еще звучало для меня многозначительно и экзотично, как Самарканд или Блаженные острова — с водопроводчиком, драчливым, обезьяноподобным поляком с проволоочной щеточкой усов; говорили, он ее поколачивал. Она никогда о нем не рассказывала, даже после того, как бросила его и пришла жить ко мне в подвал, принесла бутылку бурбона в качестве подарка на новоселье и один небольшой чемодан со всеми ее вещами. Однажды, поздно ночью, поляк появился на нашей улице, пьяный, со слезами ярости выкрикивая ее имя; он долго барабанил в дверь и, если бы не решетка, разбил бы окна. Я хотел выйти и прогнать его — я не сомневался, что даже с больной ногой смогу спровадить жалкую обезьяну, — но Магда мне помешала.

Она не любила говорить о себе и своей жизни и, когда упоминала какое-то событие из прошлого, впадала в замешательство, будто это произошло с кем-то другим и она сама не может понять, откуда знает столько подробностей. Не интересовалась она и моим прошлым. Остальные, даже самые любопытные из наших знакомых, относились ко мне с неким изумлением и уважением, почти со святым благоговением: я был настоящим героем, подлинным уцелевшим свидетелем грандиозных событий, пришедшим к ним из огня и дыма европейской катастрофы, как чудовище Франкенштейна, выбравшееся, шатаясь, из горящей мельницы. Однако для Магды, такой

же уцелевшей свидетельницы, я был просто Вандером — она не хотела называть меня Акселем; это имя звучит, говорила она, как кличка сторожевой собаки, — мужчиной, похожим на любого другого, возможно, более переменчивым, потенциально более жестоким, чем ее поляк, но все же не больше, чем просто мужчиной. Она будто не замечала моей безжизненной ноги и ослепшего глаза и безмолвно слушала хвастливую ложь о том, как я получил эти травмы — в противостоянии неистовой толпе, в результате удара прикладом винтовки штурмовика, — ложь, которую я репетировал так часто, что сам почти поверил в нее. Правда, одним душным утром я очнулся от дремоты и обнаружил ее склонившейся надо мною — нашей кроватью служил матрас на полу, — большое, нежное, подпертое ладонью лицо: она смотрела на меня распахнутыми глазами в торжественном молчании. На мгновение мы застыли, затем она прикоснулась кончиком пальца к обмякшему веку моего ослепшего глаза и прошептала: “Я один выжил, чтобы рассказать вам”, и волосы мои встали дыбом на затылке, будто только что вещал оракул. Кто бы мог ожидать, что Магда, большая, медленная, плоскостопная Магда, найдет слова настолько величественные и глубокие, так библейски подходящие к нашим жизням?

Жизнь с ней была сродни жизни в одиночестве, словно я состоял в браке с существом из другого вида; она была так же далека и недоступна для меня, как какое-нибудь большое, безобидное травоядное животное. Временами я думал, что в ней нет никакой загадки, что она так же пуста, как кажется, но порой убеждался, что непоколебимое спокойствие — просто маска, за которой она укрылась, обдумывая и репетируя, как и я, роль, не веря, что когда-нибудь сможет убедительно ее сыграть. Наша совместная жизнь проходила во взаимном непонимании, и мы всегда удивляли друг друга. Она была хорошо начитана, что я часто со стыдом замечал в первые дни нашей совместной жизни. Я уже научился делать вид, что глубоко разбираюсь в целом ряде предметов, и умело применял ключевые концепции, почерпнутые из чужих работ, которым мог придать личную окраску сарказма или пронизательности. Во всем, что я писал, ощущалось напряженное, лихорадочное волнение, причиной которого было мое затруднительное положение: я заново создавал методологию мышления на пересечениях и противоречиях моего собственного запутанного и по большей части выдуманного прошлого. Я мог с убедительной осведомленностью рассуждать о текстах, которые не читал, о философии, которую не изучал, о великих людях, которых никогда не встречал. Моя самоуве-

ренная уклончивость, как это довольно неуклюже охарактеризовал один критик, заворожила небольшую, но довольно влиятельную группу ученых, которые прочитали и одобрили мои ранние работы. Хотя они и сомневались в моем понимании теории и даже в научности моего метода, их привлекала мастеровитость моего языка, его своеобразие; даже мои критики — а их было немало, — могли лишь стоять в сторонке и с разочарованием смотреть, как их лучшие колкости соскальзывают с глянца моей прозы. Меня это удивляло и радовало: как они могли не видеть прячущегося за развязностью и бравадой своих писаний дрожащего самоучку, сгорбившегося над словарем Вебстера, “Чикагским стилистическим справочником” и “Грамматикой для иностранных студентов”? Вероятно, мою причудливую манеру письма они принимали за намеренную эксцентричность — по их представлениям, такое мог позволить себе только тот, кто в совершенстве владеет языком.

Не поймите меня неправильно: я не сомневаюсь, что обладаю некоторым талантом. Просто он не так велик, как считалось все эти годы. Иногда мне кажется, что я упустил свое призвание, что я мог бы стать великим художником — изобретательным, замысловатым, иносказательным, трогающим за живое, склонным к аллюзиям, скрытым целям, — алхимиком слова и образа. Действительно, критики частенько отмечают лирическую безысходность моего зрелого стиля, видя за ним бледную руку поэта. Я их понимаю. Мои комментарии претендуют на то, чтобы быть наравне с искомым текстом, а иногда даже выше него. В моем исследовании творчества Рильке, ранней работе, есть отрывки экстатической напряженности, которой мог бы позавидовать любой опьяненный миром лирик, в то время как те длинные эссе-двойники о Клейсте и Кафке столь же отчаянны и безутешны, как любая из пьес или притч этих иерофантов уныния. Должен ли я преклониться перед этими великими умами? Должен ли пасть на колени перед их величием? Да будь я проклят! Я ставлю себя столь же высоко, как и любой из них. Меня лишь беспокоит мысль о том, чего я мог бы достичь, будь я просто — а ведь это совсем непросто — самим собой.

По-видимому, Магда была очарована мной, как и все остальные, и принимала мое блестящее притворство за чистую монету. Если она и знала, что я обманщик, то не возражала и даже по-своему восхищалась моей дерзостью и находчивостью. Иногда я ловил особенную, легкую, мимолетную улыбку на ее лице, когда толковал заворуженной компании какой-нибудь сложный текст, в который, она знала, я глянул лишь мель-

ком. Она-то действительно читала Гегеля, Маркса да и многих других. У нее была замечательная память, она могла цитировать отрывки произведений наизусть, даже если при этом едва ли их понимала; она несла свои знания обо всех этих грандиозных мыслителях, словно атрофированную конечность — интеллектуальный эквивалент моей бесполезной ноги. Она послушно изучала революционные тексты столетия по настоянию поляка, тот не был выдающимся читателем, но не сомневался: они должны составить идеальную партию, он — молот активизма, она — серп идеологии. Рассказывая об этом, она пожимала плечами и нежно улыбалась, словно вспоминала какую-то не совсем невинную детскую фантазию. Да, она видела всех нас насквозь — безмолвно, интуитивно. Не потому ли я выбрал именно ее? Не потому ли она выбрала меня? Была ли она моей защитницей, хранительницей украденной репутации? С глубокой печалью я осознаю, что на эти вопросы никогда не будет ответов, а если и будут, то не от нее.

Она считала прошлое некой огромной, неизбежной ошибкой, целым рядом неверных начал, которые теперь наконец исправлены. Если она и чувствовала какую-то злость из-за всего, что с ней случилось, то злость эта была направлена не на создателей огромного проекта по уничтожению, в который она попала и из которого едва ускользнула живой, а на самих его жертв — всех тех, кто не сбежал; даже на своих сбитых с толку родителей, на сестру, которая так гордилась своей смуглой красотой, на младшего брата, все еще сжимавшего в ручонках игрушечный горн, когда его уводили прочь. Не то чтобы она обвиняла их за неспособность сопротивляться, или за нерасторопность и растерянность, или за самообман — ее мать, прежде чем их оттеснили к грузовикам, сжала ее руку и заставила пообещать писать, — но за простой факт их существования, за то, что сначала они были там, а затем их у нее отняли. Она ничего не хранила: ни одной фотографии, ни одного документа, ни прядки волос — только свои воспоминания, но и от них охотно отказалась бы, если б могла. То, что она оказалась единственной выжившей из-за того, что ее имя каким-то образом выскользнуло из списков, было лишь еще одной причиной ее растерянной, немой обиды.

Мы были вместе уже несколько месяцев, когда она немного рассказала мне об этом. Одним сырым ноябрьским днем мы сходили в кино, а потом укрылись от холода в кофейне на улице Бликер — тогда она тихо, печально заплакала. В промежутке между двумя сериями фильма показали кинохронику с руинами Европы; вид этих бесконечных рядов трупов что-то пробудил в ней, и она принялась подробно рассказывать о том, что с ней

случилось. Неподвижно, едва дыша, я сидел рядом и слушал; кулак, лежащий на столе рядом с ее рукой, был таким тяжелым, что казалось, я не смогу поднять его вновь. Ее воспоминания о бегстве и спасении были прерывистыми и словно вспыхивали в памяти: острые белые камни на горной тропе; густые темные деревья проносятся мимо в свете фар грузовика, в котором она лежала, спрятанная под мешком; мальчик-солдат на каком-то пыльном пограничном посту протягивает ей вынуженное из кармана мундира яблоко. Будто она совершила опасное путешествие не линейно, большими скачками, от одного места остановки к другому, и между ними была пустота. Когда она закончила, я тоже должен был рассказать ей свою историю — того требовал этикет оставшихся в живых. Пришлось рассказывать. К тому времени мы вышли из кофейни и брели по холодной улице в сгущающихся сумерках; рядом сквозь слякоть проплывали машины, словно обломки, которые медленно несет река. Она тяжело, грузно опиралась на мою руку, она не хотела слышать того, что я говорил, она устала, ее тяготило бремя наших трагических судеб. Тогда моя изобретательность расцвела; никогда, ни до, ни после, я не рассказывал свою историю так хорошо и убедительно, переплетая ложь несколькими тонкими, сияющими нитями правды; а в это время быстро падали влажные, белые хлопья, и сгорбившиеся безликие фигуры прохожих возникали вдруг перед нами в свете фонаря и так же быстро исчезали во тьме. Я восхищался своим выступлением. Каким я был баснописцем, каким художником! И я так и не рассказал ей всей безыскусной правды.

Где-то в воздухе снова раздался тот гулкий, гремющий звук, который я слышал на аллее под каштанами, — я вздрогнул и очнулся от задумчивости. День прояснился, в безоблачном, неласковом, чистом небе припекало солнце. Я внезапно узнал это место: именно здесь Н. в последние месяцы перед своим безумием поселился в комнате дома Фино на углу с видом на массивный фасад Палаццо Кариньяно — так он назывался! — и писал безумные письма, подписываясь “Дионисом”, “Распатым”, “Ницше”, “Цезарем”... Я закрыл глаза, прижал к ним большой и указательный пальцы и дождался, когда похожие на ракеты крошечные огоньки начнут вспыхивать в темноте. Я убежден, что мой ослепший глаз работает, когда закрыт. Я снова увидел, так же ясно, как и в минуту, когда тормозил грузовик: девушка кружится, мужчина с седыми волосами вскидывает руку, будто предупреждая случайного прохожего о кровавой сцене насилия. Я снова открыл глаза и неуверенно поднялся на ноги, опираясь обеими руками на ручку трости. Было жарко, я хотел пить, я устал.

Когда я проснулся, в комнате, защищая ее от дневного света, были задернуты шторы, и я подумал, что еще раннее утро и все произошедшее с момента прибытия мне приснилось. Я неподвижно лежал на кровати и смотрел на прозрачные складки теней вокруг, охваченный смутной паникой. Я не мог понять, почему на мне костюм, и галстук, и даже ботинки, хотя и с развязанными шнурками. Правая рука затекла, когда кровь пришла в движение, ее начало неприятно покалывать, болел поврежденный локоть. Разрозненные фрагменты памяти стали медленно собираться в единую картину. За обедом в ресторане гостиницы я выпил бутылку вина, проковылял наверх, сюда, в свой номер, и, должно быть, заснул, сваленный с ног алкоголем и отголосками лихорадочного путешествия. Я осторожно приподнялся и минуту посидел на краю кровати, склонив голову. Зачем я приехал в этот город? Я слишком стар и измучен, чтобы в порыве чувств срываться с места и ехать в такую даль. Я ведь мог заставить автора письма приехать ко мне в Аркадию. Я со стоном поднялся, вошел в ванную без окон и постоял в гудящем белом свете, морщась и моргая. Перхоть, кариес, большой рябой нос Доктора Балоардо. Я прополоскал рот, вода из-под крана имела привкус железа. Я стоял и тупо смотрел в зеркало, упершись руками в раковину и сгорбившись. Снова, как это часто бывает, у меня появилось ощущение, что я слегка смещаюсь в сторону от себя, будто теряю фокус и разделяюсь надвое. Интересно, чувствуют ли другие люди то же, что и я, — ощущение неполного присутствия, где бы я ни находился; будто я не столько личность, сколько некая неуместная случайность, плывущая во времени. Истинная первопричина и предназначение постоянно ускользают от меня куда-то, и я не знаю, как найти это “где-то”; возможно, оно осталось в детстве, в том просветленном возрасте, сцены из которого с годами я вижу все ярче и ярче. Как банально. Унылые мысли в тускнеющем разуме. Это вино, усталость.

Такси ожидало у дверей гостиницы. Я уже опаздывал, но мне было все равно; подождут. В послеполуденном свете город показался мне более приветливым, чем утром. Бело-золотое солнце отражалось в крышах автомобилей и окнах кафе. Мы проехали мимо Моле с ее абсурдной башней. Я без восторга отметил, что на улицах сгущаются группки студентов, и вскоре в поле зрения появилась серая бетонная полоса университетских зданий. Когда я увидел на ступенях Франко Бартоли — на цыпочках, с вытянутой шеей, беспокойно озирается вокруг, — у меня возникло желание пригнуться и приказать таксисту ехать дальше. Я снова спросил себя, какая сила заставила меня приехать в Турин и что я могу здесь найти, кроме

разоблачения и унижения. Я выбрался из такси, повернулся, чтобы заплатить, и краем глаза увидел, что Бартоли радостно скачет ко мне и что-то щебечет. Бартоли — хрупкий, лысеющий, бородатый, яйцеголовый маленький человечек, говорливый, нервный и осторожный, как ласка. Он крепко сжал мою руку в своих и, задыхаясь, принялся бормотать приветствия, отчего я заскрипел зубами. Я протиснулся мимо и, опираясь на палку, поднялся по ступенькам, пока Бартоли порхал вокруг меня. Как хорошо, что я приехал! — такая честь! — все сгорают от нетерпения! Я нахмурился. “Кто здесь?” — потребовал я ответа. Бартоли называл имена, загибая миниатюрные пальцы. “Старые друзья, — заключил он, сияя, — все старые друзья!” Я чуть не рассмеялся.

И вот они действительно ждут меня, пятнадцать или двадцать человек, в широком зале на последнем этаже, с низким потолком, со всеми четырьмя стенами из дымчато-серых листов стекла, скрепленных буро-красными рамами в современной, брутальной манере. Они столпились в середине большого, пустого зала, там, где был устроен фуршет на накрытых скатертями складных столиках — лица выжидающе повернуты ко мне, стоящему в дверях и на них глазеющему. Это правда, я знал большинство из них, если не имена, то лица; я плохо запоминаю имена, даже если пытаюсь, что бывает нечасто. Я вздохнул и в сопровождении подпрыгивающего Бартоли двинулся через зал с застывшей на лице каменной улыбкой, с усилием опираясь на палку. Бартоли нырнул в толпу; он кружился и парил в ней, словно хореограф, работающий со своей труппой. Движения у него манерные, механические, словно у профессионального актера. Со всех сторон меня приветствовали с осторожной улыбкой. Бартоли потащил меня к столу с напитками и, поскольку официант, смуглый молодой бычок с грубыми руками, не обслужил нас достаточно быстро, схватил бутылку, два бокала и сам налил нам вина. “Сын юга, — сказал он уголком рта. — Они живут на наши налоги и посылают нам этих бычков в знак уважения”. Франко очень гордился, что говорит по-английски без акцента. Официант угрюмо смотрел на него. Бартоли протянул мне стакан и поднял свой в знак приветствия. “Трудно поверить, что мы наконец заманили тебя сюда, — сказал он, подмигнув, — мы приглашали тебя каждый год последние семь лет — да, я проверял наши записи, — но все впустую”. Он был похож на боксера, который уступал сопернику в разряде и весе, уклонялся, делал ложные выпады и искал брешь в защите, чтобы нанести удар. Я едва ли обращал на него внимание. На меня вдруг с галлюциногенной остротой нахлынули воспоминания о том, как я проводил в детстве лето на дедуш-

киной ферме. Городской ребенок, я поначалу крайне остро ощущал запахи этого места: цветов, фруктов, растений и их гниения, запах горячего конского навоза, запах земли и экскрементов в маленьком деревянном туалете в саду рядом с благоухающей бузиной, тонкий аромат земляники, которую я искал в живой изгороди, запах грибов, запах кур и их крови, запах кошек и собак, запах соломы, масла, брызг кипящей воды, пота животных и людей, дедушкиного табака, терпкий запах вина и изношенной ткани, запах опилок, запах собственного пота. Больше всего я любил время сбора урожая, когда пшеницу, овес и рожь привозили с полей на гумно. Здание было — или мне это только казалось — огромным, словно церковь, с высоким, сводчатым потолком и высоко расположенными окнами, через которые струились лучи солнечного света. Воздух был наполнен кружащейся мякиной, рабочие кашляли, сплевывали и ругались, перекрикивая друг друга в непрерывном шуме. Молотилка была огромной, сложной деревянной конструкцией, похожей на гигантское насекомое с оглушительно щелкающими подвижными частями. Ее приводила в движение паровая машина, соединенная с ней длинным кожаным ремнем, который пугал меня дрожанием, грохотом и напоминал бьющееся в агонии существо. Внутри гумна всегда стояли серебристые сумерки, и люди передвигались, словно призраки, с завязанными куском ткани ртами. Снизу, через открытую воронку, из машины высыпалось зерно в мешки, а высоко наверху ободранная и поломанная солома извергалась беспрерывно и хаотично. Я стоял рядом с дедушкой; несмотря на шум, он пытался объяснить, как машина работает. Какая торжественность и сплоченность чувствовалась в этой работе! В полдень вся работа останавливалась, опускалась непривычная, звенящая тишина, и мы все шагали на кухню, похожую на пещеру, где бабушка подавала на обед яичницу с толсто нарезанной колбасой и пиво. На отдыхе, как и на работе, мужчины казались братьями: хлопали друг друга по спине, кричали через всю комнату, смеялись, ругались, перекидывались грубыми шутками. Я свободно бродил среди этих мужчин, утомленных, но в то же время находящихся в радостном возбуждении. Никто не обращал на меня внимания, словно я был одним из них. Зарождалось хмельное, простодушное пение: поначалу оно прерывалось, словно заплутало, но затем песню подхватывали все присутствующие, и она поражала своей силой — в груди у меня что-то сжималось, в горле стоял ком. В перерывах между пением мне предлагали сделать глоток пива, и, несмотря на то что я ненавидел его вкус, напоминавший мне свиinarник, я все равно улыбался, причмокивал губами и тянулся за еще одним

глотком — мне аплодировали, песня продолжалась, и дедушка, сидящий на дальнем конце длинного стола, улыбался мне... Так я вспоминал то, чего никогда не было. Конечно, была молотилка — но ее работу я видел лишь мельком, снаружи, — входить внутрь мне запрещали из-за того, что считали болезненным и держали подальше от рабочих, опасаясь, что я могу увидеть и услышать нечто неподходящее для ребенка в столь юном возрасте. Все это было грезой, в которую я погружался, желая быть там: в гумне, на кухне, среди людей; все это было фантазией, рожденной моей отчаянной потребностью быть частью чего-то. Теперь же я смотрел затуманенным временем взором на город, выглядевший опаленным за дымчатым стеклом, и чувствовал себя так, словно очнулся от обморока и обнаружил себя среди группы выживших в катастрофе людей, сбившихся в кучу здесь, над руинами, оставленными исполинским, разрушительным пожаром.

Прикосновение заставило меня очнуться. Я не сразу узнал Кристину Ковач. Не то чтобы она сильно постарела или изменилась внешне с тех пор, как я видел ее в последний раз, но что-то с ней произошло. Словно бы она не была собой, словно передо мной была ее близкая родственница или сестра-близнец — отстраненная, потускневшая и опустошенная. Я не смог придумать, что сказать, быстро наклонился и поцеловал ее в щеку: кожа была теплой, сухой и дрожала, словно в лихорадке. Она прикоснулась к месту поцелуя и издала знакомый, приглушенный смешок — я не из тех, кто целуется, — слегка отклонилась и взглянула на меня снизу вверх, склонив голову набок; ее черные глаза сияли легкой насмешкой и изумлением. Она сказала, что я хорошо выгляжу, и при этом будто удивилась, словно уже не ждала от жизни ничего хорошего, хотя и была вдвое младше меня. Я задавался вопросом, помнит ли она с такой же, что и я, волнующей, пронзительной ясностью день, когда она неожиданно пришла ко мне в номер много лет назад то ли в Будапеште, то ли в Бухаресте, то ли в Белграде? Имеет значение не место, а мгновение. Я вспомнил ее коралловую комбинацию и как торжественно она легла передо мной на кровать, словно подкошенная силой собственной страсти. Я до крови искусал ей губы, я целовал ее ступни. И вот она спрашивает, о чем я буду говорить на завтрашней конференции, и Франко Бартоли выскакивает, словно чертик из табакерки, и, поглаживая изящную, мягкую, блестящую бородку, с ухмылкой говорит, что, несомненно, у профессора Вандера может быть только одна тема здесь, в Турине... Я понятия не имел, о чем он говорит. “Я ничего не подготовил”, — сказал я, надеясь, что он отстанет. Я представлял россыпь веснушек в ложбинке между бледными,

вялыми грудями Кристины Ковач. А сейчас, за ее спиной, город в дымке простирался к далеким, закутаным в облака горам. Она все еще смотрела на меня с такой знакомой, слегка искривленной улыбкой. У нее есть — или была — привычка слегка покачивать головой, будто в такт медленной, звучащей в голове мелодии. Мне было нехорошо. От вина пересохло во рту. Я наклонился, чтобы поставить пустой бокал на стол, и мне представился случай будто бы случайно толкнуть локтем Бартоли в его маленькое брюшко. После этого мне полегчало, и я подчеркнуто грубо отошел от него и Кристины Ковач, встав у одной из стеклянных стен спиной к залу, хмуро созерцая город. Позади ненадолго затих гул голосов, после чего возобновился на более высокой, нервной ноте: Аксель Вандер дерзок и груб, как всегда. Как и в то утро, когда я стоял у окна гостиницы, я представлял, каким меня видит смотрящий с улицы, — парящий силуэт, который наверняка вскоре рухнет вниз: дряхлый, потерянный архангел. Я снова испытал жгучий прилив жалости к себе, чистой и безграничной. Кристина Ковач подошла и встала рядом — я почувствовал ее дыхание, теплое и не свежее. Мы смотрели на горные хребты вдалеке. “Думаю, меня разоблачили”, — услышал я свой измученный голос, с нотками неубедительной легкости. “Мне пришло письмо. Кто-то копался в моем прошлом. Она скоро будет здесь”. Я искоса взглянул на Кристину, и она с улыбкой ответила на мой взгляд. “Она? — пробормотала она, качая головой. — Ах, Аксель, ты опять ведешь себя безразлично?”

Я смутился и разозлился на себя. Я не мог понять, почему ей доверился. Она ничего не знала ни обо мне, ни о моем прошлом, реальном или вымышленном. Была ли она для меня чем-то большим, нежели эпизодом послеполуденной, вероятно, фальшивой страсти в натопленном гостиничном номере в заснеженном городе, в который я никогда не вернусь? Я всегда полагал, что именно те несколько часов стали причиной запоздалой рецензии на “Послесловие”, которая показалась мне едва уловимым, дразнящим намеком; слишком уж легкомысленно она выглядела на фоне серьезных литературных трудов в “Débat”¹. Письмо с благодарностью, которое я послал ей после выхода статьи, далось мне нелегко: я пытался подражать ее лукавому, игривому тону, но не преуспел и даже не смог понять почему. Ее ответное письмо было невинным и проникнутым теплой симпатией, без каких-либо намеков на

1. “Le Débat” — французское периодическое издание, основанное в 1980 г., журнал для интеллектуалов.

наше свидание. Теперь я с тревогой задавался вопросом: могла ли она знать о моем прошлом больше, чем давала понять, я имею в виду о *том самом* прошлом? Хотя какое теперь это имеет значение? Гарпия, что спешит сюда из Антверпена, наверняка уничтожит меня. Я понял, что даже жду этой встречи. Да, пусть придет, подумал я почти весело, я буду рад! Вместо гнева и жалости к себе я вдруг почувствовал зарождающуюся невесомость, будто в любой момент могу взмыться вверх — бескрылый, но способный свободно улететь в небо, к свету, в пустую, холодную, сверкающую синеву.

“Я умираю, Аксель”, — сказала Кристина Ковач.

Она смотрела в пол с почти девичьим выражением удивления и легкого стыда, будто разболтала какой-то интимный секрет. “Да, я умираю”, — сказала она, на этот раз мягче, но с большей силой, как бы прислушиваясь к словам, внушая себе эту непостижимую правду. Я смотрел на нее сверху вниз. Низко, с грохотом, пролетел самолет, и мгновение спустя промелькнула его огромная тень. Кристина улыбнулась, с сожалением покачала головой, извинилась и попросила забыть о сказанном. “Расскажи мне об этой девушке, — сказала она с пугающей веселостью. — Я имею в виду ту, что тебя разоблачила. Ты сказал, что это была девушка, не так ли? Впрочем, как и всегда. Что за ужасный секрет она раскопала?” Она недобро рассмеялась. Я крепко сжал палку в кулаке. Какое право она имеет так со мной разговаривать? Я — Аксель Вандер. Никто не разговаривает со мной так дерзко. Она подошла ближе и взяла меня за руку, ее хватка была одновременно настойчивой и слабой. Я знал, что случится дальше. Я отпрянул от ее прикосновения. Внезапно мне стало трудно дышать. “Ты помнишь Прагу?” — спросила она. Итак, Прага — не Белград и не Будапешт. Я молчал. “Было жарко, — прошептала Кристина с затуманенным взглядом и мечтательной улыбкой, — так жарко в том гостиничном номере...” Это было невыносимо. Я огляделся. Кто-то же должен меня спасти! Где этот шут Бартоли, когда он так нужен? “Мне очень жаль, — буркнул я, — прошу прощения”, — и, вытирая рот рукавом, резко отвернулся от нее, ринувшись по широкому, словно морское дно, полу к двери, к спасению. Франко Бартоли, повизгивая, поспешил за мной. Я взмахнул палкой, скорее предостерегая, нежели прощаясь, и бросился прочь — преступник, убегающий от погони.

Когда она вышла из здания вокзала, уличные фонари все еще тускло горели в предрассветных сумерках, и ей казалось, что мир погрузился в мутную воду. Она раскрыла карту: гостиница, в которой он остановился, близко. Она решила прогулять-

ся. Пошатываясь, приближался трамвай; ей нравились трамваи, их неуклюжий, но внушительный вид. Она подождала, пока трамвай проедет. Ей казалось, что она появилась из прошлого, с плащом и сумкой в руке, в простом платье и старомодных туфлях; будто это вовсе не она, а какая-то незнакомая, нетерпеливая, неопытная девушка, которая вскоре станет трагически знаменитой. Она часто видела себя в разных обликах и словно бы в других жизнях — эпизоды были настолько яркими, что иногда ей мнилось, будто она их уже проживала. Она поежилась и надела плащ; она ожидала, что на юге будет теплее. Скоро взойдет солнце. В поезде она почти не спала; она ехала в переполненном купе, забившись в угол сиденья, с сумкой под ногами и свернутым плащом вместо подушки. Поезд то и дело останавливался на пустынных станциях, скрипя и вздыхая в глубокой ночной тишине, и вновь отправлялся в путь с пронзительным лязгом. Один раз, прижавшись к окну, она посмотрела вверх и увидела, что поезд мчится вдоль высоких, зазубренных гор, отвесные склоны которых мелькали всего в метре-двух от путей. Она предположила, что это Альпы. Она могла разглядеть их прозрачные, сверкающие в лунном свете пики. Она вспомнила, как когда-то давно была в горах с отцом: он вез ее на санках вверх по склону, а потом позволил сделать глоток глинтвейна. Перед рассветом она задремала, но сон был похож на один из детских ночных кошмаров, и она, вздрагивая, просыпалась с ощущением, что кто-то из пассажиров прикоснулся к ней или попытался залезть в ее сумку. Когда они подъезжали, толстый мужчина встал с места слишком рано, поезд резко затормозил, и он, чтобы не упасть, схватился огромной рукой за ее плечо, сделав ей больно. От рукава его рубашки едва уловимо пахло рвотой. Сейчас же, с легким головокружением, нетвердой походкой, она шла по широкой аллее. На площади шумно просыпались скворцы на деревьях, внезапно вспорхнула огромная стая голубей, взмахи их крыльев были похожи на насмешливые аплодисменты.

Она не знала, что будет делать в гостинице. Было рано, и ей придется ждать как минимум час, прежде чем сообщить ему о прибытии. Она могла бы подождать в вестибюле, но не была уверена, позволят ли ей войти в столь ранний час. В голове зазвучали голоса; она знала, что это произойдет, — она всегда их слышала, когда колебалась или тревожилась. Будто пестрая, шумная толпа шла, наступая ей на пятки и обсуждая между собой ее бедственное положение возбужденным, быстрым, неразборчивым шепотом. Она замерла на мгновение, прикрыла глаза и прислонилась к закрытой ставнями витри-

не магазина — мир исчез, но гомон голосов лишь усилился. Глубоко вздохнув, она пошла дальше.

Когда она задремала в поезде, ей приснился Арлекин в своей черной полумаске. Она проснулась, достала блокнот и перьевую ручку. “А. — палач, его маска и дубинка. Местр о палаче: “Что это за невообразимое создание?..” Сорвите маску с его лица — и обнаружите еще одну. Отец отец отец”.

Призраки отступили.

Вот и гостиница с лавром в горшке у подножия лестницы. Автоматические стеклянные двери разъехались перед ней, и она задалась вопросом: успел бы среагировать механизм, если бы она передвигалась не спокойно и размеренно, а разбежалась изо всех сил? Ей представилось, что она лежит на мраморных ступеньках среди разбитого стекла, кровь струйками вытекает из горла и запястий. Внезапно ей пришло в голову, что гостиницы очень похожи на больницы. Молодой человек в щеголеватом черном костюме за стойкой регистрации ей улыбнулся. Она прошла мимо, устремив взгляд перед собой и выпрямив спину, будто имела полное право здесь находиться. Она никогда не понимала, как устроены гостиницы и каковы правила проживания в них. Например, чем отличаются постояльцы от тех, кто приходит и уходит в течение дня: случайных посетителей, людей, зашедших пообедать или встретиться с приятелем в баре? Знает ли молодой человек за стойкой регистрации, что она здесь не живет? Она не попросила ключа, но могла взять его раньше, до его дежурства, и, уходя, забрать с собой. Да, у нее была сумка, но не слишком большая, такую вполне можно взять, когда идешь за покупками. Но зачем ей выходить с такой сумкой на рассвете, когда магазины еще закрыты, и почему она возвращается с полной сумкой?

Вестибюль был блестящим, мраморным, со скрытым освещением и низким потолком; посередине находилось нечто, похожее на пруд, где среди папоротников плескалась вода. Она сняла плащ и присела на краешек неудобного кожаного дивана, к которому всегда прилипаешь спиной, даже сквозь платье. Повисло равнодушное молчание. Ей стало интересно, настоящие ли в пруду папоротники, — выглядели они вполне естественно. Она пыталась не думать о голосах: одной мысли бывает достаточно, чтобы их пробудить. Подошел портье и по-английски, с холодной вежливостью, спросил, не желает ли она кофе или чаю. Она покачала головой; она не знала, как здесь платят, и представила, как протягивает ему деньги, но встречает недоумевающий взгляд. Он был красив, словно сошел с экрана: смуглый, грациозный, сдер-

жанный. Он снова улыбнулся, и ей показалось, что на этот раз не без иронии. Он взглянул на ее сумку и приподнял бровь так, будто знал, что она не постоялец. Интересно, как он догадался? Может, всех зарегистрированных постояльцев тайне фотографировали и хранили снимки в папке под столом, в которой ее фотографии не было. Но, вероятнее всего, он все понял по ее виду: по тому, как она сидела — прямо, со сдвинутыми коленями и сложенными руками, — и по тому, что она не поднялась на лифте в свою комнату — комнату, которой у нее не было. Она посмотрела на часы и вздохнула. Голос злорадно зашептал в ее голове.

И вот я снова сплю и вижу сон. Я в самолете или даже на нем, в открытой кабине с металлическим полом и закругленным навесом на тонких стальных подпорках. Есть на борту и другие пассажиры, но я их не вижу за высокими подголовниками сидений. Свистящий ветер удивительно прохладен и мягок. Сквозь прерывистые облака я вижу поля и реки, клочки зелени — должно быть, деревья, — дома, дороги — целый игрушечный мир раскинулся во все стороны, до линии горизонта. Я лечу, легкий, как перышко, свободный, при этом ощущаю себя самым собой, а также кем-то еще, но это ведь так естественно — так и должно быть. Подходит стюардесса, наклоняется, что-то говорит мне, но когда я поднимаю взгляд, вижу бородастое, болезненное лицо — лицо мужчины, нежное, но не женственное, глаза полузакрыты, словно у трупа, веки натянуты на выпуклые глазные яблоки, как бумага или шелк. Она протягивает мне сложенный лист бумаги — должно быть, письмо, которое я не хочу брать, но она не отступает. *Синьор*, — говорит она с мягкой настойчивостью, приближая ко мне свое бородастое лицо, — *синьор, синьор*. Я отталкиваю ее, бумага шелестит в моей руке, я пытаюсь подняться с кресла, но не могу — не позволяет нога. Я знаю, что самолет вот-вот упадет, чувствую, как он меняет траекторию, как металлический пол дрожит от перегруза. Мир мчится мне навстречу: предметы стремительно увеличиваются в размерах, словно в серии быстро сменяющих друг друга кадров. Наконец я встаю, нога безболезненно отрывается от бедра; истекая кровью, я прыгаю по проходу и вижу, что нахожусь не в самолете, а в открытом кузове грузовика, который трясется и раскачивается, с грохотом мчится сквозь дым и рев, мимо других машин, без водителя. Раздался крик, и я проснулся в холодном поту, зубы стиснуты, пальцы вцепились в край матраса, простыня сбилась.

Я осторожно поднялся, подошел к окну и закрыл его, приглушая уличный шум. Еще не было семи, а день уже был в раз-

гаре; я с тоской подумал о сонном утре в Аркадии. На тумбочке позади меня зазвонил телефон. Я рос без телефона, и мне так и не удалось привыкнуть к этому аппарату, неизменно стоящему в каждом доме и гостиничном номере, готовому в любую минуту без предупреждения разразиться звонком, раздражающим и требовательным, точно плачущий младенец. Я подошел к кровати, присел на краешек, осторожно поднял трубку и с опаской приложил ее к уху; на мгновение я почувствовал себя отцом с его настороженным отношением к технике. Отец. Как странно. Я не думал о нем... сколько? Голос стойки регистрации сообщил, что меня ждет “una persona”¹. Я кивнул, будто портье мог меня видеть. Я положил трубку и сделал глубокий вдох. Итак.

Я неторопливо позавтракал в номере, после чего долго лежал в обжигающе-горячей ванне. Итак, она приехала — столкновение неизбежно. Я будто впал в летаргию и лениво размышлял. Мимолетное воспоминание об отце неожиданно воскресило многочисленные картины из далекого прошлого: о детстве, о моей семье, о семье Вандеров с их кузенами, дядями, тетями. Я будто спокойно тонул, а жизнь не столько мелькала перед глазами, сколько разыгрывала сцены из прошлого в полусонной, замедленной съемке. Наконец я встал, наскоро вытерся и надел безнадежно помятый льняной костюм и короткий галстук. Я мрачно ухмыльнулся себе в зеркало: утопленник одевается на собственные похороны. В коридоре стояла гробовая тишина. Слязгом и грохотом подъехал лифт, я вошел в этот ящик и спустился вниз, потирая в кармане монетку, — обол Харона! — между указательным и большим пальцем.

Странно, что в конце концов я оказался в Аркадии, так далеко от всего, что знал когда-то. Я, как и многие другие, должен был оказаться в самом сердце бедствия — там, где рушатся твердины, беснуются огненные бури, разносятся крики детей; Аркадия же была совершенно в другом направлении. Однако, оглядываясь назад, я понимаю, что все сделанное ранее неуклонно вело меня именно туда; будто все опубликованные эссе, произнесенные речи, завоеванные почести были Зефиром, который неудержимо нес меня на запад: от Европы к Манхэттену, Пенсильвании, равнинам Индианы и мрачной Небраске — какая суровая поэзия в этих названиях! — и поледним рывком через горы опустил на узкую полосу залитого солнцем побережья, где я приземлился с беззвучным ударом, поднимая пыль, словно прибывший на диковинную планету

1. “Одна особа” (итал.).

космонавт. Диковинная — подходящее слово. Это место всегда было для меня чужим, или я был в нем чужаком. Дело в том, что я не жил там по-настоящему. Я не принимал участия в городской жизни. Не покупал машину. Никогда не бывал на том изящном, длинном, знаменитом красном мосту. Гуляя под солнцем Аркадии, которое, казалось, всегда было надо мной, словно обезличенный, но вечно бдительный глаз, я закрывался от настоящего и мысленно оказывался в городе, где родился: снова ходил по узким, потаенным улочкам, по которым бродил в детстве, видел шпили, покатые крыши и замерзшие поля, усеянные крошечными фигурками за работой или игрой, как в одной из тех голландских сценок, в которых труд и праздник смешаны. О, я бы все отдал в те однообразные аркадийские дни за то, чтобы очутиться на дороге во Фландрии, под апрельским проливным дождем! И все же в Аркадии мне было спокойно. Каждый находившийся там был раньше кем-то другим, пришел из другого мира, так же, как и я. За все прожитые в Аркадии годы я не встретил ни одного человека, родившегося там. *Откуда ты?* Аркадийцы спрашивали друг друга и улыбались, приподняв брови и приоткрыв рот в ожидании истории. Они рассказывали самые сокровенные подробности о себе и своем прошлом с характерным движением, словно хотели сбросить груз с плеч. Их будущее было легендой. Конечно, я их приводил в восторг. В отличие от приятелей из Нью-Йорка, их не интересовало мое политическое прошлое, они шли ко мне с любопытством и удивлением, словно посещали древнее священное место, где проводили давно забытые ритуалы и шли битвы с кровавыми жертвами, — они ходили вокруг меня, рассматривая со всех сторон и будто жалея, что не взяли фотоаппараты и путеводители. Я поощрял самых сговорчивых и казавшихся мне полезными, приглашал в гости, удовлетворяя любопытство, пока не решил, что моя легенда достаточно убедительна, после чего закрыл ворота своей крепости, с грохотом опустив решетку, и больше никогда не поднимал ее, оставляя замки покрываться ржавчиной.

В пышной и зеленой Аркадии Магда чувствовала себя не к месту еще больше, чем я. Ей почти понравился Нью-Йорк с многолюдными улицами, суетой и непрерывным людским гомоном. Чем дальше мы ехали на запад, тем меньше жизни в ней оставалось. Воздух безбрежных земель, через которые мы проезжали, высушил и опустошил ее. В Аркадии молодые люди пугали ее: от мальчика на велосипеде, который каждое утро кидал к нашей двери с неудержимой энергией свернутую газету, до малолетних хулиганов, что гоняли наперегонки на

мотоциклах по тенистым аллеям и отравляли воздух выхлопными газами. Она начала прятаться от мира, и если выходила из дома, то только вместе со мной. Я не могу вспомнить, когда именно понял, что ее разум угасает. Возможно, изъясн был всегда — некое пятнышко в мозгу, с которым она родилась; это пятнышко разрасталось до тех пор, пока внутренности черепа не превратились в кашу. Когда она пристрастилась к дешевым сладостям? Я находил палочки от леденцов, прилипшие к полу, крошки в кровати, фантики от конфет в унитазе. Я часто возвращался домой и находил ее в прихожей — она стояла и глядела на меня бессмысленным взглядом, в котором не было узнавания. Я слышал, как она разговаривает сама с собой в ванной и на лестнице приглушенным, настойчивым шепотом. Однажды утром она вошла на кухню, оставляя за собой след из фекалий, плоских, как рыба; тогда я понял, что время ее пришло.

В вестибюле отеля регистрировались пожилые туристы, жалующиеся и громко споря; их самолет, как и мой, задержали, и потеряли багаж. Опираясь на палку, я остановился возле лифта и огляделся. Где эта *персона*? Два крупных бизнесмена сидели на низких креслах друг напротив друга за журнальным столиком, напряженные и настороженные, будто готовились к армрестлингу. Девушка с рыжими волосами притаилась в углу дивана с сумкой у ног в надежде, что ее не заметят, видимо, ожидая кого-то. Мимо прошла расфуфыренная, затерявшаяся в складках шубы карга с мопсом на руках. Я хотел подойти к стойке регистрации, но не смог из-за суетящихся туристов. Я хотел просто выйти за дверь, прочь, и ясно представил себе это, только в воображении мертвая нога снова была здоровой, а шаг молодым, быстрым и беззаботным. Я почувствовал ее присутствие до того, как она заговорила. Конечно, это была та девушка с рыжими волосами, я должен был понять это сразу. Высокая, бледная, веснушки на носу, глаза — какие? — зеленовато-синие, да, с янтарными крапинками. Я заметил, что стоит она так, как стоят иногда высокие девушки, пытающаяся казаться ниже хотя бы на пару сантиметров: ноги скрещены, переднее колено согнуто. Она держала сумку перед собой и сжимала ремешок обеими руками, словно ожидала нападения и готовилась его отразить.

“Я Кэтрин Клив, — сказала она. — Все зовут меня Касс”.

Мы присели в вестибюле на разных концах кожаного дивана, лицом друг к другу, девушка с прямой спиной и невольно сжатыми кулаками, плащ рядом, сумка на полу — у нее был настороженный вид беженки, не более часа назад пересекшей границу под перекрестным огнем. Я был раздражен. Плеск во-

ды в декоративном пруду отвлекал меня: какой дурак придумал поставить там папоротники и фонтан? Мне нравится, когда все находятся на своих местах. Я изучал девушку или, скорее, молодую женщину. У нее была яркая внешность, но безвкусная одежда. Я обратил внимание на слегка воспаленные розовые уголки глаз на заостренном лице, светлые волосы на руках и длинных, обнаженных, худых голених. Она торопливо рассказывала подробности исследовательского проекта, которым, по-видимому, занималась годами и который имел какое-то отношение к детям Руссо, если я правильно припоминаю, — я почти не слушал. Я думал о том, как сильно разочарован. Я ожидал кого-то более внушительного. Она могла бы быть моей студенткой, одной из тех отчаянных студенток, которых я встречал, когда преподавал. Значит, она надеется сделать себе имя, разоблачив меня? Что ж, она могла бы преуспеть, но при этом она заплатит цену не меньшую, чем я, — уж об этом я позабочусь. Пока она говорила, ее необычайно широкие, блестящие глаза замороженно изучали меня, взгляд метался вверх и вниз; будто я был живым пазлом, который она пыталась собрать. От нее исходила неуловимая вибрация, будто что-то внутри нее беззвучно, непрерывно, с ужасающей скоростью вращалось. Я прервал невнятный рассказ про оставленных сорванцов Жан-Жака и спросил, не хочет ли она позавтракать. Она посмотрела на меня с тенью паники и решительно покачала головой. У меня было чувство, будто на лесной тропинке я встретил лицом к лицу редкое, дикое, пугливое существо, которое задержалось на секунду в трепетном любопытстве и в следующее мгновение пропадет из виду, шурша листьями. Я знал таких женщин. Они всегда сидели на верхнем ярусе лекционного зала и жадно, безмолвно смотрели на меня. Мой взгляд упал на темную впадинку над ее ключицей, и я с удивлением почувствовал, как мое старое либидо задумчиво расправляет мозолистые лапы. Я всегда отдавал предпочтение сумасшедшим.

Я спросил, откуда она. Она ответила, и я сказал, что это прекрасное место — родина многих известных, прекрасных поэтов. Как я мог не узнать это произношение, этот акцент сразу, по телефону? Я спросил, в какой гостинице она собирается остановиться, и по ее запинке и нахмуренному лицу понял, что остановиться ей негде. Хорошо. Возможно, здесь будет свободный номер, сказал я мягко, поднимая глаза. Она с сомнением, часто моргая, оглядела мраморный пол и люстры. Да, сказал я, она должна остаться здесь, я уверен, что у них есть свободный номер, я сейчас же все устрою. Поднимаясь на ноги, я с мрачным удовлетворением заметил, что она

едва сдерживается, чтобы не протянуть мне руку помощи. Она замерла рядом со мной у стойки регистрации, но при всей ее неподвижности было заметно, как мелко дрожало ее тело. Да, сказал я с галантной вежливостью, свободен люкс, ей подойдет? Она молча смотрела на меня. Я улыбнулся. “Тогда что-то поскромнее?” Она покраснела. Элегантный молодой человек за стойкой стоял с каменным лицом. Я положил регистрационную карточку и предложил ручку, от которой она отказалась, достав из кармана блузки собственную. Она наклонилась и поспешно начала писать, нахмурившись, словно школьница. Я попытался прочесть адрес, но не смог его разобрать. Ее почерк поразил меня своим размахом и неистовством: неровные, заостренные буквы с наклоном в разные стороны, строка за строкой. Я проворно подхватил протянутый администратором ключ и ее сумку, прежде чем она за ней потянулась. Она снова покраснела. Я смаковал ее румянец, как глоток самого изысканного и дорогого ликера. С ней будет весело, в этом нет сомнений! Она повернулась к лифту, и я последовал за ней. Широкие плечи, длинные ноги, слишком большой рост. Мы поднимались бок о бок и смотрели вверх. От нее исходил резкий запах пота и чего-то тоскливого, похожего на лекарства, — в этом угадывалось школьное прошлое и не только школьное; быть может, это запах санатория? Возможно, у нее больные легкие. Я не был уверен, встречается ли сейчас эта болезнь. Как же далеко иногда улетывают мысли.

Номер, который я ей снял, был маленьким, окна выходили на плоскую крышу и на ряд причудливых почерневших металлических труб, похожих на дымовые трубы океанского лайнера. Я положил сумку на кровать. Она стояла спиной к окну, сжавшись в комок, будто готовилась защищаться: плечи наклонены вперед, ладони сцеплены у живота. Я сказал, что она, должно быть, устала с дороги; она ответила, что да, в поезде было трудно заснуть. Снова воцарилась тишина. Она не упомянула ни о письме, ни о его содержании. Я сказал, что она должна отдохнуть, после чего мы пойдем обедать. “Обедать?” — переспросила она, будто услышала слово на иностранном языке; ее нижняя губа слегка опустилась и скривилась, будто из нее вырывалось нечто, чего она не могла сказать. Я глубоко вдохнул застоявшийся воздух, пытаясь снова ощутить запах ее пота. Либи́до вновь зашевелилось. Она, комната, сумка на кровати, корабельные трубы снаружи — все это внезапно показалось мне каким-то захватывающим, абсурдным приключением, частью которого я внезапно стал, и с меня легко, словно пух, облетела тысяча лет. “Обедать, —

сказал я, — да!” не терпящим возражений тоном, после чего кивнул, повернулся, забавным жестом перевернул палку, зацепил дверную ручку и открыл дверь; если бы на мне была шляпа, я бы сдвинул ее набекрень. Скоро я стану свободным, сказал я сам себе, сам не зная, что это могло значить.

За дверью я остановился, мои руки дрожали.

Я повел ее в “Эсмеральду”, желая произвести впечатление, но она не обратила внимания на печальное великолепие этого места в стиле рококо: на красные плисовые стены, сверкающий хрусталь, салфетки из роскошного дамаста, тяжелые, старинные столовые приборы. Она почти не ела, только не глядя прокалывала вилок еду и двигала ее по тарелке. Она переоделась в невзрачное платье без рукавов, которое делало ее похожей на молодую вдову. Она сидела с прямой спиной, ее высокая, узкая шея была вытянута, как у птички или лебедя; наши глаза находились на одном уровне, но меня не оставляло ощущение, что она смотрит на меня сверху вниз. Она что-то сделала с волосами, подвязала сзади или по-другому причесала, открыв широкие щеки и слишком большие мочки ушей, — я подумал, что таким должен быть портрет человека на грани отчаяния. У меня не было аппетита, но, как всегда, была сильная жажда. Сперва я выпил бутылку густого, как кровь, красного вина, а затем несколько порций граппы, сопровождая каждую глотком кофе, что приводило меня в нервное возбуждение. Она выпила только стакан воды. Дым моих бесчисленных сигарет сформировал удушливый кокон, заставлявший ее кашлять. Мы сидели у окна, которое выходило на узкую пустынную улицу с полуразрушенной церковью. Сколько раз за свою долгую и печально знаменитую карьеру я сидел в ресторане напротив девушки с сигаретой в зубах и мрачной улыбкой, небрежно положив руку на спинку стула, выставляя себя напоказ ее благоговейному, восхищенному взгляду, словно кубок самого редкого и непревзойденного вина старого урожая. И вот я стар, но снова делаю это. Я рассказывал ей о своей первой зиме в Нью-Йорке. Я уединенно жил в подвале на улице Перри, где летом думал, что умру от жары, а зимой боялся, что уже никогда не отопреюсь. Магда показывала, как скатывать газеты, чтобы разжечь печку. Я работал днем и ночью, не вставая, голова кружилась от перевозбуждения и утомления. “Я придумал название еще до того, как написал хотя бы слово, — сказал я. — ‘Псевдоним как характерный факт: нонатив в поисках идентичности’. Я уже видел суперобложку книги с названием, набранным крупным, жирным шрифтом и внизу мое имя, более скромного размера”. Я фыркнул, выпил граппу и с мазохистским удовлетворением почувствовал, как

едкая, маслянистая жидкость снимает с языка еще одну пленку, — удивительно, как убаюкивает чувство отвращения к себе эта легкая боль... Как же холодно было в той комнате. Я сидел, завернувшись в одеяло, высунув только лицо и руку, мозг гудел от барбитуратов, которые я принимал чуть ли не каждый час. Ветер с реки задувал в окно, частички сажки перекатывались по странице, на которой я писал. Я пытался работать в библиотеке, желая согреться, но не смог находиться в окружении таких же, как и я, — нищих, изможденных, вздыхающих, шмыгающих носом и тайком поедающих бутерброды из коричневых бумажных пакетов. А потом произведение было опубликовано, и сразу, как в сказке, я прибыл на бал, будто Золушка в карете из тыквы. “Так бывало, — сказал я, — в те дни. Одна книга могла сделать тебя известным. Конечно же, все читали ее, — я лениво махнул рукой, — и все думали, что я обращаюсь напрямую к нему. Или к ней”. Я поймал ее взгляд и пренебрежительно улыбнулся. Вам знакома эта напряженная улыбка, при появлении которой лицо застывает и, кажется, вот-вот растрескается от напряжения?

Внезапно она словно окаменела, нож и вилка застыли в руках — все вокруг оцепенело, будто замолк беспрестанно гудящий холодильник. “Вы их убедили”, — сказала она. Я пожал плечами. “Такое было время. Тогда все были одержимы идентичностью — идентичностью и аутентичностью. Экзистенциальный кризис, ха-ха”. Да-да, я их убедил. По крайней мере, большинство из них. Изменчивость — кто из них сказал, что изменчивость мировоззрения была самой выдающейся характеристикой каждой написанной мной строчки? Я не знал этого слова, и мне пришлось искать его в словаре. “После этого все изменилось”, — сказал я. Да. Мы с Магдой покинули ледяной подвал и переехали в квартиру в большом, старом таунхаусе в Верхнем Вест-Сайде — оживленное местечко, где жили загадочные, умные люди, театралы, задумчивые, писавшие стихи меланхоличные девушки и прославленный темнокожий трубач. Успех был большим, громким и нелепым. Какая эйфория! И вечеринки — бесконечная череда вечеринок, — где я проводил время с живыми легендами, всеми этими Эдмундами, Лайонелами и Мэри. В их блестящей, всегда нетрезвой компании я выучил новый язык — язык намеков, кивков, неоднозначных улыбок, подмигиваний. Конечно, товарищей, которые теперь казались мне такими неотесанными и неуклюжими — *bon mot!*¹ — я вскоре

1. Хорошо сказано! (Фр.)

оставил позади. Я представлял себе их: коротко стриженные молодые активисты в джинсах и их спутницы — торжественные рабыни истины в клетчатых юбках и белых коротких носках, столпились на пустом тротуаре, скорбные и угрюмые, моргают в клубах пыли, поднявшейся от копыт моего удаляющегося скакуна.

Касс Клив положила нож и посмотрела на меня. Я снова пожал плечами, на лице самая искренняя и обаятельная улыбка. “Моя дорогая, — сказал я, — я так часто переворачивал свое пальто, что теперь оно изношено до нитки”.

Только тогда я осознал, как был зол, зол все это время, с тех пор как открыл ее письмо, да и задолго до этого, ведь я всегда знал, что рано или поздно письмо придет. Касс Клив смотрела в окно. Как много она знала? Я внимательно изучал ее. Да, я знаю этот тип: умная, любопытная, беспомощная и зависимая, жертва тайных желаний, безымянных тревог, ищет спасения не там, где нужно. Ее ногти были обкусаны. Я на мгновение закрыл глаза. Может ли так случиться, что замысловатый подвиг, которым была моя жизнь, это торжество риска, дерзости и лживости, в конце концов рассыплется в прах из-за страстного желания девчонки быть замеченной? Послеполуденный солнечный свет искоса, из-под высоких крыш, падал на улицу, блик снаружи слепил мне глаза — какое-то отражение от стекла или металла. Я был пьян. Я почти бессознательно взял руку Касс Клив и снова улыбнулся своей неотразимой, обнажающей зубы улыбкой. Что за зрелище мы, должно быть, представляли: гнусный, блудливый старикашка лапает бледную девушку и скалит лошадиные зубы. “Пойдем со мной, — сказал я галантно и игриво, — я хочу показать тебе место, где жил когда-то мой старый друг”. Наклонив голову, она смотрела на свою руку, лежащую в моей, с выражением недоумения, будто никто раньше за руку ее не держал. Я провел кончиками пальцев по ее ладони: она была теплой и неожиданно тяжелой. Когда она опустила глаза, ее розовато-лиловые, слегка блестящие веки так натянулись, что казались почти прозрачными.

Я осмотрелся, подошел официант, бодрый кадавр, почти такой же старый, как и я сам. Он принес счет и стоял, искоса глядя рыбьими глазами на наши руки, лежащие на запятнанной вином скатерти среди пустых кофейных чашек, жирных стаканов и ошетилившейся окурками пепельницы. Касс Клив снова смотрела в никуда без всякого выражения. О чем она думала? Ее теплая, тяжелая рука тихо пульсировала в моей, словно у этой руки было свое собственное крошечное сердце. Ее тяжесть стала внезапным, оглушающим напоминанием о

том, как многого в жизни я лишился. Я изнашивался, как и мой мир. Волна горечи и гнева захлестнула меня, дыхание перехватило. Реакции притупились: в юности чувство пронзило бы меня, как... как что? Я не знал, я потерял нить. Я отпустил девушку и быстро встал, опрокинув свой стул, и, если бы она не пришла на помощь, я бы неизбежно упал. Я схватился за ее руку, ругаясь и яростно стуча кулаком по мертвой ноге. Древний официант зашаркал мне навстречу, что-то приговаривая, будто обращаясь к непослушному ребенку. Я оттолкнул его и заковылял к двери. Я прошел несколько шагов по залитой солнцем улице и остановился, прислонившись спиной к стене. Я посмотрел на небо: оно будто медленно пульсировало. У меня закружилась голова, и мне снова показалось, что я куда-то перемещаюсь и отделяюсь от себя, — снова то чувство, которое я испытал накануне, перед зеркалом в ванной отеля, но теперь оно было сильнее. Без тревоги я подумал о том, что это может быть инфаркт или инсульт. Касс Клив снова попыталась взять меня за руку. “Ерунда!” — воскликнул я и без тени смущения выпустил газы, не заботясь о том, что она услышит или почувствует. Я смеялся, смеялся и кашлял в эйфории от опьянения, головокружения и ярости. Во мне будто спит другое “я”; в такие моменты оно просыпается и с изумлением озирается на все, что происходит в жизни, поражаясь ее неправдоподобием. Девушка стояла, хмурясь. Я обругал ее. Вспышка света ударила мне в глаза, — исходила ли она из дверного проема той церкви? Ave, Deus caecans!¹ Я неловко перехватил палку, уронил ее, и она застучала по мостовой. Девушка наклонилась, чтобы поднять палку, и я бы толкнул ее, если бы не боялся, что потеряю равновесие и упаду на тротуар. Сердце сжималось, как кулак. Я вырвал палку из ее рук, повернулся и, ругаясь, побрел по тротуару.

Ярость, ярость и страх в равной степени — вот топливо, на котором я двигаюсь: ярость от того, что я не являюсь собой, страх от того, что буду изобличен. Если однажды эти силы иссякнут, хрупкое равновесие будет потеряно, и я рухну или беспомощно, со свистом улечу, как выскользнувший из руки воздушный шарик. Даже когда я был молод... нет, нет, я не хочу вспоминать это, надоело! Я покончил с прошлым; когда я оглядываюсь назад, то в какой-то момент наталкиваюсь на преграду, будто там произошел обвал. Девушка осторожно, на некотором расстоянии, следовала за мной. Когда я останавливался, она останавливалась тоже, отворачивалась и

1. Слава Богу ослепляющему! (Лат.)

пристально смотрела на что-то. В темном платье и сандалиях с ремешками она была похожа на существо из прошлого: Электра, заблудившаяся в городе гробниц. Я снова забрел на маленькую площадь перед Палаццо Кариньяно. День очнулся от послеобеденного оцепенения. Машины разъезжали по оживленным улицам. Вот и бронзовая табличка на стене, которую я искал. К узкой высокой двери вели три ступеньки. Я нажал на кнопку звонка, из решетки металлического ящика на стене раздался голос, щелкнул дверной замок. Я вошел внутрь. Серые стены, затхлый, удушливый запах закрытого помещения. Касс Клив все еще переходила улицу, и мне захотелось отпустить дверь, чтобы она захлопнулась перед ней, так же, как перед морковноголовым, но все же сжалился и неохотно придержал дверь. Когда мы поднимались по лестнице, я вообразил, как поворачиваюсь к ней, хватаю ее и разрываю одежду, прижимаюсь к ней всем телом. Даже наготы мне было бы недостаточно, я бы снял ее плоть, как пальто, растегнул от груди до пят, влез бы в нее и почувствовал, как ее потрясенное сердце сжимается и трепещет, легкие дрожат; я бы сдавил ее кровавые кости своими руками. На вершине третьего пролета наконечник палки застрял в истертой мраморной ступеньке, и, гневно раскачивая ее в попытке освободиться, я вообразил, как раскачивается все здание, падает с фундамента и обрушивается каменной лавиной на изумленно сжавшуюся толпу.

Наверху была дверь из матового стекла, я постучал в нее ручкой палки. Тишина. Я откашлялся, Касс Клив тоже. Я указал на имя, выведенное золотыми буквами на стекле двери. “Фино, — сказал я, качнув головой. — Видишь? Эта семья сдавала ему комнату”. Мы ждали. Я постучал еще раз, и наконец дверь открыла миниатюрная девушка в старомодных очках в тяжелой черной оправе и в невзрачном платье, похожем на платье Касс Клив. Она бочком выскользнула из квартиры и быстро прикрыла за собой дверь, скрывая то, что было внутри; слабый запах готовки проник на лестницу. Она неуверенно поприветствовала нас и застыла: руки сцеплены на животе, взгляд направлен в пол. Я спросил, можно ли нам зайти в комнату, где жил философ. Она нахмурилась. “Ницше, — громко сказал я. — Фридрих Ницше!” Имя звучало здесь нелепо — лестничная клетка поглотила его и отозвалась эхом, которое будто хихикало. Молодая женщина размышляла. Мой взгляд цеплялся за ее маленькую пушистую родинку у левой ноздри. Она сказала, что с такой фамилией здесь никто не живет. У нее был странный, тихий, подрагивающий голос, на секунду она задерживала слово глубоко внутри, производя звук, подоб-

ный мурчанию кошки. “Я не имею в виду *сейчас*, — прорычал я. — Давным-давно! Он жил здесь. Il grande filosofo!” Я снова указал на имя, выведенное на двери и упомянул мемориальную доску снаружи, но она продолжала качать головой — отстраненная и непоколебимая. На секунду она подняла голову и с проблеском интереса взглянула на обнаженную шею Касс Клив и на две бледные веснушчатые складки кожи, собранные платьем без рукавов. На площадке было тесно и жарко, мы стояли бок о бок: два великана и крошечная женщина, укутанные теплом друг друга и запахом еды, который просачивался из приоткрытой двери. Я не придумал, что сказать, повернулся на пятках и в безмолвной ярости, разочарованный, начал спускаться по лестнице. Я остановился, обернулся и увидел Касс Клив напротив женщины-карлика; они все еще стояли там, опустив головы и не глядя друг на друга, молча — просто стояли, неподвижные, словно пара манекенов.

Я ждал у двери. Наконец она появилась на лестнице, переступая со ступеньки на ступеньку, осторожно, неторопливо, словно спуск был сложным маневром, которому она научилась недавно. Я вдруг вспомнил Магду. Девушка медленно подошла ко мне, избегая встречного взгляда — или не избегая, а глядя сквозь меня, будто меня здесь и не было. Она знала, что я сделаю. Я уже не был пьян. Она стояла в моих объятиях неподвижно, как если бы стояла под водопадом, оставаясь при этом сухой. Ее нижняя губа немного выступала, будто в ожидании капли священной влаги — но теперь, когда я приблизился, мне не сразу удалось найти этот мягкий, выступающий бутон плоти. Во время поцелуя она не закрывала глаза, как и я, — мы стояли и смотрели друг на друга удивленно, почти ошеломленно. Я снова уловил слабый лекарственный запах, исходящий от ее кожи. Он что-то мне напомнил. Может, фалки? Ее лопатки выступали под моими руками, словно замершие, жесткие крылья. Вдруг отчетливо, будто проекцию на экране, я увидел себя в доме на Кедровой улице: сижу напротив Магды за столом, в уголке, подаю ей таблетки, по одной выбирая из своей ладони, и отправляю в ее доверчиво распахнутый рот. Это было в полночь, я уловил слабый бой курантов в соседнем доме; в блестящее черное окно бился мотылек. Стояла тишина, которую нарушали лишь взмахи крылышек сбитого с толку существа. Руки Магды лежали на столе ровно, ногти были все в сколах и трещинах, с забившейся под ними грязью. Она была такой спокойной, такой

послушной и пристально, можно сказать, с живым интересом наблюдала за тем, как я наливаю воду в стакан и вкладываю его ей в руки. Вот, пей. Я сказал ей, что таблетки — особый вид конфет. Они были фиолетового цвета. Я высвободил Касс Клив из своих объятий, но она не шелохнулась: стоит и спокойно смотрит на меня пристальным взглядом Магды, будто гадая, что я сделаю дальше.

В гостинице я проследовал за ней в номер. Она задернула шторы, защищаясь от яркого дневного света. Конечно, на меня нахлынули сомнения, и мне захотелось уйти. Я устал от себя, от своего голода и детской потребности хватать, сжимать и сосать, которая с возрастом лишь усиливалась. “Знаешь, — сказал я, — а я ведь достаточно стар, я тебе в прадедушки го-жусь!” Я засмеялся. Она не ответила — лишь расстегнула сзади платье и стянула его через голову, на секунду превратившись в черного жука с руками-антеннами. Звук падения нижнего белья взволновал меня. “Ты знаешь ‘Венеру’ Кранаха в Музее изящных искусств в Брюсселе? — бодро произнес я, неловко опираясь на палку. — Ту, что в большой темной шляпе и в занятом черном ожерелье?” Меня поразило, насколько похожа реальная женщина на нарисованную: тот же тип с соблазнительными изгибами тела, тяжелыми бедрами, тонкими, длинными руками и мертвенной бледностью. “Рядом с ней купидон, — сказал я, — едва ли достает ей до колен, такой сердитый малыш; вокруг него выются пчелы, которые, по-моему, больше похожи на синеватых мух. Понимаешь, о чем я?” Она наклонилась, чтобы снять покрывало, одна грудь, как посеребренная лампочка, замерцала у подмышечной впадины. “Кранах, — сказал я, — младший или старший, не могу вспомнить — тот, что был другом самого Мартина Лютера. Интересно, что великий реформатор думал о непристойном виде дам, которых так любил рисовать его приятель?” Она сидела на кровати, подтянув ноги к груди и обхватив их бледными руками. Она смотрела перед собой, слегка нахмурившись, будто пыталась вспомнить давно позабытое слово или образ. Я прислонил палку к изголовью кровати, повернулся и проскользнул в ванную комнату, заперев за собой дверь.

Я считаю, что мочеиспускание — одно из меньших зол в старости, хотя тугая струя может причинять некоторую боль. Моча отчетливо отдавала граппой. Я открыл кран с холодной водой, заполнил наполовину раковину и погрузил туда руки, наслаждаясь плеском и прохладой. Затем некоторое время рассеянно перебирал ее вещи: крем, мази, порошки — смешение ароматов было одновременно приятным и отталкиваю-

щим. Я открыл помаду, приложил алый кончик к внутренней стороне запястья, нарисовал приоткрытый, словно в порыве страсти, рот и прижался к нему губами, ощущая восковую липкость и сладость. В мире женщин я всегда случайный гость. Я посмотрел в зеркало, увидел следы алой помады на губах, взял салфетку и не без труда стер ее. Я все еще медлил. Даже внутри этого склепа я чувствовал горячую пульсацию послеполуденного зноя снаружи. Я приложил ухо к двери: ни звука. Должно быть, она лежит под одеялом и ждет меня, возлюбленного с глазами лемура, — ждет, что я приду и уничтожу ее. Я вспомнил полицейского на кухне на следующее утро после смерти Магды — невысокого, мускулистого молодого человека в форме, которая была явно мала ему, с бритой головой, обтянутой кожей голубоватого оттенка. У него было неправдоподобное, но такое уместное в данных обстоятельствах имя — Бланк. Он пожал мне руку учтиво и торжественно, словно противник перед поединком, и теперь громко дышал и смаковал жевательную резинку, совершая круговые движения квадратной челюстью. Прежде у меня не было возможности изучить полицейского так близко; с похмелья, из-за еще не высохших от слез глаз, я был потрясен обилием предметов, которые он с собой носил: громоздкий пистолет, стиснутый в кобуре, словно в стальном кулаке, длинная черная дубинка, наручники, похожий на кирпич телефон еще в одной кобуре, висящей на поясе. Но еще больше меня поразила его неподвижность: то, как он стоит в бескрайней тишине, уперев руки в расставленные бедра, двигает лишь челюстью. Нам было нечего сказать друг другу. Когда я предложил ему кофе, он моргнул и искоса посмотрел на меня, будто я сделал непристойное предложение. Было слышно, как наверху кто-то, тяжело ступая, бродит по комнате. Мне было неловко просто стоять вот так — будто я услышал доносящиеся из туалета звуки или занимающуюся любовью пару. Бланк, возможно, тоже почувствовал неловкость и прочистил горло. “Мой отец тоже ушел вот так, — сказал он, кивая. — Таблетки”. Я тоже кивнул и нахмурился; снова наступила тишина, нарушаемая доносящимися сверху звуками. Я не мог ясно вспомнить, как вчера вечером затащил Магду наверх и уложил в постель. Я вспомнил свинцовую тяжесть ее руки на моих плечах и устрашающее, поверхностное дыхание у моего уха, будто что-то нашептывала пьяная любовница. Теперь ее снова несли, на этот раз вниз, привязанную к носилкам; простыня натянута на лицо так туго, что я видел не только очертания носа и рта, но даже выпуклости в области глаз. Офицер Бланк что-то сказал, проворно шагнул мимо меня и вышел, а через

мгновение с топотом исчезли и остальные, так внезапно и поспешно, будто увозили не бранные останки Магды, а живого преступника, которого необходимо безотлагательно доставить в камеру для обеспечения всеобщей безопасности. Через окно я видел, как отъезжает скорая помощь и вслед за ней полицейская машина. Опустевший дом задрожал, будто я оказался под куполом огромного колокола, который секунду назад прозвучал в последний раз.

Я вернулся в настоящее и вспомнил о Касс Клив. Я осторожно повернул ручку, открыл дверь и погрузился в лихорадочный сумрак спальни. Ах, дитя мое, женщина, прости меня.

Она не могла уснуть. В полутьме комнаты стояла призрачная тишина, как в бесконечных кабинетах врачей из ее детства. Было далеко за полночь. Воздух в комнате был тяжелым и горячим. В свете единственной лампы, стоящей возле телефона, был виден растянувшийся на кровати с измятыми простынями Аксель Вандер — обнаженный и спящий, он дышал через рот, рука неловко вскинута вверх, будто он упал, тщетно пытаясь отразить сбивший его с ног удар. Она отодвинулась, осторожно поднялась и встала у кровати, глядя на него сверху вниз. Седые волосы на груди, на морщинистых руках вздулись вены, кости голени обтянуты белой, как бумага, кожей, лицо пепельно-белое, на скулах идеально-круглые, словно нарисованные, лихорадочные пятна. Он дышал так тихо, что она задалась вопросом, не притворяется ли он спящим. Она вообразила, как он приподнимается и хватает ее за запястье; она почти почувствовала хватку этих древних лап. Она накрыла его простыней — он зашевелился и напрягся, после чего затих. Между ног было горячо и липко — его соки все еще сочились из нее. В первый раз, когда он наконец вышел из ванной и тяжело опустился на нее, она подумала об огромных статуях диктаторов, которые сносили по всей Восточной Европе. Трах-тарарах. Все закончилось быстро. После они лежали в затемненной комнате, пока умирал день. Ей казалось, что они спаслись после кораблекрушения и их выбросило на этот чужой, но не враждебный берег. Между приступами дремоты он баюкал ее, приобняв старой рукой, и рассказывал истории о себе, о тех временах, когда был молод; она лениво слушала, зная, что это, должно быть, всё — или почти всё — ложь. Она знала, кто он на самом деле. Но скажет ли она об этом ему? Время еще не пришло. Хлопья пепла от его сигареты падали ей на грудь, словно крохотные, теплые, невесомые поцелуи. Она попыталась вообразить его в те дни,

когда появилась газетная фотография, — беспокойным, жестоким, ненасытным, он тянулся обеими руками и пытался ухватиться за будущее, которое теперь было давно в прошлом. Затем он снова набросился на нее, и на этот раз все было по-другому: он налегал всей грудью, толкался локтями и напряженно, отрывисто двигал бедрами, пока она не подумала, что вот сейчас расколется надвое, ровно посередине. Он был таким озлобленным. Потом она почувствовала запах миндаля, а потом... Он кончил, молча отвернулся от нее и заснул, но она не могла последовать его примеру, хотя и была измучена. Она так давно не спала. Окружающее пространство было странно незнакомым, с разбросанными в беспорядке вещами — оно будто потеряло прежние очертания и напоминало берег после шторма. Этот старый-старый человек. Она стояла, смотрела на него сверху вниз, и внезапно ей показалось, что это был не он, или, вернее, он, но в то же время и не он. Она нахмурилась, пытаясь понять, в чем дело. Возможно, он спал, и часть него отсутствовала, несмотря на телесное присутствие. Нет, дело было в чем-то еще. Сон лишь обездвижил его, и она могла рассмотреть этого незнакомца, сосредоточиться на том, чего в нем не было. В голове раздался его резкий смех, и она представила, как он распахивает глаза: зрячий глаз смотрит на нее, а слепой — в никуда.

Она не смогла вспомнить, когда впервые услышала о нем. На отцовских полках стояли его непрочитанные книги. Как это часто бывает с людьми и вещами, которые привлекали ее внимание, поначалу он был неким очертанием, своего рода шаблоном, который соответствовал ее бессознательной потребности. Фрагменты образа сложились практически сразу. Он написал знаменитое эссе о пьесе ее отца, имевшей большой успех. Она читала его статьи о Руссо, которого он не любил. Еще была книга об итальянской комедии. Потом она увидела его фотографию в газете: он получал награду в Иерусалиме — она думала, что он давно уже мертв, и сильно удивилась. Тогда она купила все его книги, устроилась в своей комнате над садом в доме отца и читала, читала. Была зима, сад напоминал замерзшую зеленую лужу, из которой раздавалось безутешное пение одинокой птицы. Вандер был с ней, в той комнате, — осязаемое присутствие, заглушавшее голоса в голове. Во всем, что он писал, было что-то мрачно-игривое, будто говорившее прямоком с ней. Она знала, что найдет его, и вот наконец нашла.

Она достала из сумки хлопковое платье и надела его, но, несмотря на легкость материала, начала потеть. Ей захотелось выйти на улицу. Снаружи была тишина, не доносилось

ни звука, лишь иногда проезжала одинокая машина, шины шуршали по асфальту. Она представила, как прохладно и темно под каменными аркадами. Что он подумает, если проснется и обнаружит ее отсутствие? Возможно, ему будет все равно. Возможно, он решит, что это все, чего она хотела, что она написала письмо и заманила его в Европу только ради этого дня, этой ночи в гостиничном номере, за который даже не могла заплатить, чтобы потом рассказывать всем, что переспала с великим и печально известным Акселем Вандером. Это не было правдой. Но почему она написала ему, зачем привела сюда? Что говорило с ней со страниц его книг? Ее не волновало уродство Шелли, сны Кольриджа или преклонение Вордсворта перед природой. Нет — услышанное было голосом; он взывал к ней, и только к ней. Осторожно, на цыпочках, она попятилась к двери, открыла ее и, не сводя глаз со спящего, вышла. В коридоре она постояла, прислушиваясь, ей казалось, что она все еще слышит дыхание Акселя Вандера. Позади железные решетки дверей лифта с лязгом разъехались, она подпрыгнула. Лифт был пуст. Он стоял там — ярко освещенный ящик — и ждал, бесстрастно и терпеливо, будто прибыл специально для нее. Она поспешила прочь от него, к лестнице. Она убегала от света в лифте, он преследовал ее, голубовато-белый, тусклый, словно разбавленное молоко. Металлические двери все еще оставались открытыми.

Она остановилась внизу, в мраморном вестибюле с зеркалами и позолоченными стульями, внезапно почувствовав себя беспомощной. Как она выйдет на улицу в таком виде? Было поздно, она была лишь в платье и даже без обуви. Ночной портье за стойкой улыбнулся ей вежливо, безучастно и вернулся к своим делам, помечая что-то в лежащем на столе регистрационном журнале с черной обложкой. Он был стар и лыс, как младенец, и шевелил губами, читая столбцы с именами или цифрами. Она села на кожаную кушетку, на которой ждала утром, уже вчера утром. Окруженный папоротниками фонтан был отключен. Она снова подумала, настоящие ли папоротники, — чтобы выяснить это, нужно было прикоснуться к ним, но тогда ей бы пришлось встать, подойти и опуститься на колени на берегу водоема. Встать, пройти вперед, опуститься на колени. Для нее это было столь же сложным и невыполнимым, как гимнастическое упражнение или замысловатое па в балете. Вскоре тишина стала гнетущей, и у нее закружилась голова. Ей казалось, что она собственными руками удерживает себя в вертикальном положении — хрупкий, наполненный до краев сосуд, который она боялась разлить. Она заставила себя встать, подойти к портье и попросить ста-

кан воды. Он кивнул или слегка поклонился, на мгновение опустив веки, пробормотал что-то и зашаркал во тьму. Ей показалось, что его не было целую вечность. Он вышел с маленьким серебряным подносом со стаканом воды в одной руки и сложенной белой салфеткой — в другой. Он спокойно стоял и наблюдал за тем, как она жадно, большими глотками пьет. Как она хотела пить! Близость старика она находила утешительной и даже уместной, как если бы он был неотъемлемой частью ритуала, во время которого необходимо поднять стакан и осушить жидкость. Мягкий взгляд карих глаз скользил по ней с безмятежным интересом, изучая голые руки, босые ноги, тонкое платье, сквозь которое, она полагала, была различима тень сосков, темных и набухших от жадных губ Вандера. Она сделала последний глоток воды; она даже не знала, что так хотела пить. Портье, все еще улыбаясь доброй, меланхоличной улыбкой, поднял руку и церемонно протянул ей салфетку. Сложенная салфетка сияла таинственным неоновым светом в окружающей бархатистой тьме, и она с содроганием вспомнила свет в лифте. Черная форма портье выглядела старой. “Вам не спится?” — спросил он. Вопрос показался ей интимным — такой мог бы задать доктор или священник. Она не знала, что ответить. Она прикоснулась салфеткой к губам, ей понравилась шероховатость ткани и крахмальный запах стираного белья. “В комнате жарко”, — сказала она, указывая на потолок, чтобы он понял, что речь идет о комнате наверху, ее комнате, где на ее кровати спал другой старик, растянувшись во весь рост и приоткрыв рот. Портье понимающе кивнул, будто успокаивая взволнованного ребенка. “Si, si, жарко”, — сказал он мягко, с легким вздохом, все еще улыбаясь. Она протянула пустой стакан и салфетку, и он подвинул поднос. Она поблагодарила его, он еще раз слегка поклонился, и тусклая, золотая полоска света скользнула по блестящему, гладкому своду его черепа. Он сделал шаг назад, держа перед собой поднос со стаканом и салфеткой, затем повернулся и ушел во тьму, не издав ни звука. Она вернулась к дивану и снова села.

Вандер. Вандер. Вандер. Она совсем не удивилась, когда в ресторане он взял ее за руку. Все дальнейшее происходило плавно, с неумолимой неизбежностью — так развиваются события во сне. И, как и во сне, было убеждение, что все предопределено: комната, кровать, полоска полуденного света между занавесками, мужчина неистово соединяется с ней — все это казалось рядом событий, которые она когда-то предвидела. С раннего детства, сколько себя помнила, она была жертвой галлюцинаций — по крайней мере, таковыми они счита-

лись. Ей же казалось, что все это реально произошедшие события или воспоминания о них, отчетливые и яркие. В этом была причина ее замешательства и неприкаянности в реальном мире. События, которые происходили у нее в голове, были такими яркими и осязаемыми, что она не всегда могла отличить их от происходящего в действительности. Доказательства — вот чего все требовали от нее с большим или меньшим пониманием и раздражением. А в это время голоса говорили с ней, настаивая на собственной версии событий. Никто не понимал — ни говорящие внутри, ни говорящие снаружи, — какой оглушительный шум создавало слияние их голосов. Как они могли услышать ее в этой какофонии? Она жаждала доказать, хотя бы раз в жизни, неопровержимо, не то, что они хотели ей внушить, а то, что она знала сама. Однажды в детстве она смотрела фильм, в котором мужчина, будто бы во сне, во время драки убил кого-то и, проснувшись, обнаружил в руке настоящую пуговицу, сорванную с пальто жертвы во сне. Когда-нибудь и она очнется от так называемой галлюцинации, откроет ладонь и торжественно покажет всем крошечное, твердое, яркое нечто — доказательство, существование которого даже они не смогут отрицать.

В первый раз она осознала, что в ее разуме есть непоправимый изъян, зимним воскресным днем, когда ей было шесть или семь лет. Она болела столько, сколько себя помнила, но тогда еще не понимала, что лучше ей никогда не станет — будет лишь хуже. В то воскресенье отец и мать собирались отвезти ее на машине к морю. Она сказала, что не поедет. Отец засмеялся и сказал, что так и знал, наверняка она просто хочет остаться одна в доме, чтобы пить виски и курить сигареты. Его слова ранили ее. В тот день он снова скрывал за улыбкой гнев, поскольку в воскресные вечера не бывало театральных представлений, и ему приходилось оставаться дома и скучать. Они ехали по прибрежной дороге, по живописному маршруту, как угрюмо заметил отец. Он не любил водить машину, поэтому за рулем сидела мать. По пути они то и дело останавливались, но из машины не выходили. Родители сидели впереди, уныло глядя на острова, лежащие горбами в сером морском тумане, а позади она на коленях стояла на сиденье и смотрела через заднее стекло на проезжающие мимо машины. В других машинах тоже были дети — угрюмые, бледные лица проплывали в окнах. В тишине за спиной она чувствовала нарастающее отчаяние. Мать курила без перерыва, зажигая новую сигарету от окурка предыдущей. “Ради бога, открой окно”, — процедил отец. Когда они добрались до конца прибрежной дороги, мать развернула машину, отец что-то

пробормотал, и начался спор. Они спорили вполголоса, чтобы она не слышала, но горячность в их голосах была еще ужаснее от того, что ее пытались заглушить. Короткий день подходил к концу, и низкие облака в лобовом стекле приобрели фиолетовый оттенок. “Видишь, — сказал ей отец фальшивым, сценическим голосом, отрываясь на мгновение от спора и указывая на небо, — это цвет брызг кока-колы!” И засмеялся. Она отвела глаза от хмурого неба и посмотрела на море, которое заканчивалось у травянистого края дороги. Пенистые, мутные волны медленно набегали на берег, одна за другой. Внезапно все ее тело начало сжиматься, как у спасающейся от прикосновения улитки. Огромная тяжесть, тяжесть всего мира, давила на нее так, что она была не в силах вздохнуть. Будто случилось что-то непоправимое, и все окружающее — его ужасные последствия: выжженное небо, мутные, неумолимые волны, гневное бормотание на переднем сиденье. И она была совсем одна. Швартовы отданы, нос корабля смотрит в открытое море, и она понимает, что уже никогда не вернется. Отец, возможно почувствовал ее страдания и прикоснулся кончиком пальца к плечу матери, чтобы заставить ее замолчать, повернулся, угрюмо улыбнулся и произнес ее имя, будто не был уверен, что на заднем сиденье его маленькая девочка, так изменившаяся в одно мгновение. Тогда она впервые почувствовала запах миндаля. Машину остановили на обочине, у обрыва, открыли дверь, и она повалилась боком на сиденье с запрокинутой головой, на лбу холодная испарина, теплая жидкость пузырится у губ; отец стоит на коленях перед ней, с тревогой глядя в лицо и спрашивая о чем-то. Позади него над морем надвигалась лавина коричневатой тьмы, высоко в небе горели крошечные огоньки самолета, то рубиновые, то изумрудные. Внезапно огромная чайка пролетела очень близко, рассекая по диагонали мгlistый воздух жесткими, вытянутыми крыльями, и на секунду ей показалось, что ледяной глаз птицы устремился на нее, предупреждая о чем-то.

Отец. Она часто видела его — ожившего призрака. Когда Вандер во второй раз сопел и кряхтел над ней, прижавшись к ее плечу, отец открыл дверь номера и вошел, что-то говоря. Он был босиком, в старых мешковатых выцветших синих брюках — тех, что носил по выходным. Он выглядел молодым — гораздо моложе, чем она его запомнила, — загоревшим, с той свирепой, обнажающей ровные, острые зубы улыбкой, что появлялась, когда он не находил оснований для скандала; грудь обнажена, белое полотенце наброшено на плечи. Он брился, но на лице еще оставались усы и борода

из мыльной пены — они придавали ему вид лихого злодея эпохи королевы Елизаветы, которых он так часто играл. Он рассказывал кому-то в дальней комнате — она предположила, что матери, — шутку или историю, которую только что вспомнил, и рисовал бритвой в воздухе абстрактные схемы; как обычно оживлен, доминирует, вырезает, вылепливает мир. Она заметила, что бритва крошечная, должно быть, он забыл свою, а эту позаимствовал у матери. Возможно, о бритве он и говорил, возможно, она напонила ему о том, что произошло в заграничных гастроях; ему нравилось рассказывать матери о своих приключениях, дразня и пытаясь заставить ее ревновать к легкомысленным актрисам, делающим ему недвусмысленные предложения. Из соседней комнаты исходил золотисто-лазурный свет, виднелась полоса пурпурной тени и нечто зеленое, как попугай, возможно, это был пальмовый лист, который странно, непрерывно, взволнованно подрагивал. Но больше всего ее внимание привлекала капля крови размером с божью коровку на губе, которую он, должно быть, случайно порезал бритвой. Ей всегда нравились губы отца; нравилось смотреть, как они двигаются, когда он говорит, нравилось, когда он целовал ее — этими сухими, теплыми губами. Верхняя губа по форме напоминала морских птиц, которых она рисовала в детстве в своем альбоме. Ей нравилось ощущать покалывание крошечных щетинок на его подбородке, нравилось ощущать его дыхание, когда он смеялся. Теперь он замолчал и в ожидании прислушивался с расслабленной улыбкой; голова приподнята, глаза блестят, губы слегка открыты, кровавая капля окрашивает розовым мыльные усы. Когда ответа не последовало, потому что ее мать — если это была ее мать, — перестала слушать или заснула, свет на его лице медленно угас, улыбка сменилась рассеяннo-хмурым выражением, и, почувствовав наконец пощипывание, он приложил палец к губе и озадаченно посмотрел на кровь, будто не знал, что это и как оно оказалось на его пальце и губе.

“Тело” не было тем словом, которое ей нравилось; само звучание этого слова: пузырящееся “т”, мягкое, булькающее “л”, горловое, стонущее “о”. Вандер в конце прохрипел ей на ухо что-то безобразное. Он мог сломать ее в своих руках, выдавить из нее жизнь. Она чувствовала, что его нужно бояться. Он сосал ее грудь, как ребенок, глаза закрыты, на лице едва уловимая улыбка.

Она дрожала в своем тонком платье — ночь наконец стала холодной. Вокруг было так тихо, будто все здание погрузилось в темные глубины безмолвного моря. Она представила себе других живущих здесь людей — десятки, может быть, сотни, — как

они лежат в своих кроватях, словно теплые трупы, как они спят, видят сны, ворочаются и бормочут во сне или мучаются от бессонницы, как она. Она представила себе пары, как они любовно сжимают друг друга в объятиях или лежат по разные стороны кровати, застыв от безмолвной ярости, — такими она часто видела родителей после очередной ссоры. Быть может, кто-то вот-вот умрет или кто-то рождает — нет ничего невозможного. По всему миру каждое мгновение люди умирают или рождаются, кричат от страсти или от боли. Страшно подумать, просто страшно. Ребенком она часто лежала ночами без сна и прислушивалась к жизни в доме. Отец после спектаклей приходил поздно, она слышала, как он гремит посудой на кухне, внизу, или настраивает радиоприемник, переключается с волны на волну и прибавляет громкость, стараясь создавать как можно больше шума, — он говорил, что тишина в доме его нервирует. Она мысленно следила за тем, как он бродит из комнаты в комнату, включает свет, наливает себе выпить, слушает композицию и резко выключает патефон, — в дальнейшем, слыша скрежет иглы по пластинке, она всегда вспоминала отца. Он также разговаривал вслух сам с собой или с фантомной аудиторией, отрабатывая диалог и пробуя его на разных скоростях и с разной ритмичностью, или, если пьеса была плохой, он с насмешкой декламировал строки гулким басом, что заставляло ее улыбаться в темноте, хотя она и не могла разобрать слов — до нее доносились лишь подчеркнуто-заунывные переливы голоса. Еще он фальшиво пел; он знал только простые вещи: песни своей молодости или музыкальные заставки радиостанций. Иногда ее мать, недовольная тем, что ее разбудили, или, возможно, его жалая, вставала с постели, спускалась в ночной рубашке и ненадолго к нему присоединялась. Несмотря на то, что он говорил, что тишина и уединение вызывают у него ненависть, он все же любил бывать в одиночестве. “О, Касс, Касс, Касси, я одинокий мальчик”, — напевал он, принимая трагическую позу и прижимая руки к сердцу. Его блуждания всегда заканчивались тем, что он открывал ее дверь на дюйм-два и заглядывал внутрь; она почему-то всегда притворялась спящей. Иногда ей нравилось бывать в его компании, особенно после припадка, — тогда они сидели за кухонным столом или перед телевизором с выключенным звуком и ничего не говорили, просто находились рядом. Но бывало и так, что она стеснялась его; возможно, это было нечто большее, чем застенчивость, — почти отвращение и какое-то непонятное чувство, которое она не могла описать. Потом он уходил в свою комнату и ложился спать: она слышала скрип кровати и забавный вздох, который он всегда издавал, и спустя некоторое время она ощущала, как изменяется воздух, будто расслабляется — так его

сознание выскальзывало из тела, и она отправлялась в ночное странствие в одиночестве.

Вдалеке она слышала, как церковный колокол отбивает время, — мрачный, тяжелый перезвон. Три часа. Как долго она просидела здесь, на этом диване? После приступа она всегда теряла счет времени. Да, в объятиях Вандера, когда явился с бритвой в руке отец, у нее был приступ. Наверняка Вандер будет лстить себе тем, что вознес ее на вершину страсти. Она тряслась и корчилась под ним, запрокинув голову, оскалив зубы и издавая эти постыдные, сдавленные, тонкие повизгивания, которые не могла сдержать. Приступ, как всегда, длился не более секунды, после она погрузилась в короткую дремоту или оцепенение, свернувшись калачиком, прижав большой палец к зубам и дрожа, будто спасенная из моря собака. Вандер лежал рядом на спине и спал: рот приоткрыт, веки подрагивают, как у ящерицы. Она знала, что не уснет. Она боялась разбудить его и долго лежала неподвижно, вдыхая аммиачный запах их близости и слушая шипение неисправного кондиционера, притаившегося за решеткой под окном. Затем нахлынула пустота, которой она боялась больше всего, — будто огромная рука властно вошла в нее и вытащила наружу все, что было внутри, оставив пустую клетку из костей и дряблой кожи. Однажды она видела, как бабушка Клив точно так же выпотрошила курицу: протолкнула кулак через дряблое отверстие снизу и быстрым поворотом запястья вытащила неповрежденные кишки в слизистой оболочке. Старуха показала ей блестящие, бледные, как жемчужины, яйца, которые росли в птице, целую вереницу яиц разных размеров: от студенистого пятнышка до полностью сформировавшегося.

Запах миндаля, всегда запах миндаля. Отец, словно в замедленной съемке, поднимает ее с пола и мягко сжимает в объятиях. Там, там. Господин Мандельбаум приходил с визитом. *Мандель*: миндаль. Странно, как вещи эхом отражаются повсюду. Будто...

Из тьмы появился старый портье с ведром и шваброй. Казалось, он совсем не удивился, обнаружив ее здесь, и одарил доброй, грустной, извиняющейся улыбкой. Он держал швабру и ведро с оттенком удрученного непонимания, словно, хотя и принес их сам, не осознавал, что это и зачем нужно. Вставая, она почувствовала, как бедра отлипают от кожаного дивана. Платье было влажным на спине, и она надеялась, что не оставила на диване влажных пятен. Портье что-то сказал ей, она не поняла его, но все равно улыбнулась и кивнула. На лестнице она остановилась и оглянулась: он, не сняв пиджак, протирал мраморный пол у пруда длинными, неторопливы-

ми движениями, все еще выражая всем своим видом нежелание и смутное недоумение.

Стоя за дверью комнаты, она прислушалась, но не услышала ни звука. Она вдруг подумала, что дверь заперта, — Вандер встал и запер ее, чтобы она не вошла, выгнал ее из собственного номера и снова заснул, и она не сможет его разбудить, а даже если и разбудит, он не впустит ее, и она останется здесь, босиком, в пятнистом платье, дрожащее посмешище для постояльцев, которые скоро проснутся и пойдут завтракать. Они подумают, что она была пьяна и потеряла ключ. Подумают, что она шлюха, которую недовольный любовник вышвырнул из номера. Ее руки задрожали. Дверная ручка мягко повернулась под ее дрожащей рукой — она удивилась, но облегчения не почувствовала. Она быстро вошла внутрь. Ночник все еще горел, но кровать была пуста. Неужели он ушел к себе? Или совсем ушел: собрал чемоданы и выехал из гостиницы? Но она все это время была в вестибюле, не мог же он уйти незамеченным? Возможно, он выскользнул через черный ход, и теперь она будет иметь дело с персоналом гостиницы, оплачивать счет или счета, на которые у нее не было денег. Но его одежда все еще валялась у изножья кровати, там, где он ее сбросил: рубашка, брюки, дорогие туфли, этот уродливый галстук.

Дверь в ванную комнату, белая и непроницаемая, выглядела зловещим предостережением. Она сняла платье, скатала его и затолкала поглубже в сумку. В эту минуту из ванной вышел Вандер. Она быстро выпрямилась, прикрывая наготу лифчиком. Он тоже был наг. Он принимал душ, капли воды блестели в спутанном кусте под животом, длинный зазубренный шрам краснел на внутренней стороне бедра. Он оглядел ее с ног до головы, поджав губы и приподняв бровь. Она быстро надела лифчик, блузку, юбку и босоножки. Он прислонился к дверному косяку и смотрел на нее, холодно улыбаясь. “Идешь на прогулку?” — спросил он. Она не ответила. Он ничем не отличался от остальных — он вел себя словно маленький мальчик, который украл варенье и боялся, что его за это накажут, но настоящей вины не испытывал. Он выставлял себя напоказ, вынуждая ее отвернуться от этой скрюченной ноги, этого безумного, незрячего, мертвого глаза и обвисшей плоти: толстого брюха, сморщенного желудка внизу и мешка, подвешенного на тонкой веревке пожелтевшей кожи, как головка чеснока на стебле. Действительно, зачем она оделась, куда собиралась? Ночь была в самом разгаре. Оделась она лишь для того, чтобы быть одетой: не вид его обнаженной плоти заставил ее скрыть наготу и даже не стыд, а то, что она отдавала себе в этом отчет. Он сел на край кровати и лукаво

улыбнулся. “Венера в фиговых листьях”, — сказал он, очертив буквы кончиком пальца в воздухе, будто название под картиной. Он прочитал ее мысли — люди всегда читают ее мысли. Возможно, голоса в ее голове говорили и в их головах тоже, сообщая, о чем она думает. Застегивая рубашку, он сказал, что они и впрямь могут прогуляться, — почему бы и нет. Она посмотрела на черный осколок ночи, проступавший из-за шторы в окне. “Для меня еще полдень”, — сказал он, показал ей циферблат своих часов и почему-то засмеялся. “Тихоокеанский часовой пояс”. Это были старинные часы, возможно антикварные, с поцарапанным корпусом и красной секундной стрелкой на маленьком циферблате; они были слишком маленькими для него, будто когда-то принадлежали женщине. Они напомнили ей о железнодорожных путях с заброшенными вагонами, в которых окна посерели от грязи, и маках, кивающих ветру в ослепляющем солнечном свете среди камней, между рельсами. Хорошо, сказала она, они пойдут на прогулку. Каким же все стало ровным, безучастным и замедленным. Сейчас трудно было даже представить то, что происходило между ними на этой кровати всего несколько часов назад. Как и всегда, ее поразила беспорядочность и неуместность последующих событий. Когда она была моложе, ей казалось, что со временем она научится плавному переходу от неистовой любовной игры к тому, что бывает после: кокетливо вздыхать и отводить взгляд — так, будучи ребенком, она посещала школу танцев, и ее учили изящно подниматься на дрожащие кончики пальцев ног. Но другому, более сложному трюку она так и не научилась, и некому было ей помочь. Вандер неуклюже, с трудом перегнулся через свою безжизненную ногу и завязал шнурки. Она посмотрела на его неповоротливые пальцы, опущенную большую голову с копной собранных в узел спутанных серебристых волос и увидела, как шагнула вперед и прикоснулась к нему рукой. Она моргнула. Она не двигалась.

Они спустились вниз. Мертвая тишина была как никогда гнетущей, словно смешивалась с неслышным дыханием всех этих спящих людей, и она ступала осторожными шажками, будто боялась, что внезапно кто-то выскочит и проучит ее за нарушенное безмолвие этого места. Вандер, напротив, будто намеренно стучал тростью о латунный поручень и через раз с такой силой ударял каблуком ботинка о край мраморной лестницы, что она была удивлена, как из камня не сыпались искры. В вестибюле старого портье не было. Глянцево-черная ночь вжималась в стеклянную дверь, которая поддалась не сразу, но все же резко распахнулась, содрогнувшись и издав звук, похожий на колокольный: *бам-м-м!* Воздух снаружи был прохладным, мягким и

освежающим, беззвездное и все еще беспросветно-темное небо будто сияло; ей показалось, что она смотрит вверх через невидимую, гигантскую кристальную оболочку, и у нее закружилась голова. Ее пальцы касались гладких листьев стоящего в горшке лаврового кустарника. Вандер уже брел вверх по улице. Она задержалась на мгновение и последовала за ним. Она понюхала пальцы и почувствовала слабый, но отчетливый запах листьев, который быстро улетучивался. Она догнала его, какое-то время они шли молча. Высокие, неосвященные здания нависали по краям улицы. Она пыталась приспособить свой шаг к походке Вандера: шаг здоровой ноги, цокот мертвой, удар трости. Посвоему он был почти изящен, пригибаясь, раскачиваясь и запрокидывая плечо назад, прежде чем склониться для следующего длинного шага. Она задавалась вопросом: как его звать, как к нему обращаться. *Аксель* издавал металлический лай, *Вандер* звучал так, словно последний слог сорвался с конца слова. Имя сложно выговорить. Назвать другого — в какой-то мере переименовать и себя. Правда ли это, спросила она себя, действительно ли это так? Она задумалась, чувствуя дыхание ночной прохлады на лице и глубокую, беспредельную тишину в ушах. Так часто ход мыслей увлекал ее далеко за пределы самости или уходил своим путем, без нее. Она думала сама или кто-то делал это за нее? Она не могла удержать мысль. Ей в голову приходила идея, понятие или теория, и все они казались цельными, затем возникали совсем другие, которые также казались правильными, — так как она могла выбрать что-то одно, не говоря уже о бесчисленном множестве других мыслей, настойчиво теснящихся в голове?

В любом случае имя Аксель Вандер не было его настоящим именем. Рука скользнула в карман блузки и нащупала авторучку. Ее маленький пистолет с заряженным патронником.

Они вышли на широкую мощеную площадь. Медный всадник, шагая, застыл над ними в темноте, на лбу его виднелся откуда-то взявшийся отблеск. Она думала о ночном портье, его черной книге и серебряном подносе, о стакане воды с пузырьками воздуха, прилегающими к внутренней стенке, под поверхностью воды, словно крошечные шарики ртути; она воображала, как поднимает стакан и пьет содержимое большими глотками. Резиновый наконечник трости Вандера поскрипывал на влажных от росы булыжниках мостовой. Они шли рядом с арками, под каждой — куполообразный свод тьмы. Собака отделилась от бесформенной кучи тряпок — она предположила, что это ее дремлющий хозяин, — подошла и посмотрела на них, виляя хвостом со слабой надеждой. “Кто предал меня?” — спросил Вандер. Вандер, которого предали. Она спросила его, почему он задал этот вопрос; в конце концов, какая разница, кто? Он

фыркнул. “Как ты узнала, куда ехать? — спросил он настойчиво. — Почему Антверпен? Почему эти старые газеты?” Почему-то она вдруг вспомнила строчку с суперобложки “Послесловия”¹, которую критик написал, завистливо подражая стилю Вандера — *“все отблески и вспыхки величественной и слегка подрагивающей лютфы”*, — и не смогла удержаться от смеха. Он усталился на нее. “Я встретила, — сказала она, — мужчину в баре”.

Если быть точным, он заговорил с ней в тот день, который должен был стать последним в Антверпене. Отец оплатил поездку, она давно заметила, что он всегда был рад заплатить, если она уезжала из страны. Она приехала за прошлым Вандера и шла по его следам, оставленным на полках архивов и библиотек, в университетских документах, но чем дальше она шла, тем слабее они становились, будто их смели метлой. В Антверпене жил один старичок — журналист с высокой репутацией, — он, поговаривали, был одно время соавтором Акселя Вандера и знал его, когда оба были молоды, еще до войны. Однако, придя навестить его, она узнала, что на днях он перенес инсульт и находится в больнице, — похоже, жить ему оставалось недолго. Тем не менее ей разрешили войти. Все было белым: его волосы, длинное, заостренное, измученное лицо, одежда, постельное белье, стена за его дрожащей ястребиной головой. Он был обездвижен — лишь глаза устремились на нее в какой-то мученической мольбе. Ей пришлось в голову, что он тоже был призраком — своим собственным. Она сидела с ним целый час, ничего не говоря, и все это время он, казалось, смотрел на нее с гневным нетерпением; ему нечего было сказать, он будто сам жаждал что-то услышать. Возможно, он путал ее с кем-то. Когда она увидела Вандера в вестибюле отеля в то утро, она почувствовала присутствие того старика за его спиной и на мгновение почти увидела мерцающую фигуру, тень, сотворенную не из тьмы, а из холодного, белого света.

В тот последний день она сидела в ожидании поезда в одном из построенных под старину пабов возле собора, где все было из дерева и латуни, в том числе и оловянные пивные кружки. Был мартовский вечер, мрачный и влажный, больше похожий на середину зимы, чем на раннюю весну. Она сидела за столиком у окна, в уголке, закутавшись в пальто, и наблюдала за деревьями на площади, которые то и дело тряслись от порывов ветра, сбрасывая большие серебристые капли дождя, — падая, они сияли, словно монетки. Именно там она впервые увидела рыжего. Она не знала, почему обратила на него внимание. Он стоял под ро-

1. “Послесловие” — название вымышленной книги Акселя Вандера.

няющими капли деревьями. Одет он был бог знает как: потрепавшиеся туфли, бесформенные, слишком длинные брюки, старое, застегнутое на все пуговицы пальто, такое тесное в груди, будто тощее тело рыжего оставалось в вертикальном положении только благодаря ему. На нем не было шляпы, он будто не замечал дождя. Некоторое время она наблюдала за ним. Руки он держал в карманах, локти прижаты к туловищу, будто помогали пальто поддерживать тело. Смотрел ли он в ее сторону? Мимо проехала скорая, завывая сиреной и рассеивая синий свет, и она отвернулась: ей не нравился вид этих машин и издаваемый ими звук; когда она снова выглянула на улицу, рыжий исчез. Однако через мгновение он уже был в баре. Он вынырнул откуда-то и сел за соседний столик. Достал из кармана пальто пакетик с табаком и скатал сигарету. Она заметила слабую дрожь в его руке, но ей показалось, что это было не признаком немощи, а результатом долгих часов, долгих лет концентрации на кропотливой и сложной задаче, он мог быть часовщиком или даже писцом; она представила его склонившимся над рабочим столом с маленькой отверткой или пером в руке.

Он выглядел нарочито отрешенным: погружен в себя, брови нахмурены, устремленный в никуда рассеянный взгляд, — но она знала, что он собирается заговорить с ней. Он быстро хлопал себя по бедрам, бокам и груди, еще сильнее нахмурился, поджал губы, резко обернулся, притворившись, что только сейчас заметил ее, и с умоляющим видом изобразил чирканье спички о коробок. Она сказала, что ей жаль, но спичек у нее нет. “А, вы говорите по-английски! — воскликнул он, словно радовался редчайшему феномену. — Я тоже”. Она задавалась вопросом, сколько ему лет. Пятьдесят? Семьдесят? В точности определить было невозможно. Лицо бледное, как молоко, и такое худое, что казалось, если он посмотрит прямо на нее, то превратится в прямую линию. Волосы почти оранжевые, очевидно, крашенные, в них искрились капли дождя, словно невесть как попавшие туда драгоценные камушки. Он отложил незажженную сигарету, но не прикурил ее. Она подумала, что ей лучше уйти, но взглянула на плачущее небо, на улицу, где угасал дневной свет; до отправления поезда оставалось несколько часов. Он посмотрел на книгу Вандера, лежащую на столе перед ней, с гуттаперчевой ловкостью акробата наклонился вперед и развернул голову, чтобы прочесть название. “А, — сказал он, — вы с ним знакомы?” Она покачала головой. “Я — да, — сказал он, — вернее сказать, был знаком”. Длинными, белоснежными, как у сказочной ведьмы, пальцами он перевернул книгу, посмотрел на фотографию Вандера на задней обложке и улыбнулся: “Но это не Аксель Вандер”. Подошла официантка — крупная, светловолосая девушка в

блузке с оборками, в широкой черной юбке с корсажем, что было, предположила Касс Клив, имитацией национального костюма; она несла позолоченный поднос, который держала, как держат холодное оружие. Рыжеволосый заговорил с официанткой на незнакомом языке, должно быть, фламандском или немецком, та кивнула и ушла, застенчиво взглянув на Касс Клив, облизывая тонкую нижнюю губу. Касс Клив пыталась понять, кто он и почему с ней разговаривает. Она внимательно осмотрела его: узкое лицо, белые руки. Он все еще улыбался и кивал, будто вспоминал что-то печальное, но ему дорогое. Да, сказал он, он знал Акселя Вандера. “О, давным-давно, словно в другой жизни. В те дни он писал для газет, — он постучал длинным, желтоватым ногтем по фотографии, — как и его друг”. Он кивнул и понизил голос до шепота. “Крайне категоричные суждения, — вздохнул он и беззвучно присвистнул. — Крайне радикальные”. Она нахмурилась, не понимая, о чем он говорит. “Его друг? — сказала она, глядя на фотографию. — Разве это не он?” Он искоса глянул на нее, его улыбка превратилась в злорадную ухмылку. Ей не нравилось, как он оближивает нижнюю губу, высовывая острый, сероватый кончик языка и быстро пряча его обратно. “Как же его зовут, если не Аксель Вандер?” — спросила она, но рыжеволосый лишь опять ухмыльнулся, поднял палец и лукаво погрозил им, закрывая глаза и крепко сжимая губы. Вновь появилась затянута в корсет амазонка, на ее подносе стоял конусовидный стаканчик с каплей темно-красного вязкого ликера. Он достал небольшой кожаный кошелек и тщательно отсчитал монеты. Касс Клив смотрела, как он поднимает стакан и, выпятив бескровные губы, с удовольствием выпивает содержимое. Он удовлетворенно вздохнул, поставил стакан, придвинул стул поближе и начал рассказывать историю о погибшем Акселе Вандере и о другом — том, который выжил.

Высоко над ними резко пробил колокол: один, два, три раза, а затем и в четвертый раз. Она вздрогнула. Темно-серое небо на востоке превращалось в пепельно-синее. Ей стало холодно в тонкой блузке. Вандер так долго молчал, что она почти забыла о его присутствии. Она видела, как он остановился, чтобы ткнуть тростью в какой-то предмет на земле. Это был белый завязанный тесьмой полиэтиленовый пакет с чем-то мягким внутри. “Мужчина в баре, — сказал он. — Понятно. А ты читала мою книгу. Какое совпадение”. Он не смотрел на нее. “Скажи мне, — сказал он, — как звали этого загадочного человека?” — “Макс какой-то там, — сказала она. — Шейндиен, Шаундейн, что-то в этом роде, не могу вспомнить”. Он сказал, что никогда не встречал человека с таким именем. Он все еще шевелил пакет на земле, поворачивая его из стороны в сторону. Пакет был пухлым,

по форме напоминал сердце; он колыхался и шевелился от толчков, тесемка на горловине была перевязана аккуратным бантом. “Должно быть, он говорил о ком-то другом, — сказал он. — Должно быть, он ошибся”. Она не сказала ему обо всем, что ей поведал мужчина, она скрыла самое главное. Вандер хмурился и был сосредоточен, будто вещь в пластиковом пакете, чем бы она ни была, занимала все его внимание. “Но он знал тебя, — сказала она. — Он знал, когда выходили твои статьи. Пять недель, пять выпусков”. Наконец он склонил голову и посмотрел на нее, что-то обдумывая. От его толчков пакет приоткрылся, из него сочилась густая, темная жидкость. Она почувствовала, как желудок сжался. “Пойдем, — сказал он и положил твердую руку ей на плечо, разворачивая в сторону гостиницы, — пойдем назад, ты вся дрожишь”. Рассвет набирал силу. Высокие, розоватые облака. Скворцы.

Сначала возникла заминка, затем последовали довольно сдержанные аплодисменты. После того, как зал затих, я на мгновение задержался, угрожающе улыбаясь сверху вниз аудитории, раскинувшейся передо мной многоярусными полукруглыми рядами скамеек; руки так сильно сжимали края кафедр, что сидящим в первых рядах могло показаться, что я собираюсь эту штуку поднять и швырнуть в их головы. Они были возмущены тем, что я не подготовил доклад специально для этого случая и прочитал утомленно-ироничным голосом главу из “Послесловия” о последних несчастных днях бедного Ницше здесь, в Турине; эта глава была заслуженно известной, и большинство ее, конечно же, читало. Чего еще они ожидали? Они должны быть счастливы, что я вообще согласился выступить. Я уже собирался сойти с трибуны, когда Франко Бартоли поднял руку и спросил с фальшивой, тошнотворной приторностью в голосе, не соглашусь ли я ответить на пару вопросов. Я тяжело и многозначительно вздохнул. Последовало неловкое молчание, Бартоли приподнялся в кресле и повернул голову, чтобы обнадеживающе взглянуть на своих студентов, притихших в аудитории, которая по большей части была заполнена учеными мужами средних лет, легко узнаваемыми по своеобразной, невыразительной манере одеваться. Наконец молодой человек с задних рядов откашлялся и проямлил с серьезным видом: как видит профессор Вандер нынешнее состояние культурной критики? Я высоко поднял голову и улыбнулся. “Как вижу? Очень хорошо с такой высоты, спасибо”. Я коротко поклонился, отошел от кафедры и неуверенным шагом подошел к своему месту — я выпил более чем щедрую порцию граппы с уренным кофе и до сих пор ощущал ее действие. Присутствовав-

шие качали головами, доносились язвительные смешки и даже слабые аплодисменты. Я взглянул туда, где должна была сидеть Касс Клив — через пять минут после начала лекции я краем глаза заметил, как она быстро вошла и проскользнула на место у двери, — но ее там не было. Место было занято крупной Брунгильдой из Геттингена с массивными коленями, кстати, специалисткой по Ницше — она с негодованием уставилась на меня выпученными глазами, полагаю, из-за моей весьма фривольной трактовки окончательного преобразования и краха ее кумира на площади Карло Альберто сотню лет назад. Франко Бартоли, один из вяло аплодирующих, улыбался мне с наигранной лучезарностью. Я сел. В аудитории не было окон, сгустившийся воздух с трудом проникал в легкие. Я устал, был подавлен и раздражен. Бартоли встал и двинулся вперед, чтобы представить следующего выступающего; проходя мимо, он остановился, наклонился и заговорил мне на ухо. “Очень остроумно, профессор, — пробормотал он, — однако не слишком оригинально”. Кристина Ковач, сидящая в другом конце зала, складывала бумаги на коленях и выжидающе смотрела на Бартоли. Нет, подумал я, я не вынесу Кристины, излагающей очередную элегантно-юмористическую концепцию о феноменологии комиксов или о звезде футбола как экзистенциальном герое, — иногда я удивляюсь, почему потратил то, что вынужден назвать своей профессиональной жизнью, на эту ничтожную манерность и тривиальные загадки. Я поспешно встал и направился к двери, будто спасался от пожара.

В коридоре пахло грифелем, старой бумагой и молодыми телами, полными бушующих гормонов. Тощий, плохо одетый человек, в котором едва можно было опознать представителя мужского пола — вероятно, студент, — прислонившись к открытому окну и исподтишка покуривая, бросил на меня вызывающий, угрюмый взгляд. Нет причин горячиться, бледный эфеб, — видишь, я прикуриваю и сам. За спиной я услышал звук открывающейся двери лекционного зала и быстро приближающиеся шаги. Это была Кристина Ковач. Она подошла вплотную, голова почти касалась моего подбородка — Кристина всегда любила подходить близко, даже к незнакомцам, даже к бывшим случайным любовникам. Она смотрела на меня со всезнающей, скептической улыбкой, веер мелких морщинок раскинулся у внешних уголков глаз. “Ты подумал, что я выступаю следующей? — сказала она, забавляясь. — Поэтому ушел?” Мне хотелось, чтобы она не стояла так близко. Ее голова была запрокинута и непрерывно покачивалась в такт грустной внутренней мелодии. Я сказал, что не мог оставаться ни минуты среди этого стада серьезных идиотов. Она

тихонько рассмеялась и с упреком поцокала языком. Она сказала, что оценила мой вклад в работу конференции. “Это очень озорной поступок — прочитать столь известный отрывок, — сказала она, весело подмигивая. — Франко был в ярости, ты наверняка заметил”. Я бросил на нее сердитый взгляд. Ты что же думаешь, что раз мы давным-давно обнаженными извивались в объятиях друг друга несколько часов, это дает тебе право на вызывающую фамильярность? Но взгляд Кристины обратился внутрь. “Бедняжка”, — сказала она, и я вдруг подумал, что она имеет в виду меня, и был удивлен, почувствовав, как что-то теплое поднимается внутри с тревожным рвением собаки, вскакивающей на звук поворота хозяйского ключа в двери. Она положила пальцы мне на локоть, словно в настойчивой мольбе. “Бедняжка, — сказала она, — письма этого безумца об окружающей его бескрайней пустоте...” Я решительно отвел руку, на нее будто присела трепещущая, но настойчивая бабочка. Я рассмеялся. “Он также сообщал одному из своих корреспондентов, в том письме, которое я считаю одним из последних, что сам готовил себе чай, сам ходил за покупками, что носил дырявые ботинки. Даже Заратустра должен считаться с каждодневными заботами”. Она не слушала, ее глаза снова затуманились. “Но писать жене Вагнера, — сказала она, — именно ей, называть ее Ариадной и заявлять о своей любви, а затем говорить, что все антисемиты должны быть расстреляны...” Она была, как я с раздражением отметил, довольно сильно расстроена. В своем волнении она выглядела старой и изможденной. Я в отчаянии огляделся по сторонам. Молодой курильщик у окна наблюдал за нами с изумлением и отвращением — эти старые истуканы стоят в постыдной близости и лапают друг друга. Кристина взяла меня под руку — у меня не оставалось выбора, пришлось повернуться и пойти с ней по коридору. Меня отталкивало то, как настойчива она была в прикосновениях — сейчас она прижимала мою руку к своей талии, и я чувствовал тепло ее скудной плоти, кажущуюся мягкой клетку ребер под ней. Я также отметил удобу ее руки — лишь кожа да кости. Напротив нас, в конце коридора, где находилось большое наполненное дымчато-белым сиянием окно, появилась фигура Касс Клив — вытянутая и слегка размытая в ослепительном свете. Она приостановилась, увидев, как мы приближаемся под руку. На ней было свободное льняное платье, под которым я отчетливо видел, как если бы материал стал на мгновение прозрачным, ее стройное, с крутыми бедрами, обнаженное тело. Она подошла с опущенной головой, глядя себе под ноги. Мы встретились и остановились, все трое. “Кристина, — сказал я, кив-

нув, — позволь представить тебе Кэтрин Клив”. Они пожали друг другу руки. Было в этом что-то смутно комичное, и меня подмывало рассмеяться. “Мисс Клив, — сказал я высокомерно-покровительственно, — мой биограф”. Тут я действительно засмеялся. Почему я не подумал об этом раньше? Мой биограф! Касс Клив уставилась на меня, затем быстро отвела взгляд. Кристина все еще держала ее за руку, разглядывая сверху донизу — эту высокую, с маленькой головой, трогательно нескладную девушку. Я вдруг вспомнил, что Магда ненавидела рукопожатия и шла на любые ухищрения, лишь бы избежать их — интересно, почему? Я пытаюсь вспомнить ее руки, представить их; я помню их форму, какие они были на ощупь, но не вижу их. Неужели так она и покинет меня, миллиметр за миллиметром, пока не останется ничего, кроме моего стыда? “А вы видели Плащаницу? — Кристина спросила Касс Клив — Наш знаменитый *Синдон*”. В памяти щелкнуло: *синдон*, а не *синьор*. Кристина двинулась вперед, я и Касс Клив пошли рядом, я справа, она — слева; Кристина была на полголовы ниже Касс Клив; я посмотрел на тусклые волосы маленькой женщины, затем снова на мою девочку, ухмыльнулся и зажмурился. Мой биограф. “Профессор Вандер читал нам, — сказала Кристина, не поднимая головы, — ‘Сокрытое и подлинное присутствие’ — главу из своей знаменитой книги. Я была удивлена, — теперь она посмотрела на меня, — что ты не упомянул Плащаницу: сокрытое присутствие, понимаешь, — она усмехнулась. — Говорят, это первый автопортрет. Я всегда считала, что Магдалина держала плат, а не Вероника. Магдалина ведь была там, не так ли?”

Длинные, густые, коричневые волосы струятся в желтоватом свете лампы, словно водоросли, вода льется из белого кувшина. Она преклонила колени перед ванной — жрица священного источника, — широкие плечи опущены, бледная шея обнажена. Пальцы массируют ее большую голову — череп хрупкий, как яичная скорлупа. Где? Нью-Йорк-Пенн-Индиа-Небраска. Всегда двигаться, двигаться на запад, ступать по шахматной доске материка длинными, легкими шагами. Города, равнины, затем то, что они зовут высокими странами с их снегом и соснами, затем горы, великие пики, затем пустыня и, наконец, Берберийский берег, в голубых водах которого однажды ее прах ненадолго всплывет, покачиваясь...

Что?

Кто-то меня о чем-то спрашивает.

“Что?”

Касс Клив стояла передо мной, встревоженно заглядывала мне в лицо и спрашивала взволнованным голосом, казавшим-

ся невероятно далеким, все ли со мной в порядке. В порядке? Я, конечно, сказал “да”. Я отвел плечо от ее руки. Проклятые женщины, передающие меня из рук в руки! Мы были в конце коридора, у большого окна. Снаружи, на уровне глаз, виднелся неправдоподобный, охристый, будто обгоревший, купол, отражающий ослепительное солнце. Где Кристина Ковач? Видимо, она ушла, а я даже не заметил. Неужели я на мгновение потерял сознание? Если да, почему не упал? Касс Клив что-то говорила об адресе, моем адресе. Пытаясь понять, о чем речь, я потряс головой, словно старая собака, которой в уши попала вода. Мой адрес? Адрес где? “Я имею в виду твою лекцию, — сказала она, указывая на лекционный зал. — Лекцию, которую ты там читал”. Я еще сильнее закачал головой. “О чем ты? — спросил я. — Ты же была там. Я видел, как ты вошла”. Она нахмурилась и сказала нет, она только что приехала. “Я видел тебя, — пробормотал я. — Ты опоздала. Ты села сбоку, у двери. Я тебя *видел*”. Она попыталась взять меня за руку, но я отшатнулся. Лестница, еще одна, затем двойные двери аварийного выхода с металлической ручкой, с которой я не могу справиться. Касс уже рядом. Она положила руку на дверную ручку поверх моей. Я чувствовал слабое тепло ее лица рядом со своим лицом. “Я в порядке, — сказал я. — Я — *в порядке*”. Двери распахнулись, нас накрыл ослепительный солнечный свет.

Но я не был в порядке. Я сказал, что мне нужно поесть. Чего я действительно хотел, так это выпить. Я потребовал зайти в первый попавшийся ресторан. Он находился на большой, пыльной площади Витторио-Какой-то-там, спускавшейся к реке По. Мы сели за столик на улице, под брезентовым навесом, с видом на реку и на возвышавшийся лес, в полуденном свете он выглядел голубоватым и плоским. Я заказал бокал игристого вина. Я сделал глоток сладковатого, шипучего напитка с металлическим привкусом, и облако крошечных пузырьков, холодных и резких, приятно ударило в нос. Время от времени с реки дул порывистый теплый ветер, навес над нами трепетал и потрескивал, как парус лодки. Касс Клив молча сидела и смотрела вниз на реку, подняв руку для защиты от солнца и обнажив розовато-лиловую подмышечную впадину. “Возможно, — сказал я, — тебе действительно стоит написать мою биографию. Используй все, что выкопала и разнюхала в темных углах. Ты ведь этим занималась, разве нет?” Она все еще молчала, смотря вдаль, — лицо бесстрастное, словно профиль на монете. Я подумал, что это ее любимая поза. Как легко тебя разгадать, моя дорогая. “Можешь написать ее от первого лица, — сказал я, — представь, что ты — это я. Даю тебе полное право. Я дарю тебе права на мою

жизнь. Что скажешь, mein irisch Kind?¹” Внезапно мне захотелось побыть одному: только я и моя выпивка. Дело в том — понимаю всю чудовищность этого замечания в сложившихся обстоятельствах, — дело в том, что Касс Клив не была, как говорится, или говорилось когда-то, в моем вкусе. Мне никогда не нравились высокие, бледные девушки с крутыми бедрами — хотя именно такие меня всегда и преследовали. Будь у меня возможность выбирать — которая мне, разумеется, редко предоставлялась из-за чрезвычайно крупного телосложения, — я бы предпочел маленьких, пухленьких женщин. В центре моего — к настоящему времени практически безлистного — лабиринта чувственного воображения сидит маленькая, приземистая, похожая на Будду фигурка, розовая и голая, с тяжелыми грудями, малиновыми сосками, округлыми плечами, гладкими, блестящими коленями с ямочками и тремя очаровательными, наползающими друг на друга жировыми складочками над бедрами. У этого прекрасного идола нет лица — только пустое место, которое мои сладострастные фантазии, разгорячившись, заполняют различными чертами. Вижу ее иссиня-черные, блестящие, туго зачесанные назад волосы — единственная черта, которую Магда, впрочем, лишь в юности, разделяла с моим тайным идеалом. Откуда взялся образ маленького идола-неваляшки? Подозреваю, его истоки в далеком прошлом, очень далеком, возможно, в самой колыбели. Тревожная мысль.

Пастельные крыши припаркованных на площади машин сияли на солнце, словно богато украшенные знамена и щиты поверженной армии. “Кто такая Магда?” — спросила Касс Клив, нахмурившись и делая вид, что все ее внимание сосредоточено на движущихся по набережной машинах. “Ты прошептал это имя мне на ухо, — сказала она. — Магда”. Я снова увидел комнату, кровать, девушку. Я представил, каково было ей, бедняжке. Должно быть, ей казалось, что она попала в далекую страну, разоренную и грязную, где ее поймал и растоптал древний зверь, коренной житель этих мест, последний из своего вида — свирепый, жуткий, с разлагающейся шкурой, трупным дыханием и единственным сверкающим глазом. “Магда, — сказал я, — была моей женой. Она умерла”.

Принесли обед, хотя я не мог припомнить, как заказывал его. Официант наполнил мой бокал лишь наполовину — я заметил, что теперь это красное вино, — и я рявкнул на него, заставив долить до краев. Когда я подносил бокал ко рту, рука силь-

1. Моя ирландская деточка (нем.).

но дрожала, как при болезни Паркинсона, — вино разлилось на скатерть. Касс Клив попыталась вытереть пятно салфеткой, но я схватил ее руку и велел оставить все как есть. “Не суетись, — огрызнулся я. — Ненавижу, когда люди суетятся”. Затем я заговорил о Гитлере в Берхтесгадене. Такой фокус за обеденным столом я обычно проделываю то ли для собственного развлечения, то ли вообще без всяких причин. Я ловко набросал картину волшебной горы, где сборище троллей лезет из кожи вон, чтобы сделаться фаворитами фюрера, молодые парни с приглаженными волосами и их светловолосые подруги с пышными бедрами, большими, квадратными, затянутыми в атлас ягодицами, и среди них он — царь горы, мечтательный и отстраненный, изысканно вежливый, спокойно замышляющий уничтожение всего мира. Она не сводила глаз с тарелки. “Тебе интересно, восхищался ли я им?” — спросил я. Она посмотрела на меня. “Да, восхищался. Да. Немного. Мои друзья и я, когда были молоды, мечтали об очищенной и свободной Европе”. Я сделал еще один глоток и откинулся назад, улыбаясь ей в лицо. “Я старый леопард, — сказал я, — и весь в пятнах”.

Эпатажный старик в соломенном канотье за соседним столиком с интересом поглядывал на нас, а когда я поймал его взгляд, слегка ухмыльнулся и завистливо кивнул. Странно, но люди всегда принимали нас, Касс Клив и меня, за тех, кем мы являлись, — должно быть, нас окружала какая-то аура, нечто дьявольски порочное исходило от нас, или, по крайней мере, от меня. Всем было понятно, что она не моя дочурка, а я не ее папочка. Не знаю почему, но похотливый взгляд старого Ашенбаха снова напомнил мне о Праге и Кристине Ковач. Когда она подошла к двери моего гостиничного номера в тот день, я валялся в постели, скорее всего, с очередным послеобеденным похмельем. Она встала передо мной, будто кающаяся грешница — нет, скорее распутница, — руки сложены на груди, голова чуть наклонена, искоса смотрит и улыбается, не говоря ни слова. В те дни она славилась своей красотой, такой вожаденной, слегка утомленной; практически каждый мужчина и немало женщин на конференции, которую мы оба посетили — по Мольеру, Клейсту и “Амфитриону”, если я правильно помню, — пытались всеми силами уложить ее в постель, но она все же пришла ко мне. Почему? Потом она сказала, что восхищалась моим умом и поэтому пришла — это меня рассмешило, один взгляд в эту грязную пещеру заставил бы ее с немым воплем вылететь за дверь, трясая головой и размахивая в ужасе руками. В то время у нее еще был муж где-то в Бухаресте — блажь ее студенческих лет. Она рассказывала мне о нем — Иштване, или Иване, или Игоре — своим волнующим, бархатистым,

грудным голосом, лежа на спине и подложив руку под голову, печально глядя в потолок сквозь сигаретный дым и рассеянно прикасаясь пальцем к опухшей губе в том месте, где мои настойчивые зубы оставили следы. Я слушал в полусне. Какая драма! Ночь, когда в их квартире был обыск. День, когда у нее конфисковали пишущую машинку. Их страх и ссоры. Вечер, когда Игорь-Иштван пришел домой после двухдневного допроса в тайной полиции с красными глазами и посеревшим лицом, и ударил ее в живот, потому что был зол и напуган. После этого она не могла иметь детей, что было, по ее словам, трагедией всей ее жизни. “Эта грязная страна, — шипела она, выпуская дым, словно дракон. — Эти грязные люди!”

Но смотрите-ка! а вот и сама Кристина и Франко Бартоли заодно, сидят с нами за столиком в тени навеса, слушают девушку и как-то странно смеются. Как они оказались здесь? Я не помню, как они пришли, присоединились к нам и заказали по бокалу вина. Я слышу, как Касс Клив рассказывает им о ком-то по имени Мандельбаум, этот Мандельбаум приходит к ней во время приступов. Это ее слова: “*Он приходит ко мне во время приступов*”. Двое сидят напротив, выпрямившись на стульях, пальцы беспокойно перебирают ножки бокалов, глаза широко раскрыты, брови приподняты — вежливо и слегка озадаченно. Девушка наклонилась к столу, ноги скрещены, говорит очень быстро, сбиваясь, плотно, виток за витком, накручивая прядь волос на палец, странно пофыркивая и посмеиваясь, будто то, что она рассказывает, — презабавнейшая вещь. У мистера Мандельбаума есть особый запах, говорит она, запах миндаля, который опережает его и предупреждает о его скором прибытии. Потом он приходит, ловит ее и сжимает, сжимает, пока из нее не выйдет весь воздух и она не упадет. Видя, что я выбираюсь — или пытаюсь это сделать — из алкогольного тумана, она озаряет меня полыхающей отчаянием улыбкой, ее глаза горят и затуманиваются. Перед моим искаженным взором ее лицо предстает одновременно и анфас, и в профиль, как на одном из тех устрашающих портретов кубистов, — вероятно, вы понимаете, о чем я. Спокойно, без удивления, я вижу, что она злится. “От него пахнет миндалем, — говорит она, — от этого мистера Мандельбаума”. Ее улыбка вдруг улетучивается, будто на лице выключили свет, она берет свой бокал — или это мой? — обеими руками и глотает темное вино, глядя на меня поверх ободка. Остатки обеда уже убрали, я держу стакан... с чем? Должно быть, это снова граппа. Солнце сзади обжигает шею. Как так получилось, что никто не заметил моего отсутствия? Где же я был? В Праге, да, с Кристиной Ковач в нежно-розовой комбинации. Касс

Клив запрокинула голову, допила остатки вина одним большим глотком, со стуком поставила бокал на стол и снова посмотрела на меня. Ее лицо перекосилось сильнее, как если бы половина и без того искаженного профиля на портрете сместилась еще больше. Она неуверенно встала, повернулась и исчезла во мраке ресторана. Хлопнул тент, промелькнула крыша проезжающего автомобиля. Кристина Ковач откашлялась и кивнула. “Говоришь, она пишет твою биографию?” — с сомнением спросила она. Франко Бартоли ухмыльнулся: “Она твой биограф? А, — он снова ухмыльнулся, — а, понятно”. С этой блестящей лысиной, кустистыми бровями, надутыми губами и редкой, мягкой, пушистой, рыжеватой бородкой он выглядел, малыш Франко, как редкое и ценное домашнее животное, избалованное и испорченное чрезмерным вниманием. Очки без оправы на аккуратной переносице были почти незаметны. Интересно, почему я его так презираю. Он начал говорить с приглушенной яростью о модном французском ученом, который согласился приехать на конференцию и выступить с докладом, а затем в последнюю минуту отказался. “У вас похожи имена, — громко сказал я, прерывая его тираду. — Твой француз Батор. Ты — Бартоли: почти то же самое”. Я засмеялся, поднял стакан из-под граппы доньшком вверх и помахал им официанту, который с отсутствующим видом опирался на увитую виноградной лозой решетчатую ограду. “Гномик Батор, — сказал я. — Я встречал его однажды. Противный, грубый пигмей”. Ресторан опустел, мы были последними посетителями. Я слышал свое дыхание и низкое, тяжелое гудение, будто в черепе работали мехи, что было верным признаком наступающего опьянения. На белую скатерть падали блики, и все предметы на ней — нож, вилка, бутылка с маслом, мельница для перца — отбрасывали тени под одинаковым углом, будто их нарочно расставили именно так, словно шахматные фигуры или руны, которые я должен прочесть. Официант хмуро принес бутылку с прозрачным ядом и налил его; я выпил. Потом я попытался закурить, долго возился со спичкой, обжег пальцы и выругался. Бартоли и Кристина Ковач смотрели на меня странным, немигающим, каким-то механическим взглядом; неподвижные и выпрямленные, они походили на пару судей со сложенными на столе руками. “Я знаю, что ты убил свою жену”, — сказал Франко Бартоли. Я закашлялся, выплюнув граппу. “Что? — прохрипел я, задыхаясь. — Что?!” Кристина Ковач заботливо хлопнула меня по спине. “Он говорит, — сказала она, — что ты уронил свой нож”. Конечно же, вот он, лежит на земле; лезвие, сверкнувшее между коленями, имело злове-

щий, пронзительный блеск. Я наклонился, чтобы поднять его. Кристина Ковач встала, держа сумочку. Я схватил ее и потребовал сказать, куда она идет; я боялся остаться наедине с Франко Бартоли. Она сухо улыбнулась. “Хочу посмотреть, что с твоим биографом”, — сказала она. Она прошла между столиками и зашла в помещение, где скрылась Касс Клив. Франко Бартоли кончиком пальца медленно, задумчиво перекатывал по скатерти хлебную крошку. “Она умирает, — сказал он и посмотрел на меня. — Я имею в виду Кристину”. Его глаза были затуманены солнечным светом, отражающимся в линзах очков. Я вдруг понял, что они с Кристиной Ковач любовники. Я просто понял это — иногда избыток алкоголя делает меня проницательным. Интересно, сколько продолжается их роман? Возможно — и почему-то мне показалось это забавным — возможно, он начался недавно, может даже вчера вечером. Франко, должно быть, заметил проблеск понимания на моем лице и, быстро опустив глаза, начал усердно раскатывать еще одну лепешку из теста. Я представил их в постели: обескураживающе печальная Кристина и Франко со своим брюшком, мальчишескими ручонками, аккуратно убранными под кровать ботиночками с носочками в них, как он приоткрывает рот в попытке подавить еще один зевок; как вдруг из темноты доносится голос Кристины, сообщающий о ее болезни, и Франко сразу думает о сухости ее плоти и зловоонии, которое она исторгала из своих и без того ослабленных легких, когда он прыгал на ней; ему хочется вскочить и смыться, подбирая сброшенную впопыхах одежду, и нестись по коридору гостиницы, вниз по лестнице, вдоль по улице, из самого города — прочь! но вместо этого он вынужден лежать, парализованный ужасом, не смея пошевелить пальцем из страха, что вся подноготная этой женщины, ее страдания, ее жизнь и неминуемая смерть обрушатся на него. Потом долгие разговоры, все ее страхи всплывают наружу, все мучения, в комнате так душно, что ему с трудом удастся сделать вдох. Могла ли она рассказать ему о том дне, проведенном со мной в Праге, о задернутых шторах, о том, как она кричала, о моей безжизненной ноге между ее бедер, стучащей о кровать? О да. Могла. “Выпей, — сказал я ему, улыбаясь почти нежно. — Выпей со мной, Франко, выпьем за старые времена”. Он молчал, не поднимая глаз. “Я знаю, что ты убил ее, — сказал он хриплым от ненависти шепотом. — Я знаю, что ты это сделал”. Вернулась Кристина, она озабоченно хмурилась. “Твоя девушка, — сказала она и посмотрела на меня. — Я спросила через дверь, как она там, но она попросила меня уйти. У нее был такой странный голос...”

Бывают моменты, хорошо мне знакомые, когда внезапно все ослабевает и пустеет, словно весь воздух выходит из вещей, и застигнутые врасплох люди колеблются, чувствуя некое смещение, будто сжимаются внутри себя. Кристина Ковач положила сумочку на стол. Франко Бартоли хотел подняться, но передумал, выглядел он почему-то несколько смущенным. Я откинулся назад и уставился вверх, ожидая чего-то, но увидел лишь плотный воздух, край тента, узор из листьев в дымке от моей сигареты и, будто начерченный мелом, след от самолета, высоко в небе, в зените. Снова этот ветерок. Солнце на припаркованных машинах. Сияющая река. Касс Клив, неуверенно ступая, опустив голову, вышла из полумрака ресторана. Она остановилась на мгновение, огляделась и подняла руку в защитном жесте, щурясь от яркого света, как если бы все это — пустые столы, виноградная лоза, мы трое, смотрящие на нее, — было не тем, что она ожидала увидеть. Она двинулась вперед, лавируя между стульями, будто то были притаившиеся животные, и остановилась рядом со мной, опираясь скрещенными пальцами одной руки на стол, сильно наклонившись вперед. Она начала говорить, но голос ее не слушался и вместо этого она, сопя, бессмысленно рассмеелась. На локте была большая, залитая кровью царапина, платье в пятнах. Я потянулся и схватил ее за свободную руку, пытаясь с ее помощью подняться, но не смог, упал на стул и закрыл глаза.

Последним подарком Магде, одной из немногих купленных мной вещей — как и большинство лишившихся дома людей, я не доверяю материальному, — была богато украшенная и абсурдно дорогая стеклянная ваза. Я внезапно вспомнил, что в том году мы отмечали сороковую годовщину совместной жизни, и, хотя к тому времени разум почти покинул ее, я подумал, что должен это событие отметить. В магазине на улице Евклида, узкой коробке из стеклянных панелей и стальных профилей — у меня одного замирает сердце при покупке подарка? — ваза выглядела очаровательной вещью: высокая, изящная, из бледно-зеленого стекла, пронизанного размашистыми, белесыми, точно сахарными, дымчатыми кольцами. Однако когда ее поставили в гостиную, через неделю-две зеленое стекло приобрело сопливый оттенок, а завитки замороженного белого сиропа начали, если я долго смотрел на них, вызывать легкую тошноту — я даже начал видеть в ней нечто угрожающе-зловещее. Я хотел избавиться от нее, но заметил, что Магда к ней привязалась — кошмарное зеленоватое сияние, вероятно, было таким пронзительным, что пробивалось даже сквозь туман ее безнадежно рассеянного разума. Она сидела и смотрела

на вазу долгими часами в безмятежной тишине, и у меня не хватило духу вынести эту вазу через заднюю дверь, чтобы разбить ее вдребезги. В свою очередь, ваза, должно быть, находила меня столь же отталкивающим, или же моя неприязнь была ей невыносима, и она решила избавить нас от этих страданий. Случилась и впрямь странная вещь. На следующий день после смерти Магды я лежал на диване в полумраке гостиной, осмысляя свое вдовство — это слово все еще кажется мне неправильным по отношению к мужчине, — с пакетом льда на лбу и постепенно пустеющей бутылкой на полу, когда громкий хлопок, резкий и отчетливый, как выстрел, заставил меня подпрыгнуть в испуге, подобно тому, как выгибается человек-монстр на столе Франкенштейна, когда большая, синяя искра проскакивает между проводниками. Я вскочил и неровной походкой направился в гостиную посмотреть, что случилось, и мои одурманенные мысли вернулись к Бланку — помните его? — и его грубому, синеватому, заряженному боевыми патронами пистолету. Я долго вглядывался, прежде чем понял, что произошло. Ваза разбилась, но не на мелкие кусочки, как обычно бьется стекло, а развалилась на две почти равные части, словно была стремительно разрезана посередине, сверху вниз, алмазным лезвием или мощным лазером. Возможно, я уже упоминал, что я не из суеверных — или не был таковым в то время, ибо случилось это до того, как призрак Магды начал меня преследовать, — и подумал, что в стекле имелся какой-то дефект, какая-то трещина, настолько тонкая, что ее невозможно было заметить, и она наконец поддалась малейшему колебанию температуры воздуха или атмосферного давления. Я думал, почти раскаиваясь, о некогда ненавистой мне вещи, о том, как она стояла там, день за днем, молча снося мои недобрые взгляды и любящий, но, вероятно, не менее докучливый взгляд Магды. Неподвижно запертая в агонии борьбы с разрывающими ее на части непреодолимыми силами мира, она напрягалась изо всех сил, чтобы продержаться еще час, еще минуту, еще несколько секунд — последние мгновения целостности и равновесия. Я, конечно, думаю о Касс Клив. Ибо это то, что с ней происходило: она была еще одним высоким, треснувшим сосудом, который вот-вот распадется надвое.

В туалете у нее снова был приступ. Она не помнила падения — только знакомый слабый запах, сухой и сладкий, и голоса в голове, которые вдруг одновременно начали говорить. В кабинке было тесно и грязно, и при падении она обо что-то поцарапала руку, хотя боли не почувствовала. Потом эта женщина, Ковач, стучала в дверь и звала ее по имени; она каким-

то образом встала, набрала салфеток и вытерла подол платья там, где были пятна от грязи. Это было одним из худших ее кошмаров: потерять сознание в каком-нибудь грязном месте вроде этого и не прийти в себя до тех пор, пока кто-нибудь не найдет ее там, зажатую между унитазом и дверью, со спущенными до колен трусиками. Когда она вышла на солнце, ее тело мелко подрагивало и казалось совершенно бесплотным, воздух будто превратился в какую-то другую среду — своего рода яркую, вязкую жидкость, которая одновременно поддерживала и мешала ей. Так всегда бывало после приступа — появлялось ощущение, что все вокруг изменилось, будто она шагнула через зеркало в другой, потусторонний, сверкающий мир. Когда Вандер развернулся на стуле и схватил ее за руку, она почувствовала слабую пробежавшую по его руке дрожь, будто это была последняя искра жизни, исходящая из него, и когда его голова упала на стол с пугающим хлопком, она подумала, что он мертв. У отца на руках умерла его мать, когда тот заснул, обнимая ее, и даже ее смерть не разбудила его. Каково это — уйти вот так, беззвучно, будто выскользнув из комнаты и тихонько закрыв за собой дверь? В своем воображении она увидела руку — это была ее рука, — медленно отпускающую полированную дверную ручку, в которой ее миниатюрное, искривленное отражение уменьшается до темной точки и исчезает. Уйти.

Когда Вандер повалился на стол, Кристина Ковач и Франко Бартоли сразу вскочили и начали суетиться, словно механические фигуры, будто падение каким-то образом включило моторчики, которые заставляли их двигаться. Кристина Ковач дотронулась до запястья Бартоли, и он быстро повернулся по направлению к выходу, застегивая куртку. Она ничего ему не сказала, но он быстро, понимающе кивнул. Он проворчал что-то по-итальянски: возможно молитву или проклятие своему невезению оказаться здесь. Он взглянул на Вандера — голова на столе, руки висят, — снова кивнул и сказал, *si, certo*¹, он пойдет за машиной, и двинулся вперед короткими, торопливыми шажками, прижав руку к боковому карману пиджака. Вандер громко, раскатисто рыгнул, словно выдал издевательский комментарий, а потом тихо застонал. Кристина Ковач подошла к нему, положила руки ему на плечи и с усилием приподняла. Он застонал громче, крелясь набок. Кристина Ковач заговорила с ним мягко, как с ребенком, на языке, которого Касс Клив не понимала, и странным, печальным, похожим на борцовский прием

1. Да, конечно (*итал.*).

жестом обвила руку вокруг его головы и нежно привлекла его к себе, пока лоб не коснулся ее живота. Его глаза были закрыты, рот приоткрыт, по подбородку текла струйка слюны. Касс Клив вдруг почувствовала необходимость что-то сказать или спросить, но не могла сообразить, что именно или к кому ей следует обратиться. Возле бордюра остановился Франко Бартоли в своем маленьком ярко-красном автомобильчике.

Втроем они подняли Вандера на ноги и повели через тротуар к машине, раскачиваясь из стороны в сторону, будто передвигали шкаф. Они с трудом усадили его на низкое переднее сиденье. Он висел на них мертвым грузом, но когда Касс Клив напряженно согнулась, чтобы поддержать его, ее шея соприкоснулась с его горячей, влажной подмышкой, и она услышала, как он сдавленно хихикнул. Даже когда они, наконец, усадили его на сиденье, негнушаяся нога упорно продолжала вываливаться наружу, пока Бартоли не подпер ее носком своего изящного ботинка и в последний момент, как замахающийся для удара пенальтист, ловко притянул его к себе и захлопнул дверь. Они уже собирались уезжать, когда подбежал официант с неоплаченным счетом, про который они забыли, и Бартоли, тяжело дыша, вышел из машины и сунул ему в руки деньги. В гостинице, когда они пытались затащить пьяного Вандера наверх по ступенькам, автоматическая стеклянная дверь открывалась настежь с бессмысленной быстротой, если локоть или оттопыренная нога пересекали луч электронного глаза, и тут же снова закрывалась. На узкой улочке машины разгневанно гудели за перегородившим дорогу съезжившимся маленьким автомобильчиком Бартоли. В спальне Франко Бартоли, чья шея была обвита рукой Вандера, потерял равновесие и начал медленно заваливаться. Чтобы не упасть, всем троим пришлось отпустить Вандера, который постоял, покачиваясь, а затем рухнул на кровать лицом вниз, будто поваленное дерево. Касс Клив отошла в сторону и спокойно села на стул. Задышающийся Бартоли отступил, вытирая руки о пиджак и поправляя лацканы, словно вышибала, которому только что удалось выкинуть на улицу агрессивного нарушителя покоя. Кристина Ковач перевернула Вандера на спину и сняла с него обувь. Касс Клив встала, дрожа подошла к окну и задернула шторы, сама не зная зачем — она почему-то подумала, что это необходимо. Погруженная в полумрак комната вдруг показалась ей местом, где происходит священнодействие: Вандер лежит навзничь на кровати, двое похожих на привидения людей стоят подле него, — они могли бы быть фигурами в центре алтаря.

Кристина Ковач, нахмурившись, с любопытством оглядывалась по сторонам, словно вдруг осознала, что это было то самое место, где она однажды что-то потеряла, и теперь прики-

дывала, может ли пропажа все еще находиться здесь. Франко Бартоли — ему не терпелось уйти — схватил ее за рукав, пытаясь подтолкнуть к двери. Касс Клив он сказал, что позвонит позже, она кивнула — ей хотелось, чтобы они поскорее ушли. Кристина Ковач задержалась в дверях, по-прежнему рассеянно хмураясь. “Ему нельзя пить, — сказала она, будто самой себе, и покачала головой. — Ему и впрямь нельзя пить”. Бартоли взял ее за руку и повел в холл. Однако они, должно быть, остановились у стойки регистрации, потому что вскоре в дверь постучали, и в номер вошел очень худой, элегантный пожилой мужчина в белоснежном костюме. Касс Клив сидела у кровати в священной тишине комнаты. Мужчина назвался доктором с таким видом, будто во всем городе был единственным врачом. У него был восточный вид: лицо смуглое, худое, будто лишенное плоти, глаза темные, но не злые, редкие волосы, окрашенные в черный, сильно умашенные и, как ей показалось, пахнущие сандаловым деревом, хотя, как оно пахнет, она толком не знала. Он принес с собой настоящий медицинский саквояж, похожий на пасть толстогубой рыбы, из саквояжа исходил давно знакомый запах. Она завороченно рассматривала белую, будто жемчужную, ткань его костюма — казалось, доктор был облачен в какой-то металл, удивительно тонкий и мягкий, сияющий в свете ночника. Он подождал, пока она, по его указанию, развяжет Вандеру галстук и расстегнет ему рубашку, затем присел на край кровати, приподняв и поставив одну ногу на носок, послушал ему сердце, поднял веки и посветил фонариком в глаза, после чего заглянул в уши и в рот. Затем извлек из сумки старомодный металлический шприц со стеклянной колбой и маленький флакончик с прозрачной жидкостью, перевернул его вверх дном и вставил иглу в резиновую пробку, которая была точно такого же цвета, что и камера велосипедного колеса; возможно, подумала она, пробка была сделана из той же резины, и в который раз подивилась тому, как, несмотря на кажущееся различие, многие вещи обладают замаскированным сходством. Доктор подвигал руку Вандера вверх и вниз, словно рычаг водяного насоса, после чего последовали манипуляции с ватным тампоном, которые всегда вызывали у нее дрожь. Она наблюдала, как игла сначала сделала вмятину в дряблой коже, а затем прорвалась внутрь, плавно войдя под углом в вену. Убрав иглу и пустой флакон, доктор долгое время сидел неподвижно, будто успокоительное было введено ему, а не Вандеру, а затем посмотрел на Касс Клив. “А что с вами, — спросил он, — вы поранились?” Он указал на царапину у нее на локте. “Я упала”, — сказала она. Он кивнул и взял ее за руку; длинные тонкие пальцы были сухими и гладкими, словно отполированная дре-

весина; другой рукой он водил из стороны в сторону, вверх и вниз, будто давая своего рода благословение. Его дыхание отдавало табаком, а также чем-то теплым и сладким. Безмолвие комнаты нарушало лишь тихое и размеренное дыхание Вандера. Доктор осмотрел ссадину у нее на руке, после чего руку отпустил, похоже, потеряв интерес к Касс Клив, и снова отвернулся, задумавшись. Она представила, где он мог бы жить. В воображении она нарисовала большую, тихую, мрачную квартиру, пропитанную запахом табачного дыма, сандалового дерева и чего-то сладковатого; крупная, темная, невыразительная мебель, фотографии в тусклых серебряных рамках с бледными, торжественными лицами детей, его братьев и сестер, сейчас уже почивших или разъехавшихся кто куда, а также фотографии старших членов семьи: отец тощий, как и он, высокий воротник, суровый взгляд; еще молодая мать — задумчивая и болезненная. Как в мире может быть так много людей, подумала она, так много жизней? Не говоря уже о неисчислимых покойниках.

“Он будет спать, — сказал доктор, искоса поглядев на Вандера, затем снова на нее, и улыбнулся, будто только что показал фокус. — Поспит и проснется утром”.

Он ушел. Она снова села на стул возле кровати, сложив на коленях руки и слушая, как звуки дня потихоньку стихают с протяжным, томительным вздохом. Дымчато-белая щель между шторами окрасилась в янтарный, а затем в ярко-синий. В последний раз, когда она наблюдала за спящим Вандером, он будто ускользал от нее, странным образом покидая тело, но теперь, когда он был скорее без сознания, чем во сне, его присутствие было даже более отчетливым, чем когда он бодрствовал; лежа вот так, на спине, с закрытыми глазами, нахмуренными бровями, будто чем-то озадаченный, он каким-то образом заполнил комнату; создавалось впечатление, что здесь, кроме него и нее, присутствуют другие создания — безмолвные и незримые. Однако, возможно, это был не Вандер и не его призраки, — а ее. Она подошла к окну, выглянула на улицу и увидела посеребренный лик луны, торжественно сияющий над городом.

Спустя какое-то время Вандер проснулся. Сначала он не мог понять, где находится и что случилось. Она передала ему слова доктора. “Ты истощен и отравлен алкоголем. Тебе не стоит пить так много”. Он не слушал. Он приказал включить свет и, когда она отказалась, начал метаться по кровати, пытаясь нащупать на стене выключатель, но быстро повалился обратно на подушки со стоном, полным гнева и отчаяния. Он спросил, куда делись Бартоли и Кристина Ковач. “Я сказала им, что ты мой отец”, — ответила она, и он, резко подняв голову, посмотр-

рел на нее. “Ты сумасшедшая, — сказал он. — А я дурак”. Он потребовал, невнятно произнося слова, чтобы она принесла ему вещи, стакан вина, еду, сигареты, книгу, при этом его невидящий глаз блуждал в глазнице. Через некоторое время он снова заснул. Вид у него был по-прежнему рассерженный. Она накинула на него одеяло и пошла в свой номер, осторожно ступая по коридорам, боясь встретить другого жильца или, что еще хуже, кого-то из гостиничного персонала. Ей казалось, что за каждой дверью притаился некто; он стоит, положив ладонь на ручку двери, готовый выскочить и... она не знала, что он может сделать, ее пугал сам прыжок.

Ее комната выглядела так, будто в ней что-то изменилось, едва уловимо, словно нагрянули незваные гости и переставили все, что там находилось, а затем вернули все на свои места, в точности так, как было. Она передела грязную юбку, зашла в ванную, открыла теплую воду и вымыла поцарапанный локоть. Потом почистила зубы и долго неподвижно стояла у зеркала с зубной щеткой в руке, не глядя на себя. Она не знала, что делать дальше. Она вернулась в спальню, присела на край кровати, позвонила матери и сказала, что возвращается домой. Во время разговора она прикрывала трубку ладонью и говорила шепотом, будто в комнате кто-то мог ее подслушать, и мать постоянно просила ее повторить сказанное. В их разговоре то и дело образовывались паузы, и тогда она ясно слышала дыхание матери. Она думала об их голосах, летящих во тьме, над крышами города, над сельской местностью, над высокими белыми вершинами гор, над другими городами, над морем, а затем... затем... “Твой отец, кстати, бросил меня, — сказала ей мать со сдавленным смешком. — Он вернулся в то место, которое до сих пор называет своим домом, чтобы жить с призраком своей мамочки”. Она не ответила. Ей вдруг стало интересно, как работают телефоны. Переносят ли провода настоящие слова, или они превращаются в сигналы, импульсы, которые затем снова становятся словами? Как это происходит? В каждом телефоне должно быть устройство, кодирующее сказанное и немедленно декодирующее его на другом конце. Но где могло находиться такое устройство? Находится ли оно в самом телефоне или в том, что она держит, — в трубке, как ее называют? “У тебя все хорошо?” — спросила мать, не в силах сдержатъ раздражение. Все ли у нее хорошо? Она не знала. Она осторожно повесила трубку, и ей показалось, что за мгновение до конца связи она услышала щелчок, похожий на щелканье языка. Итак, ее отец наконец ушел. Она была рада. Она подождала и снова взяла трубку, недоумевая, почему ее называют только приемным устройством, а не отправляющим. Она не попрощалась. Из трубки доносились тихие, короткие

гудки. Она снова повесила трубку и подождала, пока мать перезвонит, сгорбившись в напряжении, крепко прижав руки к груди и глядя на телефон, не мигая. Но телефон не звонил. Да и с чего бы ему звонить? Она же не сказала матери, где находится. Она подумала о луне, на которую смотрела из окна в комнате Вандера, об окружавшей ее темноте.

Она возвращалась гудящими от тишины коридорами. Вандер все еще спал. Она наклонилась над ним, глубоко вдохнув; от него исходил запах больничной палаты, пепла, свечного воска, мочи. Крошечный, с рыбой чешуйку, отблеск виднелся между приоткрытыми веками ослепшего глаза. Она смотрела, как с каждым вдохом растягиваются и напрягаются жилы у него на шее. Она села — будто снова заступила на ночное дежурство. Теперь она была спокойна, хотя и знала, что не уснет. Ее все еще не покидало ощущение, появившееся после приступа в ресторане, будто она плывет, вялая и неподвижная, словно рыба в реке, а сам мир, отчетливый и стремительный, проносится мимо. Она не знала, сколько прошло времени, когда услышала пение ребенка, поняла лишь, что было поздно, глубокая ночь. Возможно, сидя у кровати, она все-таки заснула, ибо пение разбудило ее. И как иногда бывает, когда человека внезапно будят и его сны бесследно исчезают, так и сейчас все, что происходило у нее в голове — сны, размышления, воспоминания, — исчезло в одно мгновение, осталась лишь эта освещенная лампой комната, дышащий на кровати старик и доносящееся из коридора пение ребенка. Это происходило не у нее в голове, звук раздавался извне — настоящий, тонкий, высокий, бессловесный напев. Она сидела и некоторое время слушала, не испытывая страха. Это был не столько звук, сколько часть тишины, часть ночи — ощутимая, но невидимая, как темнота или сам воздух. Она подошла к двери и осторожно ее открыла. Она ожидала увидеть ребенка, стоящего снаружи, на пороге, поющего для нее с обращенным вверх лицом, но нет, ничего и никого за дверью не было. Она осмотрелась: коридор был пуст. Она вышла, и дверь закрылась сама собой, но все было хорошо, у нее в руке был ключ, ключ Вандера. Она пошла прямо по коридору. Из-за поворота подул слабый ветерок и прижал свои беспомощные руки к ее лицу, к ее голым плечам. Она остановилась, но вскоре поняла, что снова идет вперед. Ребенок оказался мальчиком или же девочкой, похожей на мальчика, — миниатюрное существо, больше похожее на карлика, чем на ребенка, с острым, маленьким, белым личиком и спадавшим на лоб чепцом черных волос. Он сидел, а точнее, полулежал на полу, на ковре, перед закрытой дверью, странно изогнувшись и опираясь на локоть. В руках у него было некое подобие куклы, с которой он играл. Услышав ее осторожные шаги, он

сразу прекратил пение и серьезно взглянул на нее широко раскрытыми глазами, будто совсем не удивился ее появлению — безмолвному, бесшумному. Даже на расстоянии она могла разглядеть его веки — два узких полумесяца с поблескивающей оболочкой того же строения, что и розовые, приоткрытые губы. Кукла, с которой он играл, была из шерсти, с набитым туловищем, распухшая и растрепанная, с бежевыми конечностями и лысой головой, лицо ее не имело черт. Потеряв к ней интерес, ребенок возобновил тоскливое пение и пустил крупную куклу в валкий, пьяный танец. Она хотела что-то сказать, но потом решила, что ребенок не поймет ее, на каком бы языке она ни говорила, так что она просто стояла и смотрела, как он играет, слушая его монотонное пение. Затем дверь, на которую он опирался, внезапно распахнулась внутрь с легким вдохом, и хотя все, что она увидела в комнате — клиновидный свет лампы и ножка стула, перед ее мысленным взором предстали недопитые бутылки, разбросанная одежда и стоящие на подлокотниках тарелки с недоеденным ужином. Раздался чей-то голос и ленивый смех ему в ответ, мужская рука ухватила ребенка за плечи, быстро подняла и втащила внутрь. Последним, что она увидела, были тоненькие, маленькие ножки, болтающиеся, словно бесполезные ножки куклы чревовещателя, которую хозяин под мышкой уносит за кулисы в конце представления. Она вернулась в комнату Вандера, легла рядом, не раздеваясь, и наконец провалилась в глубокий сон.

Они проснулись одновременно от треска и грохота. Был день. Задержав дыхание, они лежали и смотрели друг на друга в растерянности и тревоге. Снова послышался грохот. Касс Клив встала, отдернула тяжелые шторы и распахнула высокие окна. Ставень снаружи оторвался от крепления и бился о стену. В чистом небе висели белые лошадиные хвосты облаков, и по всему городу прокатывались океанские валы ветра. Она высунулась наружу и быстро закрепила ставень. Вандер сел, с затуманенным взором, моргая и причмокивая пересохшими губами, длинные пряди белых волос, мерцая, развевались над головой, словно заряженные электричеством нити. “Ты, — сказал он, взглянув на нее. — Все еще здесь”. Она не ответила, лишь подошла и начала поправлять сбившуюся простыню. Он не попытался помочь ей и даже не сдвинулся с места, когда она пыталась натянуть простыню. “Мне нехорошо, — сказал он. — Я спал.” Она снова промолчала. Простонав, он встал с постели и прошел мимо нее в ванную, захлопнув за собой дверь. Теперь, когда она встряхнула простыню, его пепельный, восковой запах стал отчетливее. Из ванной донеслись звуки рвоты, за которыми последовал громкий стон ярости и отвращения. Она снова подошла к окну. В зда-

нии напротив курил мужчина, высунувшись из окна. Позади него она могла разглядеть письменный стол с документами и оборудованием — предметы не отбрасывали тени под искусственным, ледяным светом ламп на потолке и казались плоскими. Некоторое время они смотрели друг на друга с тенью отчаяния, словно двое потерпевших кораблекрушение, оказавшихся в ловушке на соседних островах с пролегающим между ними глубоким, непреодолимым каналом улицы.

Она проголодалась и подошла к телефону заказать завтрак. Ответивший ей голос был пронзительным, жестким и гулким, будто доносился из глубокого колодца. Она не знала, чего хочет. Ей показалось, что из трубки доносится шум ветра. Теряющий терпение мужчина произнес что-то неразборчивое, и линия оборвалась. Вандер вышел из ванной голый, бледный и дрожащий. “Мне нехорошо”, — сказал он снова, не глядя на нее, и направился к кровати, сгорбившись и нервно потирая ладони, словно ступающий в воду боязливый пловец. Его спина была в шоколадно-коричневых родинках, длинные седые волосы росли на лопатках, когда он шел, на неровных ягодицах болталась дряблая кожа. Она никогда не видела человека столь огромного, обнаженного — и столь беззащитного. Она с легким изумлением размышляла о тайне времени и о его разрушительной силе. Вскоре, через несколько лет, от силы через десятилетие, его уже не будет, как и всего того, чем и кем он являлся.

Он лег на кровать и натянул одеяло до подбородка, щетина на впалой челюсти поблескивала, будто просыпанные песчинки. Когда раздался стук, она быстро, испуганно повернулась, будто тот, кто находился снаружи, кем бы он ни был, собирался выбить плечом дверь и ворваться в номер. На мгновение она в страхе подумала о докторе, который пришел убедиться, что она выполнила его рекомендации: Вандер отдыхает, перестал пить, ссадина на ее руке зажила, все было сделано как надо, ничего не упущено. Однако это был не доктор, а официант, он принес завтрак, который она не заказывала. Завтрак был размещен на чем-то вроде тележки, которую он вкатил в комнату, наклонившись над ней и осторожно поглядывая по сторонам, словно игрок в бильярд. Это был пожилой лысый мужчина, она узнала его, но не могла вспомнить, где его видела. Он перевел взгляд с нее на сидящего на постели Вандера и нахмурился: завтрак был накрыт для одного. Все в порядке, поспешно сказала она, поднимая руки, этого достаточно, этого хватит. Она боялась, что закричит, если он скажет хоть слово, хоть одно слово. Она смотрела на еду беспомощно, почти в отчаянии. На столике были яйца, холодное мясо, кусочки бледного, влажного сыра, булочки, сухари, миниатюрные горшочки с медом и дже-

мом, кувшин с молоком и горячей водой, чайные пакетики, растворимый кофе и накрытый бумажной крышкой большой бокал неправдоподобно оранжевого апельсинового сока. Официант подкатил столик к окну, развернул и аккуратно поставил, будто совмещая колесики с невидимыми отметками на полу, посмотрел на нее и поднял бумажную корону со стакана с апельсиновым соком странным, торжественным движением, точно священник, снимающий белую ткань с чаши причастия, — и тут она узнала его. Это был тот самый ночной портье, который принес ей стакан воды и салфетку — как это она не узнала его сразу, как могла забыть? Голова Вандера из-под одеяла сказала официанту что-то по-итальянски, но тот будто не расслышал его или же предпочел не отвечать — он продолжал смотреть на Касс Клив своими темными, меланхоличными глазами, теми же, что у доктора. Она вытащила из сумочки пригоршню монет и протянула ему — он слегка склонил голову, покачивая ей, с легким выражением признательности положил монеты в карман, проворно прошел мимо нее к двери, повернулся, снова поклонился и молча удалился.

Вандер наблюдал за ее перемещениями по комнате, поворачивая голову на подушке. Он велел ей поест. Она принесла стул и села перед столиком с завтраком, но у нее пропал аппетит. Она думала. Она была взволнована. Ее глаза блеснули. Она положила в чашку чайный пакетик, налила горячей воды и откусила кусочек лежалого сухаря. “Тебе не стоит грызть ногти, — сказал Вандер. — Только посмотри на них”. Горячий, порывистый ветер дул снаружи, раздавался гул, будто они находились в каюте плывущего в открытом море корабля. “Я видел, как ты вошла в лекционный зал, — сказал он утрумо, не глядя на нее. — Наверное, это был твой призрак”. Она ничего не сказала и сделала глоток остывшего чая. “Ты вошла, — сказал он, — и села, в это время я говорил о том, что самости не существует”. Внезапно он громко рассмеялся, после чего закашлялся — постель содрогнулась. Он вытащил руку из-под простыни и поднял ее, чтобы она увидела. “Вот этой рукой я написал статьи, которые ты нашла, — сказал он. — Но с тех пор обновилась каждая клеточка моего тела... Тогда чья же это рука?” Он, я; я снова увидел пустую, опрокинутую бутылку и фиолетовые таблетки у себя на ладони. Я закрыл глаза. Я слушал гуляющий по крышам ветер. Девушка подошла к кровати, встала на колени, взяла мою руку в свои, поднесла к губам и поцеловала. Я.

Все было так просто, просто и ясно. Она должна была понять все с самого начала. Знаки окружали ее все время, или, скорее, все было знаком: эти высокие, белые, мерцающие в лунном свете отроги гор, мимо которых неслись поезда, толстяк, едва не

упавший на нее, взлетающая из мрака в рассветное небо стоя голубей на станции; все: странная молодая женщина в доме Ницше, доктор и его руки, благословляющие ее, пение ребенка. Она все это видела и в то же время не видела. Так было всегда: она просто жила, наблюдала, принимала к сведению, но не проводила связей, не распознавала их — не понимала главного. И только когда официант снял бумажную крышку со стакана апельсинового сока, медленно, торжественно повернув запястье, — она наконец поняла. Будто у нее в голове зажегся свет. Или будто долгое время она была погружена во мрак, а потом вдруг всплыла, беззвучно прорвавшись к сияющему свету. И все прояснилось.

Оставалось неясным лишь, были ли знаки действительно знаками и предназначались ли они специально для нее, или же это были фрагменты целого, название которого она еще не знала — фрагменты, которые позволяли ей замечать. Связь событий, которую она внезапно обнаружила, могла быть лишь вершиной гораздо более глубокого и бесконечно сложного порядка, в который ей никогда бы не позволили проникнуть. Она была бы не против, если бы это было так. В самом деле, ей нравилось думать, что существуют высоты, которых ей не достичь никогда, — мозаика под уже обнаруженной ею мозаикой. Мозаика, да, мозаика на полу храма, и она стоит на коленях — жрица, связанная со святилищем извечными, нерушимыми обетами. У нее даже имелся священный скипетр в форме авторучки, и внутри этого скипетра надежно хранились мирские реликвии.

Она и не ожидала, что сможет осознать все значение и смысл происходящего... Полное понимание будет означать, что тайны нет, а тайна необходима. Нет, она просто должна исполнять ритуалы так, как положено. Она не сомневалась, что знает эти ритуалы и то, как их нужно исполнить. Ей подскажут. Ей покажут. Могло быть и так, что она уже давно делала то, что должна, делала все это время. Возможно, все, что она делала, малейшее движение, было именно тем, что было необходимо сделать, но она просто этого не знала. Думая об этом, она пережила столь напряженный момент — она не знала, как его в точности назвать, — нечто столь сильное, от чего ее стала бить дрожь. У всего есть предназначение, задача, место в узоре — ничто не будет утрачено.

Она была рада, когда Вандер снова задремал, оставив ее размышлять в одиночестве. Это связано с ним, он находился в центре этого — он и был самым центром. Неужели ей суждено спасти его? Она сидела, глядя на его лохматую голову на низких подушках, словно погруженную в поблескивающий мрамор. Его веки с голубыми прожилками были похожи на два миниатюрных глобуса — заключенные в его черепе миры, разрисованные контурами крошечных, голубых рек. Она чувствовала

дрожь, ее трясло, будто дующий снаружи знойный ветер продувал сквозь нее. Она поднялась, стараясь не шуметь, пошла в свой номер, собрала сумку и принесла ее в комнату Вандера. Вешая платье в шкаф, она посмотрела в зеркальную дверцу и увидела, что он снова проснулся и смотрит на нее, повернув голову на подушке. Он спросил, что она делает. Она сказала, что разбирает вещи. “Я собираюсь остаться здесь и позаботиться о тебе”. Его взгляд был апатичным и отстраненным. “Мне снилась жена, — сказал он. — Она была со мной, в комнате”. Вид у него был уставший, уставший и больной. Казалось, его мозг плавится в своей костяной чаше. Возможно, он действительно перенес инсульт на улице, в первый день, или вчера в ресторане. Как проявляется инсульт? Он попытался согнуть руки, сдвинуть здоровую ногу. Покрывало было необычайно тяжелым. “Похоже, я парализован, — сказал он мягко, и эта мысль показалась ему почти смешной. — Я не могу двигаться”. Касс Клив наклонилась над ним и посмотрела ему в глаза. Она спрашивала себя: неужели так и должно быть, неужели это и есть ее цель — просто о нем заботиться? Она представила, как проводит дни в заботах о нем; кровать — саркофаг, его спеленутый труп увенчан живой головой; как возрождаются дни от рассвета до жаркого полудня, затем медленно угасают до вечера, переходя в ночь. Его голова будет говорить — она станет оракулом, который расскажет ей обо всем; она поймет, ей позволят понять. Внезапно, с животной прытью, он рванулся из-под покрывала и схватил когтистой лапой ее запястье. Горячие, сухие пальцы. Она посмотрела на его неровные, агатовые, поломанные ногти. Он отпустил ее, его силы истощились; скрывающаяся под простыней рука была похожа на ускользающее животное. Белые полосы на ее запястье, затем кровь приливает обратно под кожу. Она наклонилась, прижалась губами к его уху и стала говорить что-то горячим шепотом, что-то, чего я не мог разобрать. Ее обжигающее дыхание. Она говорила что-то.

Вторая

Иди сюда, моя призрачная девочка, взбей мне подушки, сядь рядом, и я расскажу тебе сказку — сказку, о которой и не думал вспоминать, пока ты не воскресила ее. Все началось давным-давно, в городе Антверпен, с прогулки по извилистым улочкам — “Путь Вандера”, так я его назвал. Угол площади, где росли платаны, был переходом из моего мира в его. Когда я думаю об этом месте, представляю пасмурную погоду с обволакивающей ртутно-серебристой серостью ранней весны — таков для меня

цвет самого прошлого. С нашей стороны ведущая к площади улица была очень узкой и резко шла в гору, при этом левый тротуар располагался выше правого, и, когда я поднимался по более низкой стороне, мне казалось, что я вот-вот упаду. Вместо церковного шпиля и запаха цветков боярышника в качестве ориентиров я всегда использовал три золотых шара над ломбардом Вассермана — как они сохраняют такой яркий блеск, задавался я тогда вопросом, неужели сделаны из настоящего золота? — и теплый, приторный аромат ванили из кондитерской на углу площади. Большие дома стояли рядом на противоположной стороне, на стороне Вандера, за деревьями, — высокие, коричневые, с множеством труб; в морозной дымке зимнего утра крыши их становились мечтательно-бесплотными, как призрачные строения на заднем плане картин Мемлинга или Тинторетто. У них были ставни, кованые металлические балконы, высокие окна, позволяющие взглянуть на богатую жизнь внутри: светящаяся люстра, ваза с розами на антикварном столике, стройная женщина в шелковом платье стоит, согнув руку и вложив локоть в ладонь другой руки, курит сигарету и смотрит на мир сверху вниз с выражением ленивого неудовлетворения. Сама квартира Вандеров представляла собой череду высоких прохладных комнат, выкрашенных в серебристо-белый, греческий синий и насыщенно-красный цвета. В моих юношеских, голодных глазах все это убранство — парча и золоченая бронза, темное, сияющее дерево — представлялось воплощением вкуса и утонченной роскоши, хотя, полагаю, на самом деле это было обычное барахло состоятельного среднего класса. Вандеры не стремились скрыть свое богатство. Вандер-старший был торговцем бриллиантами — занятие, которое в любом другом городе показалось бы одиозным и экзотическим. Он был проницателен и очень осторожен, скрывая это за веселостью. Он много путешествовал — в Амстердам, Париж, Лондон — и, подозреваю, содержал любовниц не в одном городе: у него была привычка с мечтательной улыбкой поглаживать свои тонкие усики, что обычно служит верным признаком большого запаса сладострастных образов. Его жена была крупной, изнеженной женщиной, мягкой, как голубь, с большой, пышной грудью, широкими бедрами и широко распахнутыми, пугливыми, светло-голубыми, почти бесцветными глазами, от чего всегда казалось, что она удивлена или встревожена. Все называли ее Мама, даже муж. Аксель относился к родителям со снисходительным пренебрежением, притворяясь, что его забавляют их самодовольство и притязания. “Характерно для них, конечно, — говорил он и томно вздыхал. — Я знаю, что должен их ненавидеть, но не могу”. В этой квартире жили и родственники

Вандеров: тети, дяди, кузины и какие-то пожилые, робкие люди — все они старались не привлекать к себе внимания, будто опасались изгнания. Воскресными вечерами они устраивались в темных углах гостиной, вдумчиво слушая соло Мамаы Вандер, которое она исполняла под фортепьянный аккомпанемент мужа или Акселя — тот временами нехотя участвовал в этих представлениях. Она пела печальным меццо, опасно подрагивавшим на нижних нотах. Ей нравились приторные композиции Шуберта и Роберта Шумана. Во время этих концертов Акселя пробирала дрожь от смешанного чувства веселья и раздражения. Он был более чем сносным пианистом. Когда мы учились в школе, он пытался научить и меня одной или двум легким пьесам, но безуспешно. “О, ты безнадежен”, — говорил он и называл меня Хансвурстом, шутливо тыча в грудь. Он был прав. Я не мог удержать мелодию в голове, мои огромные пальцы — вылитый Хансвурст — переваливались по клавишам, будто огромные пригоршни сырых сосисок.

В те дни — я имею в виду, моя дорогая, дни более чем пятидесятилетней давности — семья Вандеров была для меня идеалом семьи — цивилизованной, элегантной, веселой, непринужденной, точно знающей свое место в мире. Я вижу себя среди них с пылающим лицом — точно простоватый юноша, приглашенный из толпы невзыскательных зрителей принять участие в сложной, блестящей комедии нравов, пусть и в небольшой, пассивной роли. Я не был рожден в погребке, как красиво выразился поэт, но наше жилище — я бы никогда не подумал называть этот низкий, темный лабиринт квартирой — было так непохоже на величественную обитель Вандеров. Наша семья не ужинала при свечах субботними вечерами, полными оживленных споров и шуток на разных языках, не наслаждалась и не мучилась воскресными концертами — крики, визги и звуки энергичных тычков, которыми обменивались мои братья и сестры, были нашим музыкальным сопровождением по выходным. Мы жили подземной жизнью — мне вспоминается нечто вялое, бурое, изможденное, спертый, затхлый воздух... Но я не хочу утомлять тебя воспоминаниями о моей семье. Дело не в том, что я все еще стыжусь их — у меня и без того много причин стыдиться, — а потому что... не знаю. Отец, мать, старшие братья, сестры — эти грубо слепленные прототипы на пути к моему созданию — и другие дети, которые всегда путались у меня под ногами, в моих воспоминаниях наделены причудливой, старомодной, сильно размытой наружностью, словно малознакомые люди на очень старых фотографиях; они застенчиво стоят, обеспокоенно улыбаясь, и не знают, что делать с руками. Среди них я был слишком большим во всех отношениях — настоящим

великаном, чья голова угрожала пробить дыру в их потолке; великаном, которого нужно кормить, ухаживать за ним, развлекать и держать подальше от окон, чтобы соседи не испугались, заглянув внутрь.

Вероятно, я бы думал о своей семье лучше или, по крайней мере, с большим теплом, если бы мы были действительно бедны, — я имею в виду бедных из гетто. В настоящих штетлах, которые находились рядом с местом, где мы жили, чувствовалась некая пустынная романтика, намек на палатку, трескучий огонь, скрипичную музыку и религиозное веселье — то, что совершенно отсутствовало у нас. У моей семьи даже имелись свои амбиции: отец тоже был торговцем, хотя и продавал не драгоценности, а поношенную одежду. Вандеры, конечно, принимали меня и даже уподобляли себе; я был другом Акселя и, следовательно, особым случаем, исключением из общей неприязни, с которой Вандеры относились к тем, кого в моем присутствии деликатно называли *вашим народом*. За ужином отец Акселя любил развлекать присутствующих придуманным им самим цирковым номером, в котором участвовала архетипическая пара — Моисей и Рахиль, — обе роли он играл по очереди; он таращил глаза, кланялся, напевал вполголоса, потирал руки, пока его жена, слезно смеясь, не кидала в него салфетку, крича: “Постыдись, Леон, постыдись, ты навлечешь Божью кару на наши головы!” И никому за этим столом — даже мне, в тех редких, особо памятных случаях, когда меня приглашали на обед, — не приходило в голову, что я могу чувствовать себя оскорбленным или униженным оттого, что, в конце концов, было всего лишь забавной пародией. Акселя тоже сильно забавляло, что на роль друга он выбрал представителя той самой расы, чье пагубное влияние на жизнь страны, по его словам, осуждал. Я говорю “по его словам”, поскольку не верю, что Аксель всерьез интересовался общественными делами, несмотря на его частые и воинственные заявления. Просто то, что не касалось его напрямую, не могло иметь для него глубоких, основательных последствий.

Он был красив, этот Аксель. Не симпатичен, понимаешь, а красив. У него была скульптурная, угловатая, слегка женственная наружность одного из французских киноактеров того времени. И он это знал. Он бережно относился к волосам и ногтям — подозреваю, он ходил к маникюрше — и одевался с нарочитой небрежностью настоящего денди. Я вижу, как он прогуливается по берегу озера в Нахтегаленпарке в Вилрейке воскресным утром, в широких льняных брюках, белой шелковой рубашке с открытым воротом, накинутом на плечи пуловере для крикета с рукавами, свободно завязанными на слегка впалой груди, — Вандеры были восторженными англофилами.

Темные очки сдвинуты вверх на приглаженную челку цвета полированной пшеницы — над этой челкой он, должно быть, не менее пяти минут кропотливо трудился перед зеркалом. Его девочки... как я завидовал ему, веренице его девчонок, начиная с раннего подросткового возраста. Он особенно нравился умным, серьезным девушкам, однако сам предпочитал продавщиц, секретарш, актрис и тому подобных; он всегда скрупулезно выбирал, кому позволить рассмотреть себя поближе. Завидовал ли я ему? Конечно завидовал, я хотел быть им.

В то же время я его немного презирал. За блестящими речами, очарованием, роскошной внешностью находилась целая сфера, заполненная пустотой, — бессодержательная, лишенная интеллектуальных убеждений и уверенности в себе. Иногда в его глазах можно было заметить настороженность, почти испуг — это был взгляд ограниченного существа, знающего, что в любой момент его возможности могут быть обнаружены и узость мышления раскрыта. Полагаю, он был самым обыкновенным дилетантом, соглашателем, хотя никто, тем более я, не осмелился бы сказать ему это. Но я продолжу, раз уж начал говорить: он не обладал острым умом, как он сам и многие другие утверждали. Он был одарен, не по годам развит, мог лениво, складно говорить, будто на что-то намекая, но это были всего лишь разговоры — не более того. Тем не менее ему пророчили великие дела, говорили, что он наделает шума в мире, я и сам утверждал это, но в глубине души знал правду. Он был способным юношей, быстро читал, обладал хорошей памятью, но идеи, стоящие мысли садились на мель в мелководье его интеллекта. Он был особенно чувствителен к поддразниваниям и всему, что имело привкус насмешки, даже если говорилось это любя, и был бдителен к любому проявлению пренебрежения. Если в компании ему казалось, что шутка, над которой все смеются, имеет отношение к нему, он застывал, хмурился, взгляд становился мутным, и он обрушивался на обидчика с силой и энергией дворового забияки, которому слабак неблагоразумно посмел перейти дорогу. Я был удручен, когда становился свидетелем этих мстительных вспышек, ибо, вместо того чтобы встать на сторону сбитой с толку жертвы, я поддавался порыву и поддерживал Аксея. Он был одним из тех красивых и ярких людей, ставивших свою значимость превыше всего остального, и мы не смели с ним спорить. Итак, родители баловали его, бедные родственники ему льстили, а мы безропотно сносили открытое пренебрежение, довольствуясь лишь тем, что находились в лучах его сияния. Знаю, знаю, что избранный мной покровительственный тон неубедителен. Я все еще чувствую зависть, горечь, неутолимое и беспредметное стремление, тревожное и

тщетное желание оправдать себя — все это кипит и беспорядочно клокочет во мне даже столько лет спустя.

Я не знаю, не могу вспомнить или же просто подавляю воспоминания о том, кто именно обратился к нему с просьбой написать те газетные статьи. Едва ли возможно, что посредником был я. Хотя в то время я и обивал пороги редакций, “Газетт”¹ вряд ли была среди них. Ее редакция была уверена, что вскоре наступит так называемый День единства — день, когда со всеми скрытыми врагами страны наконец-то будет покончено. Как и когда этот день наступит, они не знали, но зато знали, что должно произойти с врагами и кто эти враги, знали тоже. Редактор, Хендрикс, я забыл его имя, грузный, лоснящийся, с хриплым смехом и вороватыми глазками, в первые же годы этого грязного десятилетия, которое приближалось к гибельному концу, определил для себя направление развития, хотя в частных беседах открыто выражал презрение к нашему ближайшему, все более опасному соседу на востоке. В ранние часы, когда ночная смена заканчивалась и включались печатные прессы, Хендрикс устраивал прием для своей пишущей братии — прирожденных бойцов за национализм — в пивной “Стоф”, рядом с офисом “Газетт” на Националестрат, в старой доброй таверне, которая, как мне говорили, все еще существует, хотя воздух там, безусловно, навеки загажен духом Хендрикса и его банды. Там он садился в угол, стучал по столу оловянной кружкой, сплетничал, рассказывал анекдоты и, гогоча, брызгал слюной, его женоподобная грудь тряслась, словно ступень. Это Аксель привел меня туда. Полагаю, ему было любопытно посмотреть, как я поведу себя, как буду защищаться в этой беснующейся толпе. По большей части меня не подпускали к сути и держали в сторонке, где я кружил, голодный, как гиена, высматривая лазейку, через которую мог бы проскочить и вонзить зубы в дымящиеся внутренности того времени. Аксель то и дело поглядывал на меня с типичной для него очаровательной, кривой полуулыбкой — его забавлял мой энтузиазм, мое рвение. Мое присутствие несколько не смягчало жаростные толки и не сдерживало шутки Хендрикса о жидах — это было весело, все ведь крепкие парни, толстокожие и беспощадные, и, кроме того, выделять тех из нас, чье происхождение было... другим, вот это было бы действительно оскорбительным, не так ли? Как любил повторять Хендрикс, косо поглядывая по сторонам, дело не в расе, а в культуре — нашем великом европейском наследии. Разве не так? Да? Да? Стук оло-

1. Либеральная бельгийская газета, издается в Брюсселе с 1900 г.

вянной кружки, тучная грудь подпрыгивает. И Аксель кивал вместе с остальными, снова искоса поглядывая на меня из-под белесых ресниц, улыбаясь и слегка пожимая плечами.

Когда его статьи начали печатать, я, не буду отрицать, ему завидовал. Почему Хендрикс не пригласил меня писать для газеты вместо Акселя? Я был бы беспощаден к угрозе нашей — их! — культуре, которую якобы представлял мой народ. Да я бы это сделал! Я был лучше Акселя — безжалостнее, смелее, злее. Я бы продал душу, я бы продал *своих* за внимание публики, хотя эта публика и читала такую бульварную газетенку, какой была “Газетт”. Почему они обратились к нему, к Ариэлю, когда во мне могли бы найти усердного Калибана? Те полдюжины статей были слишком изысканны. Но так уж было заведено: люди, даже такие скоты, как Хендрикс, были очарованы сочетанием самолюбия и ложной скромности, этой притягательной атмосферой отстраненности и осведомленности, которая окутывала Акселя и в которую он уходил, как Заратустра в свое облако, оставляя после себя лишь тихий смех. Последняя из шести его статей стала для меня самым неожиданным и изощренным оскорблением. Она была написана в форме интервью со мной — со *мной!* — как с типичным представителем инакомыслящей молодежи. Он написал не только вопросы, но и большинство ответов и совершенно извратил некоторые мои взгляды. Почему я это допустил, почему позволил говорить за себя? Малодушие, малодушие, малодушие — нет ничего хуже, чем изменять самому себе. Когда появилось так называемое интервью и я увидел наши напечатанные бок о бок фотографии, я был позорно и невыразимо горд, хотя в то же время с детским удовлетворением отметил, что фотография Акселя была неудачной — он был на ней каким-то изможденным, тревожным, — и его имя напечатали с опечаткой.

Тем не менее, несмотря на все мои возражения, я с горечью был вынужден признать, что он более убедителен, чем мог бы быть я. Именно сдержанность, скрупулезность и настойчивость придавали его *фельетонам* силу. Я бы стал разглагольствовать, насмехаться, разбрасываться оскорблениями под пронзительные раскаты притворного мефистофельского смеха. Уравновешенность и расчетливая отстраненность стиля Акселя с его непревзойденным блеском патриция и вспышками скрытого остроумия — чтобы оценить шутки Акселя, частенько приходилось перечитывать текст несколько раз, — дворянское высокомерие, ощущение, что все это он пишет лишь потому, что исторический долг посадил его за стол и вставил в руку перо, — вот что делало его таким эффектным или сделало бы, будь у него серьезная аудитория, а не отбросы общества, что читали “Газетт”, шевеля губами при чтении. Что они могли вынести из его

призыва к *эстетизации жизни* или из совета *избегать своего “я”*, *сублимируясь в тоталитарной этике*? А вот музыкой для их толстых ушей, простой и воодушевляющей, как марш, должен был стать его совет — тут можно услышать один из нарочито громких вздохов Акселя, прошелестевших, как ветерок в траве, — что культурная и интеллектуальная жизнь Европы ничего не потеряет, если некоторые, как считается, ассимилированные, восточные элементы будут изъяты и переселены куда-нибудь подальше — может, в степи Центральной Азии или на берег Африки с мягким климатом.

Таблетница Мама Вандер была первой украденной мною вещью — удивительно острое ощущение, — хотя, конечно, тогда я не считал это воровством: я не своровал — я позаимствовал. Я увидел ее в украшенной портьерами прихожей квартиры Вандеров, она лежала на краю пьедестала с бюстом Гёте, куда Мама Вандер положила ее мимоходом и забыла, — серебряный отблеск привлек меня, будто подмигивание. Я сунул таблетницу в карман, не задумываясь и даже не остановившись. Мне нужны были деньги, и поскорей, чтобы купить книги, пока их еще не запретили или не отправили на костер. Я хотел рассказать Акселю о том, что я сделал, после того как выкуплю таблетницу из ломбарда, думал, что это его позабавит, но рассказывать не стал. Промолчать меня заставило чувство тяжести, но не тяжести моего проступка, а самой вещи: украденный предмет, как я выяснил, обретает таинственный вес — становится намного тяжелее, чем был изначально. Эта маленькая коробочка — в ней было всего лишь несколько засахаренных фиалковых пастилок, к которым испытывала слабость ее владелица, бывшая владелица, — оттянула мой карман, да так, что меня повело в сторону, когда я поспешил прочь с добытым трофеем. Я не замедлил от нее избавиться. Оказалось, что это ценная французская вещь начала восемнадцатого века; когда я вернулся выкупить ее, я видел, что старый Вассерман не хочет с ней расставаться. После этого я хранил ее много лет, пронес через всевозможные превратности и потери, и хотя со временем она потеряла былую символичность, своей необъяснимой, аномальной тяжести не утратила. Теперь она куда-то исчезла тем таинственным, необъяснимым образом, каким предметы ускользают из рук рассеянного владельца.

Это был мой последний визит в квартиру Вандеров. Кража не была причиной моего изгнания; я не уверен, что пропажу вообще заметили, а если и заметили, вряд ли обвинили меня. В те дни вторжений, поражений, оккупаций — всех этих головокружительных катастроф, которые быстро стали называться просто *событиями*, — Вандеры больше не стремились видеть

меня в числе своих гостей. Разумеется, вслух ничего сказано не было, но, когда я входил в эти просторные, жарко натопленные комнаты, возникало некое стеснение, которое не могло не уловить мое обостренное чутье. Поэтому я посещения прекратил. Разрыв прошел с соблюдением всех приличий, никто будто не обратил на него внимания. Любопытно, как быстро свыкаешься даже со столь жестокими и разрушительными событиями, как возникают новые правила приличия. В первые дни после того, как все потонуло в *tes les événements, de gebeurtenissen*¹, которые были необратимы и с которыми так или иначе приходилось мириться, оставалась полуулыбка — косящая, грустная, болезненная, люди обменивались ей в трудные минуты, возводя глаза к небу, когда объявляли очередной сумасбродный указ, ограничивающий передвижения или собрания людей, либо налагающий еще большие поборы чаще всего на ту часть общества, к которой относился я. Поначалу эти меры вызывали только раздражение. Мы терпели их, ибо у нас не оставалось выбора, но при этом старались сохранять хотя бы видимость презрения к ним. Однако, по прошествии месяцев, жизнь на этих улочках все более ослабевала, и наше состояние становилось все более подвешенным. Появилось ощущение, что мы парим в воздухе, что нас бросает ветром перемен то в одну, то в другую сторону и хрупкие нити, удерживающие нас, натягиваются все сильнее с каждым изданным против нас постановлением. Мы становились все легче и легче, поскольку все, что у нас было, у нас отнимали, указ за указом. Сегодня нам запрещали ездить на трамвае, завтра — на велосипедах. Однажды утром, в понедельник, каждой семье было предписано сдать столько-то мужских костюмов, женских платьев, детских пальто; в полдень приказ был отменен без объяснения причин и издан снова на следующий же день. Нам сказали, что мы не можем больше держать домашних животных; была середина зимы, несколько дней вереницы людей пробирались пешком — помните, никаких трамваев — по заснеженным дорогам к назначенному месту на окраине города, где наши собаки, кошки и волнистые попугаи должны были умереть. Однако жизнь продолжалась. Были театры, концерты, лекции, общественные собрания, а когда и все это стало для нас недоступным, остались кафе, где мы могли встретиться и поговорить; когда и разговоры были запрещены, оставалось радио, откуда, потрескивая, долетали новости издалека. Музыкальные передачи я особенно любил; они долетали из Штутгарта, Хилверсу-

1. Событиях (*фр., нидерл.*).

ма, Парижа, иногда даже из Лондона, если везло с погодой. Да, это была всего лишь музыка, но как странно волновало меня движение публики — всех этих людей, столь далеких, но в то же время волшебным образом находящихся здесь; их присутствие было столь осязаемым, что я будто сидел среди них. Даже сейчас, когда по концертному залу разносятся издаваемые нетерпеливой публикой звуки, я немедленно переносусь на полвека назад, в маленькую гостиную с обоями, скатертью с точками, абажуром цвета высохшей кожи и большим деревянным радиоприемником с матерчатой решеткой и с зеленым, будто кошачьим, глазом, который пульсировал и сжимался; размытая помехами музыка струилась по комнате, заполняя ее, словно мерцающий туман. В то же время я ненавидел эту публику — они казались мне такими непринужденными, такими беспечными и безразличными ко всему, что у них есть, в отличие от меня, вокруг которого, крадучись, смыкался мир, вооруженный дубинками и пылающими факелами.

Мы с Акселем продолжали встречаться, не так часто, как раньше, вдали от его дома, вдали от “Стофа” и, разумеется, вдали от жителей штетла. Мы встречались на нейтральной территории, пока еще оставалась территория, которую можно было назвать нейтральной. Его отношение ко мне — по крайней мере, в первые дни *de gebeurtenissen* — было любезным, с оттенком нетерпения и сдерживаемого раздражения. Он небрежно похлопывал меня по руке и осуждал за чрезмерную тревогу в связи с моим положением и положением моего народа. “Да, да, да, — говорил он, хмуро улыбаясь и помахивая рукой, — я в курсе, я ведь тоже читаю газеты”. Но, конечно, продолжал он, конечно, я должен согласиться, нужно какое-то решение, так продолжаться не может. И даже если бы людей куда-то отправили, разве это было бы так уж плохо? Они могут благоденствовать в климате, более подходящем для их темперамента и расы. В любом случае вышлют только смутьянов и, возможно, больных, очень старых, сумасшедших, сифилитиков. Их отправят в Гельголанд, в Татры; Хендрикс сказал ему, что на прошлой неделе тысячу человек посадили на корабль в Хук-ван-Холланде и отправили в Южную Америку. В любом случае, сказал Аксель, чего я так волнуюсь? Я в безопасности, я его друг. Разве наши фотографии не печатались бок о бок в “Газетт”? Что я мог ему на это сказать? Разве мог он понять мои чувства, когда я рискнул выйти за пределы нашего района, сгорбившись и прячась за собственной тенью, когда шел по одной из его улиц, сидел в одном из его кафе и слушал его раздраженный, поучительный голос: это, дескать, моя проблема, проблема моих соплеменников — вся эта истерия, страхи, жалобы, непрерывный скулеж

пинаемой собаки; почему мы не подумали о последствиях до того, как просочились повсюду: в банки, в суды, правительственные учреждения, и те не заполнились до отказа нашим пронырливым выводком? Все было совершенно просто, совершенно очевидно. Что-то нужно было делать, как он всегда и говорил, — и теперь это было сделано. Как мы могли не заметить того, что грядет, пока это “то” не явилось, лязгая и дымясь? В любом случае скоро со всем этим будет покончено. Он не отрицал, что все плохо и будет еще хуже и что, скорее всего, последний акт будет кровавым. “Как и всегда” — белая вспышка его маленьких, квадратных зубов. Но когда все тела за пятки оттащат за кулисы — какой чистой, свободной и полной возможностей станет эта пустая сцена! Говоря все это, он спокойно смотрел мне в глаза, слегка покачивая головой и улыбаясь так, будто рассказывал ребенку сюжет трагедии, который только взрослые могут понять. Вероятность того, что режиссеры и постановщики всей этой драмы могут в конечном итоге разрушить весь театр, даже не приходила ему в голову. Мне было стыдно — да, действительно, было стыдно и за себя, и за него. И, заметьте, это был тот самый Аксель Вандер, чья монография о Гейне, написанная им в семнадцать лет, заставила не одного мудрого профессора бормотать себе в бороду о появлении нового Гофмансталя¹. Что бы я сказал, если бы он, наконец, пришел в себя и увидел, *чем* на самом деле является все это безрассудство и гнусные фантазии? Он связался с такими фанатиками и варварами, что даже те из них, кто казался наиболее разумным, в одно мгновение могли превратить культурную беседу в крикливую клоунату. Эти люди так любили раздражаться гневными тирадами; лоб краснеет, глаза стекленеют, бычья голова наклоняется вперед. Женщины лишь усугубляли мужскую ярость своей истерией и сексуальным отвращением. Как-то раз я лежал в постели с актрисочкой — фарфоровое личико, коротко подстриженные волосы, рот, словно алое насекомое, одна из бывших подружек Акселя, — в самом разгаре событий она вдруг остановилась и поднялась, руки скрещены, маленькие грудки дрожат от возмущения, и стала с негодованием рассказывать о том, как прошлым вечером какой-то *vuile jood*² в пальто с меховым воротником заговорил с ней у ведущей со сцены двери и предложил ей деньги за то, чтобы она пришла к нему и занялась с ним тем же, что она делает сейчас, здесь, в этой постели, с одним из соплеменников того наглеца.

1. Австрийский поэт, драматург, критик.

2. Мерзкий жид (*нидерл.*).

И все же, и все же... Как часто в своей жизни я говорил эти слова — *и все же*? Но сейчас я должен рассказать все. Дело в том, что часть меня была на стороне Акселя. О да. Вот он — мой самый потаенный, самый грязный секрет. В глубине души я тоже хотел увидеть расчищенную сцену, подметенные доски, запуганную и ошеломленную публику. Все это было из любви к идее — понимаешь, единственной, темной, сияющей идее. Эстетизируйте, эстетизируйте! Таков был наш клич. Разве наш любимый философ не постановил, что человеческое существование может быть оправдано лишь как эстетическое явление? Мы устали от простой жизни, от всего этого беспорядка, растерянности, слабости. Все нужно было переделать — переделать или уничтожить. Мы бы — я бы — пожертвовали чем угодно ради преобразующего огня. Я шепчу: *пожертвовал бы и сейчас*. Я надеялся, что люди, превратившие мой народ в пепел, победят; я все еще жалею, что они проиграли. Ты шокирована? Я хотел видеть победителями не этих кривляющихся скотин — к ним, людям вульгарным, если их можно назвать людьми, я чувствовал лишь отвращение, — но Идею, которую они бесчувственно вынашивали, как деревянный конь с его затаенной аргосской силой. Видишь, моя Кассандра? Нечто незаконно ввели в мир, нечто ужасное и истинное, чему нужно было позволить победить любой ценой. Истинное: да. Ложь была необходима. Со временем ее бы отбросили вместе со лжецами. Только пусть Идея восторжествует, пусть начнется великое обновление!

Ты спросишь, как я совмещал ужасы повседневной жизни с этим мрачным стремлением к апокатастазу? Ведь мой народ пребывал в страхе, и я в том числе. Страх по большей части — ощущение преходящее, он вспыхивает в темноте, при мысли о смерти: на пустой дороге ночью, при угрозе пожара или наводнения; животное, называемое человеком, не приспособлено к постоянной жизни в страхе, организм не может такое выдерживать. И все же в течение двух лет мы почти всегда испытывали страх, в большей или меньшей степени. Страх горел в нас, не угасая. Иногда это был не более чем тлеющий уголек, застрявший где-то у основания грудной клетки, а иногда вдруг вспыхивал ярким пламенем, оставляя лишь кучку горячей золы. Это были два полюса нашего существования: всепоглощающий, непреодолимый ужас и своего рода липкая апатия с промежутками бессмысленной ярости между ними. Лихорадочная надежда перетекала в изнеможение и безразличие; утром, раскрыв газету, мы могли быть преисполнены волнительной надежды, а вечером застывали с пустыми глазами в ступоре, словно наркоманы в опиумном притоне. Головные боли, желудочные спазмы, непрерывное урчание в животе — так протестовал организм

против невыносимого напряжения, порожденного жизнью в постоянном страхе. Мы не могли сдерживать эмоций. Малейшее проявление доброты, малейший сочувственный кивок мог поставить нас на колени в унижительной признательности. Мы не могли сдерживать вздоха благодарности, если кто-то из властей решал повременить с исполнением тривиального указа. Я ловил и себя на этом вздохе, даже в отношении Акселя, в тех случаях, достаточно редких, когда он выражал негодование по поводу особенно вопиющего образца узколобой жестокости, облеченного в форму очередного указа. Однако его вопросительный взгляд и безмолвный отказ от моей немой благодарности был таким же резким отпором, как и бесцеремонный толчок в грудь кого-то другого.

Несмотря на все сказанное, я не думаю о нем плохо. Я бы, наверное, плакал, когда он умер, — по крайней мере, от шока, если бы только умел плакать.

Я узнал о его смерти из газеты, из пары абзацев на страницах “Штандарт”. Возможно, именно обстоятельства, в которых я узнал эту новость, помешали мне сразу осознать прочитанное. Я сидел на скамейке в парке, в пальто и шарфе, и уже собирался уходить — осенний день пронизывал холодом, — когда раскрытая газета, которую я держал в руках и уже собирался складывать, вдруг превратилась в крылатого посланника, что принес мне затерявшееся в газетных столбцах имя Акселя. Моя первая реакция была типична — должно быть, это ошибка или даже розыгрыш — и сопровождалась странным, приподнятым чувством в груди, каким-то ужасающим возбуждением. Ничего не соображая, я перечитал эти строки еще раз. Сказанное в них было возмутительно и, как мне показалось, намеренно расплывчато. Создавалось впечатление, что он умер насильственной смертью, но случайно или от руки другого человека — было непонятно. Анонимный репортер тщательно подбирал слова — трагическая кончина, потрясенные друзья, большая потеря для... — будто ему посоветовали действовать осторожно, и он давал своим читателям тот же совет. Я вскочил со скамейки, свернул газету, сунул ее в карман и быстро вышел из парка, натягивая поднятый воротник пальто на подбородок и сопротивляясь желанию броситься наутек. Я чувствовал себя виноватым, будто каким-то образом был причастен к смерти Акселя. Передо мной угрюмо, медленно надвигалось с запада огромное, темносинее облако.

Я выбросил “Штандарт” и пошел искать “Газетт”. Время было позднее, и первый газетный ларек, на который я набрел, был тот, что держал старик с зобом, на углу Марии-Терезии, — Боже, я вижу его ясно как день: перчатки с отрезанными паль-

цами, шерстяная шапка-ушанка, которую он всегда носил, — и он, что-то ворча себе под нос, с трудом извлек из-под груды потрепанных журналов последний, по его словам, экземпляр вечернего выпуска. Я взял у него газету и быстро сбежал, словно крыса с украденным кусочком лакомства. Завернув за угол, я остановился и просмотрел все страницы один, два, три раза — об Акселе не было ни слова. Я словно знал, что будет именно так, и этот факт меня удивил. Я пошел в редакцию “Газетт” поговорить с Хендриком. Не знаю, чего я от него ждал: я не видел и не слышал его полтора года, может, и больше. Я долго ждал в приемной. Знакомые запахи газет, чернил, бумаги вызвали во мне ностальгические рыдания, возможно, соединившись со скорбью по моему мертвому другу, которую, как мне казалось, я не могу испытать из-за сильного потрясения. Девушка за стойкой, которая принимала рекламные объявления, сделала вид, что меня не знает, хотя раньше мы с ней флиртовали. Я пролистал уже высохшие и ломкие страницы газетных выпусков прошлой недели, скрепленные большими деревянными зажимами. Газетчики, посвистывая, вбегали и выбегали. Безумная старуха вошла с улицы, что-то крикнула и снова вышла. Гонимые ветром хлопья мокрого снега бились в окна. Я вспоминал нашу поездку в Арденны, которую мы совершили с Акселем перед войной, и маленькую таверну, на которую набрели дождливой ночью, мы с ним сидели в этой таверне и пили сливовый бренди при свете камина, он рассказал о планах написать исследование по эстетике Кольриджа — как полон он был энтузиазма, как сияли его глаза при свете пламени; как молодо он выглядел, каким юным он был, да и я тоже. Он умер слишком рано, не успев написать книгу, и, когда, годы спустя, я попытался это сделать — написать за него, если угодно, — мне это не удалось.

Хендрикс вниз так и не спустился — послал спроводить меня одного из своих заместителей. Я помнил лицо этого парня по тем вечерам в “Стофе”, но никак не мог вспомнить его имени. Я видел, что и он меня вспомнил, — у него хватило приличия не смотреть мне в глаза. Он был толстым, как и его босс, и, задыхаясь, стоял, прислонившись к стойке и прижав руку к груди. Когда я спросил, знает ли он об обстоятельствах смерти Акселя, он лишь пожал плечами. Все очень запутанно, сказал он, никто в точности не знает, как это случилось. Я схватил его за руку, но он лишь покачал головой и повторил то, что уже сказал. Его раздражительный, отрывистый тон дал мне понять, что “Газетт” не хочет ассоциировать себя с этой смертью — в конце концов, одной из многих. Девушка за стойкой смотрела в сторону и постукивала карандашом по зубам, делая вид, что не слушает. Я вышел и уныло побрел по улицам. Снег прекратился, но

пузатое, лиловое небо нависало над городом, обещая сильный снегопад. У вокзала стоял броневик, спереди сидели, свесив ноги, трое солдат-подростков в больших, не по росту, шинелях, словно трое прогульщиков, катающихся на лодке по пруду. А дальше, возле Стадс-парка, три мертвые девушки в тоненьких подпоясанных пальтишках с рваными отверстиями от пуль — жуткие двойники тех прохлаждающихся солдатиков — были привязаны к ограде с болтающимися на шее плакатами с какими-то намалеванными на них словами — читать, что на этих плакатах написано, не хотелось; я подумал о мертвых воронах, чье иссиня-черное оперение подкрашено запекшейся кровью — мой дед когда-то давно привязывал этих ворон к заборам кукурузных полей, чтобы отпугнуть их сородичей.

Я так и не узнал, как умер Аксель. Я хотел спросить у его близких, даже несколько раз приходил и стоял под деревьями на площади, глядя на окна квартиры Вандеров, но каждый раз подводили нервы. Затем они уехали, по крайней мере, так мне показалось: в последний раз, когда я прокрался к их окнам, внутри не было признаков жизни, ни горячей лампы, ни вазы с цветами — только сломанная, криво свисающая рулонная штора. Я расспрашивал общих знакомых, но они либо отказывались со мной говорить, либо утверждали, что знают о случившемся не больше меня. Поползли нелепые слухи. Некоторые были слишком абсурдны, чтобы им верить, например, что он, расставшись с любимой девушкой, покончил жизнь самоубийством. Подумать только, Аксель повесился, да еще и из-за женщины! Другие слухи были чуть правдоподобнее, но и им верилось с трудом. Например, говорили, что он вовсе не умер, а по ошибке был задержан с группой коммунистов, интернирован в Бреендонк, и отец пытается добиться его освобождения. Один журналист, мой хороший знакомый — в прошлом хороший знакомый, — которого я как-то раз поздним дождливым вечером встретил на улице, пьяного, с безумным взглядом, с мокрым от дождя или слёз лицом, схватил меня за грудки и стал уверять плаксивым шепотом, что Аксель был вовлечен в конфликт между военными группировками, дело закончилось кровопролитием, и он был застрелен, а его тело брошено в безымянную могилу. В то время подобные истории витали в воздухе, о ком только тогда не говорили. Самой потрясающей из услышанных мной версий об исчезновении Акселя стала, однако, героическая сага, рассказанная мне одной из его бывших подружек морозным утром в кафе на Гронплац, он, по словам подружки, был предан, арестован, подвергнут пыткам и казнен без суда и следствия за ведущую роль в подпольной ячейке Сопротивления. Вид у этой Моники с глазами-блюдцами был такой печаль-

ный и торжественный, а подкрашенный розовым воздух снаружи был так тих, так холоден и прелестен, что я мог лишь молча кивать, стараясь не рассмеяться. Однако много лет спустя, в Аркадии, однажды вечером, на отвратительном университетском ужине, напротив меня оказался иссохший старик с пеплом на жилете и супом на галстуке, ученый из старой Европы, валлонец, который, услышав мое имя, сильно разволновался и радостно меня приветствовал как бывшего соратника. На месте его, должно быть, удерживала моя отвратительная, выжидающая ухмылка, и я смог изучить его потрепанное временем лицо: впалые щеки и выпяченные губы любителя виски, влажные, слезящиеся глаза, бледный череп, гладкий и куполообразный, как шляпка гигантской поганки. Я пытался узнать в нем человека, которого я знал когда-то или, по крайней мере, встречал в компании Акселя. Но в сумрачной галерее моей памяти такого бюста с проваленными глазами не обнаружилось. И что же он думал, старый дурак — если он действительно знал Акселя и теперь считал меня им, — что сорок лет прибавили фут или около того к его росту и превратили профиль кинозвезды в профиль престарелой ломовой лошади? Чем более обескураживающе-безразличным я становился, тем более взволнованным становился он; переходя с комичного английского на ужасный макаронический французский, он неуверенно протягивал руку через стол, пытаясь сжать мою, убегающую, словно краб, и, повысив голос, вспоминал о *les beaux jours d'antan aux Pays-bas*¹, когда, плечом к плечу с нашими *amis ardents*², мы устроили хаос в военном хозяйстве вторгшихся к нам *sale Boches*³. Я бы обеспокоился, если бы он не был столь карикатурен; так или иначе, я как можно скорее ускользнул от его удушливого внимания, вышел на улицу и двинулся через кампус в благоуханной темноте под эвкалиптами, в сопровождении энергичного и резкого стрекотания сверчков, гадая, стоит ли на следующий день пригласить старого воина на прогулку в горы и столкнуть его в пропасть. Однако, когда на следующее утро я прибыл в Спрэг-холл послушать его выступление, объявление на двери гласило, что ввиду непредвиденных обстоятельств лекция профессора де Беккера отменяется. Оказалось, что во время завтрака в столовой колледжа профессор с похмелья вступил в препирательство о справедливости концепции коллективной совести Дюркгейма с обучавшимся на факультете молодым турком и так

1. Прекрасные дни прошлых лет в Нидерландах (*фр.*).

2. Закадычные друзья (*фр.*).

3. Грязные боши (*фр.*).

разгорячился, что у него случился инфаркт, и он упал замертво, уткнувшись лицом в стол, среди кофейных чашек и тарелок с мюсли. Мне всегда дьявольски везло.

Я долго не мог свыкнуться с мыслью о том, что Акселя больше нет; на самом деле, я до сих пор с ней не свыкся. Хотя это было так просто — в те опасные годы жизнь частенько казалась еще менее вероятным событием, чем смерть. Тем не менее, в случае с Акселем, смерть выглядела какой-то... неуместной. Конечно, любой может внезапно умереть. Любимое дитя, цирковой силач, дева Кранаха — жизнь каждого висит на волоске. Однако когда проходит первый шок, мы начинаем видеть даже в самом маловероятном исчезновении неизбежность, которая всегда незримо присутствовала, — зародыш смерти, неуклонно растущий до момента своего рокового появления. Полагаю, привидениями становятся люди, чья жизнь обрывается преждевременно. Но на роль призрака Аксель подходил плохо. Ему суждено было жить. Ранняя смерть была чем-то слишком серьезным, слишком тяжелым, чтобы с ним случиться. Поэтому я возвращался снова и снова к диковинным слухам, прокручивая эти слухи в голове. В частности, я никак не мог забыть театрально-слезливый рассказ Моники о его причастности к Сопротивлению — кстати, к Сопротивлению, о котором в то время почти не слыхали. Могло ли это быть правдой? Могло ли ею сказанное быть искаженной и мелодраматизированной версией того, что действительно произошло? А история о его ошибочном интернировании? Мог ли Аксель действительно быть замешан в каком-то безумном подвиге, за который его схватили и бесцеремонно пустили ему пулю в лоб? Неужели я в нем ошибался и все эти годы он скрывал от меня свои истинные убеждения? Беда мертвых в том, что они уносят свои секреты в могилу. Когда я пытался представить, как Аксель стоит плечом к плечу с кучкой верных соратников-партизан где-нибудь в наполненном табачным дымом подвале, изучает карту при свете мерцающей свечи и говорит: «Мы перехватим конвой *здесь*», картинка выглядела нелепо, и все же я должен был признать, что подобная авантюра была в духе Акселя, любившего вообразить себя Байроном или Пимпернелом¹. Я понимаю, в сколь двусмысленном положении я оказался! Если, несмотря на комичную неправдоподобность этого предположения, он действительно был не-

1. Псевдоним Перси Блейкни — персонажа классического приключенческого романа «Скарлет Пимпернел» (1905) английской баронессы Эммы Орци. Действие разворачивается во Франции во время Великой французской революции, когда происходили массовые казни. Персонаж спасает от гильотины и переправляет в Англию французских аристократов.

воспетым героем, насколько пикантным становилось мое положение! Я бы тогда подобно персонажу одного из третьесортных, так называемых философских романов, столь популярных в наполненные призраками послевоенные годы, оказался человеком, который примеряет на себя личность грешника, не зная, что тот, за кого он себя выдает, был на самом деле святым.

Принимая во внимание эту возможность — я имею в виду, что он мог быть мучеником Сопротивления, — хотя бы учитывая ее, ты спросишь, почему же я всегда так боялся разоблачения? Должен сказать, что и сам этого не понимаю. В конце концов, я всего лишь взял имя покойника во времена смертельной опасности и крайней нужды. Я не взял или, вернее, не позаимствовал ничего, кроме его имени, но ведь и здесь смерть меня опередила. Какая мне польза от этой полувековой лжи? Репутация Акселя Вандера создана мной. Именно я проложил себе путь к этому почетному месту. Я писал книги, получал премии, льстил тем, кому надо было льстить, расправлялся с соперниками. Чего он добился сам, какое наследие оставил? Несколько монографий, несколько довольно глубоких по содержанию статей в маленьких журналах, горстка недооцененных стихотворений. Он был талантлив, я признаю это, или, если быть совсем точным — “манерно-изыскан”. А еще ведь были эти статьи в “Газетт”. Как насчет них? Хотя написал их он, этот потускневший золотой мальчик, теперь за них отвечаю я. Я скрывал их от мира так долго ради него, по крайней мере отчасти, пока ты, моя любопытная кошечка, на них не наткнулась. Ты наверняка не поверишь, но, когда я с опозданием осознал, что, забирая его имя, я принимаю ответственность и за его поступки, я заключил с собой договор: в случае обнаружения моего самозванства, я объявлю, — можешь себе представить! — что это я, а не он написал эти проклятые статьи, и что это я убедил его подписать статьи своим именем, ибо иначе Хендрикс не опубликовал бы их в “Газетт”! Смейся сколько угодно, но у меня есть свой, особый, кодекс чести. Если бы ты раскрыла миру мой обман, меня бы осудили за то, что я покинул свой народ, предал свою расу. Мне бы сказали, что для избавления от личности, которой я стыдился, я занял место мелкого чудовища, чьи гнусные убеждения могут быть раскрыты и приписаны мне. Возможно, это правда. Но все же, если все это было не более чем трусливой попыткой отбросить свое прошлое и народ, которого я стыдился, попытка эта провалилась. Прошрое, мое собственное прошлое и прошлое чужое, все еще здесь, в тайной комнате, во мне, словно одна из тех потаенных комнат за фальшивой стеной, где целая семья могла скрываться годами. В тишине, в одиночестве, я закрываю глаза и слышу их: мыш-

ная возня самых маленьких, шепот взрослых, их вздохи. Как они замирают, когда приближается опасность. *Шии!* Что-то скрипнуло. Детский плач тут же заглушается. Кто-то приставляет ухо к стене, палец поднят, предупреждая, а другие в это время стоят неподвижно, не дыша, с огромными, полными страха глазами. Свет, словно скальпель, пронзает трещины в штукатурке. Внизу, во дворе, работают моторы, сапоги печатают шаг по холодным бульжникам. Вдалеке раздаются крики и плач. Я поднимаю веки. Вдох облегчения. Они ушли, ушли.

Кстати, я видел сон прошлой ночью или этим утром; так или иначе, недавно. Я только что вспомнил о нем. Рассказать тебе? Собственно, это не весь сон, а то, что я запомнил, — лишь фрагмент длившейся всю ночь саги; большая ее часть улетучилась. Как это часто бывает со сновидениями, кажется, что его значимость велика, хотя я и не могу сказать, в чем она заключается. Я стою в темноте, на высоком утесе; я знаю, что утес высок, поскольку воздух морозный и очень чистый. Я чувствую, что передо мной пропасть, а внизу огромная, простирающаяся вдаль равнина. Молния судорожно освещает далекий горизонт. Ничего не происходит. Я просто стою на краю этой темной беспредельности, словно Данте, ожидающий прибытия Вергилия. Затем из тьмы — позволь мне отметить ветхозаветное звучание этих выражений — раздается могучий голос, может быть, голос самого Яхве. *Здесь, говорит он, здесь погребены все Авраамы и Исааки — вот их могила.* Это все, что я помню: тьму, высоту, смутный горизонт и этот голос. И великое чувство скорби, вызванное, однако, не горем или утратой, а ощущением какой-то грандиозной и ужасной трагедии, которую невозможно предотвратить.

Нет, на похоронах Акселя я не был. Я знал, что мне не будут рады, что мое присутствие вызовет неловкость и, возможно, навлечет на их семью опасность. Я не знаю, когда были похороны и даже где. Теперь я думаю, что должен был прийти, чтобы увидеть его погребенным. Говорят, что близкие пропавшего без вести не находят покоя и горе их не утихает, пока не прольется свет на судьбу любимого человека и не обнаружится место его захоронения. Я не хочу показаться высокопарным, но, когда оглядываюсь на свою жизнь, вспоминаю нервное возбуждение и суицидальные наклонности и задаюсь вопросом: мог ли я все это время пребывать в состоянии отложенного траура по моему другу? Я кажусь слишком хорошим, слишком преданным? Наверное, да. Но, безусловно, глубоко во мне скрыто нечто мне непонятное, природу чего я ощущаю лишь интуитивно. Будет слишком очевидно, если я скажу, что это другое “я”, — разве, как и все, как и ты, в особенности как и ты, моя дорогая,

я не собран из легиона этих “я”? — но все же это единственный способ описать подобное ощущение. Это отдельное, затаенное “я” — жертва страстей и эмоций, которые меня не касаются, за исключением тех случаев, когда я являюсь каналом, проводящим эти эмоции. Оно настораживается при любой пошлости, любой банальности — его притягивает все сентиментальное. Закаты, мысль о потерявшейся собаке, слезливо-вялая симфония, любая затрепанная вещица — все это может заставить заиграть внутри похоронный органчик. Я иду по улице и слышу вдруг обрывок какой-то дрянной мелодии, льющейся из открытого окна спальни подростка, — внезапно внутри меня набухает огромный горячий пузырь чего-то похожего на боль утраты, и я спешу прочь, опустив голову, с трудом проглатывая удушающий ком горечи. Нищий подходит ко мне, беззубый и дурно пахнущий, и у меня возникнет желание широко развести руки, притянуть его к себе и раздавить на моей груди в горячих, братских объятиях, но вместо этого я, конечно, проскальзываю мимо, отводя глаза от его страданий и крепко сжимая в карманах кулаки. Может ли источником всплесков непрошенных и, конечно же, ложных эмоций быть утрата почти полувекковой давности? Неужели я так сильно любил Акселя? Возможно, я скорблю не только о нем, но обо всех мертвых, собравшихся в подземном мире внутри меня и слабо требующих жизни. Но почему я считаю себя особенным — у кого нет своего наполненного теньями Аида?

Да, мне следовало пойти на похороны Акселя и увидеть его погребение, хотя бы для того, чтобы с ним расстаться. Даже когда внутри я наконец поверил, что он действительно умер, в сердце, в каком-то укромном уголке все еще оставались сомнения. Я вспоминал пустые окна дома Вандеров; была ли связь между его исчезновением и внезапным отъездом его семьи? Почему заместитель Хендрикса был так уклончив, когда я расспрашивал его в “Газетт”? Может, он что-то знал, но не решился сказать? По сей день я задаюсь вопросом со смешанным чувством беспокойства и трепетного волнения: а вдруг Аксель не мертв, а живет где-то, по какой-то причине скрывается и существует, как и я, под другим именем, возможно даже моим? Вот это была бы шутка! Может быть, тогда он совершил преступление, о котором никто не знал и которое было настолько постыдным, что даже сейчас он не может выйти из тени и в нем признаться? Если и так, то это должно быть нечто гораздо серьезнее той горстки статей в “Газетт”, ибо даже в старости Аксель смог бы очаровать мир, добившись прощения своих мелких грешков. Или это моя узурпация его личности мешала ему все это время — возможно, он испытывал угрызения совести

или боялся показаться дураком, — не хотел претендовать на имя и даже на жизнь, принадлежащие ему по праву? Признаюсь, эта мысль приносит мне некоторое низменное удовлетворение. Не могу сказать, что мне не доставляют радости мысли об Акселе — со всем его остроумием, находчивостью, уверенностью, красотой, — томящемся в безвестности пятьдесят лет, истерзанного разочарованиями и неудачами, пока я расхаживал по мировой сцене, делая себе имя.

Нет, я знаю, что это невозможно. Рано или поздно я получил бы от него весточку — Аксель не исчез бы вот так, не похваставшись однажды, хотя бы передо мной. Тем не менее, время от времени, многие годы я ощущал мурашки на шее, будто кто-то шпионит за мной, тихо посмеиваясь, — будто кто-то со мной играет. Конечно, в день отъезда кто-то за мной присматривал, хотя я и не утверждаю, что это был Аксель. Макс Шодейн, например, мог дергать за ниточки. Я вспоминаю послание, его принесли тем снежным утром — всего через месяц после смерти Акселя, — оно было нацарапано на клочке бумаги и просунуто под нашу входную дверь. Мать принесла его мне. Мы стояли у окна, в моей комнате, в голубоватом отсвете лежащего снега, я в моей старой, рваной ночной рубашке и она в накинутой на плечи шали. Ее длинные волосы были распущены, и, помню, как рассеянно подумал тогда, что она поседела, а я этого и не заметил. Она ждала, молчаливо и тревожно — теперь она всегда была такой, — пока я разверну вырванный из школьной тетради лист и прочитаю изложенные там краткие инструкции. Почерк я не узнал, это мог написать и школьник: большие квадратные заглавные буквы были глубоко вдавлены карандашом в бумагу, частички графита блестели в бороздках. Я должен был сегодня же взять билет на поезд до Брюсселя, который отправляется *в полдень*, билет в определенном купе, в определенном вагоне, и по прибытии сесть на следующий же поезд в обратном направлении, заняв то же место, что и на пути туда. Подписи не было. Я не мог и представить, кто мог послать эту записку, и не мог сказать, что она предвещала, но сразу понял, что в точности выполню все указания, — такое было время. Мать смотрела на меня еще более встревоженно, чем обычно, — я не сомневался, что она прочла записку перед тем, как передать ее мне. Все в порядке, сказал я небрежно, это от друга, я этого ожидал. До сих пор не понимаю, почему я солгал ей. Она печально кивнула, зная, что это ложь, и зашаркала прочь.

Я прервусь ненадолго, ибо голос мой дрожит. Я редко вспоминаю мать или отца в часы бодрствования. Кажется абсурдным, что у мужчины моего возраста даже когда-то в прошлом были родители, — сейчас я настолько старше них в то время,

что будто вспоминаю вовсе не своих родителей, а своих доросших до печальной взрослой жизни детей; детей, которых, насколько я знаю, у меня никогда не было. Однако, редкие гости при свете дня, мать и отец часто приходят ко мне во сне. Там они парят, тесно прижавшись друг к другу, робкие, неуверенные, будто боятся, как бедные родственники Вандеров, что их схватят и выгонят со злобными насмешками. Они одеты в черное, а отец, торговец тряпками, — в шелковом черном галстуке; неправдоподобная, странная деталь. Я замечаю, что они держатся за руки, и на лице отца застыло выражение робости. Они похожи на пару скромных гостей, которые пришли в затрапезной одежде на пышный прием, в центре которого застряло мое спящее “я” — коматозный Тиберий, — оно не может поприветствовать их и даже проводить к выходу и убедиться, что им позволили уйти с достоинством. У матери между бровями пролегает глубокая морщина, которая всегда была признаком самых ее глубоких и невыразимых горестей. Она стесняется меня и старается направить взор вниз, отчего выглядит еще более отчаявшейся и затравленной. У отца на лице привычное выражение настороженного изумления. Он был веселым, даже остроумным человеком, но шутил всегда так осторожно, так неуверенно, что люди редко могли по достоинству оценить его юмор, поэтому в моих воспоминаниях он всегда отворачивается с задумчивой, разочарованной полуулыбкой. Мои родители. Знал ли я их вообще? Когда они были рядом, я почти не замечал их, кроме тех случаев, когда они попадали в мое поле зрения, препятствуя моему взгляду в светлое будущее. Когда-то я надеялся, что они не сильно мучились в конце — они и другие, — но с тех пор я многое узнал о том, чего стоит надежда.

Я сел на поезд до Брюсселя, как и было сказано. В купе был всего один, искоса поглядывающий на меня молодой человек — тощий, в двубортном костюме в тонкую полоску, больше него на несколько размеров. В его внешности не было ничего примечательного, кроме носа — огромного, бледного, с широкой переносицей и ямками, он был похож на каменный церемониальный топор; остальные черты лица покорно отступали на задний план. Молодой человек держал на коленях небольшой потертый чемодан вроде тех, в которых фокусники хранят реквизит; время от времени он приподнимал крышку и заглядывал внутрь.

Документы? Посылка? Золотые слитки? Пистолет наемного убийцы? Мы обменялись краткими любезностями, после чего смотрели в окно на заснеженную сельскую природу, расстилающуюся перед нами своим бесконечно широким веером. Наши взгляды плыли навстречу друг другу, встречались и снова разбе-

гались, словно амебы. Когда мы въехали в полумрак вокзала, я увидел в окне его призрачное отражение: по направлению взгляда я понял, что он пристально смотрит на меня, будто боится, что я прыгну на него, если он на мгновение потеряет бдительность. Я задавался вопросом: может ли он быть как-то связан с предупреждением или, может, он его и написал? Стоит ли мне обратиться к нему, задать вопрос, бросить вызов? Мы продолжали двигаться через покрытые инеем поля, колеса под нами отбивали свой сбивчивый, неправильный ритм, и мы ерзали на пыльном сиденье, откашливались и вздыхали — по-прежнему молча. Где-то в глуши поезд остановился и стоял мучительно долго. Мы мрачно вглядывались в пустынный, заснеженный пейзаж. Двое солдат подошли к двери купе, глянули на нас и пошли дальше. Нос провел пальцем по воротнику рубашки, слегка вздохнул с облегчением, посмотрел на меня и выдавил болезненную улыбку. Тем не менее я молчал: он мог быть самым ревностным коллаборационистом и все же опасаться военных. Снаружи раздался крик, и поезд, лязгая, тронулся.

В Брюсселе я сел в душном буфете на вокзале и быстро выпил три стакана шнапса подряд — только тогда мои руки перестали дрожать. Когда я вышел на перрон, обратный поезд уже тронулся и мне пришлось бежать за ним; запрыгивая на ступеньку вагона, я сильно ударил голень. Хромая, я шел по качающимся коридорам, пока не отыскал нужное купе. Там снова был он: тревожный взгляд, чемодан на коленях, большой, побагровевший от страха и холода нос. Я протянул ему записку, он мне такую же. Я засмеялся. Он засмеялся. Мы оба смеялись. Мы будто задыхались. Он сказал, что знает не больше меня. Кто-то, должно быть, прошел ночью по городу, от двери к двери, оставляя предупреждения. Мы размышляли, могут ли в поезде быть подобные нам — одинокие, сбитые с толку беглецы. Должно быть, что-то происходит дома, сказал он, и слово “дом” прозвучало так странно. Я беззвучно сглотнул и отвернулся. После этого он открыл свой чемоданчик фокусника: в нем были бутерброды, яблоко и фляжка с аквавитом — все это он разделил со мной. Из фляги мы пили по очереди, даже смешение крови из запястий не могло бы придать большей торжественности нашему товариществу. К концу пути я был пьян и пребывал в легкой эйфории. На платформе мы обменялись адресами, перекрикивая шум поездов и объявления по репродуктору, горячо пожали друг другу руки и поклялись встретиться снова, а затем повернулись и, с облегчением расправив плечи, поспешно разошлись, зная, что больше никогда не увидимся, если только Ангел Господень не нанесет нам еще один предупредительный визит.

Я шел домой через притихший город, снег скрипел под ногами. Эйфория от аквавита быстро рассеялась. Голень все еще пульсировала там, где я ударился, запрыгивая в поезд. Когда я добрался до нашей улицы, сгустилась непроглядная тьма, не светилось ни одно окно, стояла гробовая тишина. Тогда я все понял. Трое часовых с винтовками стояли у горячей жаровни, притопывая на морозе. Я не осмелился приблизиться к ним и прокрался мимо, уловив резкую вонь горящих углей — устрашающее дуновение из прошлого. Я вспоминаю эту картину в экспрессионистских мазках: грубые формы солдат, ужасающая яркость жаровни, рассеченная надвое лунным светом улица. На заснеженных тротуарах блестел иней, но, наступив на него, я понял, что ошибся, — это было битое стекло. Витрины магазинов разбиты, двери заколочены свежими досками, витает сосновый аромат, характерный для леса или гор и совершенно неуместный здесь. Дом, в котором я жил — по крайней мере, до сих пор, — был таким же темным и пустым, как и все остальные. Сломанная входная дверь висела на единственной петле. За ней выглядывала прихожая — квадратная, черная дыра, похожая на портал в другой мир.

Я пошел в кино. Насколько я помню, шел “Еврей Зюсс” — если только моя память с ее досадной жадой совпадений не совершила подмену. Зрители казались такими же подавленными, как и я; ряд за рядом они сидели, согнувшись, неподвижно уставившись на экран, словно застыв от удивления или страха; их лица виднелись в мерцающем мраке, кончики сигарет вспыхивали и исчезали, будто рой светлячков, клубы дыма кружились, словно в замедленной съемке, в конвульсивно мигающем конусе проектора, слепленном из света и мутной тени. Когда фильм закончился, я ушел последним. На улице я остановился у работавшего допоздна киоска и купил кулек жареных каштанов, после чего распределил их по карманам брюк, во-первых, для тепла и, во-вторых, для пропитания. Не думая, куда направляюсь, я вернулся на вокзал и провел ночь на скамейке в гудящем зале, словно беглец в святилище собора. Я засыпал и почти сразу же просыпался от странного чувства испуга, которое вскоре сменилось заторможенным, недоверчивым изумлением от всего происходящего. Ночью холод усилился, и я пошел в уборную обернуть ноги под брюками страницами выброшенной газеты — “Газетт” оказалась очень кстати. И откуда я только знал все эти бродяжьи хитрости? Незадолго до рассвета такой же изгой, как и я, попытался меня обчистить. Это была неуклюжая попытка: я сразу проснулся и попытался дать ему пинка, но промахнулся. Помню рот этого бородатого старика — розовое круглое отверстие в спутанных волосах. Он осторожно отступил,

укоризненно глядя на меня так, будто это я напал на него, руки с коричневатыми пальцами подняты, рот безмолвно открывается и закрывается. Больше я не спал. Утром я с трудом поднялся и пошел в кафе для рабочих, где потратил последние деньги на хлеб и колбасу; я до сих пор помню их вкус. Я снова бродил по улицам. День был ясным, холодным и ослепительно-ярким, все вокруг звенело, будто город поместили под колпак стеклянного колокола. Морозный воздух был слегка затуманен. В застывших ботинках онемели пальцы ног. Поврежденная голень все еще болела, и это меня сильно злило. Такое раздражение в последующие месяцы часто у меня возникало — беглецу больше всего неудобств причиняют именно банальные недуги. Наконец я пошел домой. Больше идти было некуда.

Я ожидал, что на улице снова будут солдаты. При дневном свете мне бы не удалось от них спрятаться. Я не знал, что буду делать, если они меня остановят. Я подумал, стоит ли на них броситься, размахивая кулаками и завывая, — тогда они застрелят меня, и всему придет конец. Может, я сумею поставить синяк под глазом одному из них или сломаю челюсть, прежде чем упаду замертво. Однако улица была безлюдна. Жаровня больше не горела, хотя погасшие угли оставались на удивление теплыми, и я некоторое время стоял, растирая над ними руки. Все будто замерло, лишь занавеска в разбитом окне наверху колыбалась на сквозняке. Зимний солнечный свет резко очерчивал предметы, и в моей голове внезапно возникло яркое воспоминание о том, как ребенком я шел в школу таким же утром. Я вошел в наш дом через невысокую дверь рядом с мясной лавкой, заколоченной досками, как и все остальные двери, и попал в коридор, где пахло мокрой штукатуркой и нечистотами. На лестничной площадке стоял мой запрещенный велосипед и черная детская коляска без колес, брошенная кем-то много лет назад. Я остановился и посмотрел на лестницу. Здесь также царила мертвая тишина, стоял нестерпимый холод, все двери были накрепко заперты, будто никогда уже не откроются. На полпути к первому лестничному пролету лежала детская туфелька с порванным ремешком, без застежки, — банальное наблюдение. На нашей площадке стена была стерта там, где многие годы ее касались люди плечами, локтями и обувью, я раньше не обращал внимания на эти детали, но теперь они казались столь же загадочными и наводящими на размышления, сколь древние иероглифы. Я вынул ключ, но из осторожности остановился, сунул его в карман и постучал в дверь — тихо, скромно, как постучал бы нищий или вернувшийся после долгих скитаний блудный сын. Я ждал. Чего я ждал? Вскоре я услышал тихие шаги; кто-то замер у двери. Тебе, моя самая прилежная читатель-

ница, уже знаком этот образ, ибо я использовал его в разных контекстах в качестве шаблонной ситуации: двое стоят по обе стороны запертой двери, один стучит снаружи, другой слушает изнутри, и каждый пытается разгадать личность и намерения другого. Я постучал снова, еще более неуверенно, просто коснувшись костяшками пальцев дерева, и, как если бы второй стук был сигналом, который ждал находящийся внутри, немедленно щелкнул замок, дверь приоткрылась, и настороженный, окаймленный белесыми ресницами глаз посмотрел на меня. Я что-то пробормотал, находящийся внутри захихикал, и дверь распахнулась настежь.

Он был худым, необычайно худым, с узким, длинным белым лицом и рыжими выющимися волосами. На нем было длинное расстегнутое пальто и длинный свисающий серый шарф, придававший его облику немного печальный вид. Он был примерно моего возраста, но выглядел намного старше. Под мышкой он держал скрученную газету. Он почти весело осмотрел меня с головы до ног и широким, дружелюбным жестом пригласил войти. Я вошел, но остановился сразу за порогом. Он стоял рядом, с интересом наблюдая за тем, как я осматриваюсь. Я ожидал беспорядка, выдвинутых ящиков и разбросанных по полу вещей, но все выглядело, как обычно, может, лишь чуть более потрепанным и невзрачным. Однако с каждым мгновением это место все меньше и меньше походило на реальное и будто превращалось в свою репродукцию, искусно выполненную, с точно выведенными деталями, но без какой-либо достоверности. Все выглядело плоским и пустым, как декорации. Я отметил жесткий солнечный свет в окне, который выглядел так, будто его отбрасывала мощная электрическая лампа, установленная сразу за фрамугой. Даже запах витал какой-то неправильный. “Мое имя — Шодейн, — сказал непрощенный гость. — Вы можете звать меня Макс, если хотите. Я здесь осмотрелся немного”. Он пожал плечами и кротко улыбнулся, давая понять, как легкомысленно относится к своим обязанностям, какими бы они ни были. Я использовал формулировку “непрощенный гость”, но, на самом деле, он выглядел совершенно непринужденно и чувствовал себя почти как дома — наверняка в большей степени, чем я. Он вздохнул. В таких случаях нужно сделать так много, сказал он, качая головой, так много нужно проверить, осмотреть и учесть, люди ведь никогда не думают об этом. “Я имею в виду, когда это вся семья”, — он искоса посмотрел на меня, и то ли мне показалось, то ли он и впрямь подмигнул мне. Я услышал себя как бы со стороны: я спрашивал, где она, моя семья? Я собирался добавить: “Куда их увезли?” — но вовремя остановился. На мгновение он сделал вид, что задумался, прикусив нижнюю губу. “На Восток?” —

сказал он наконец и приподнял брови, будто ожидал, что я лучше него знаю ответ. Он пошел по квартире, глядя по сторонам и ни к чему не прикасаясь. Я последовал за ним. Он остановился в дверях комнаты родителей, засунув руки в карманы пальто и покачиваясь на каблуках. “А, — сказал он, — спальня!” Вместе мы осмотрели комнату: низкая кровать без постельного белья, две прозрачные вмятины на матрасе, сложенное в ногах выцветшее одеяло, плетеное кресло, ночной столик с кувшином воды и тазиком. Шкаф был открыт, в нем не было даже плечиков. Комната никогда не была такой опрятной, аккуратной и пустой. Шодейн повернулся ко мне. “Я не расслышал ваше имя?” — сказал он. Как он был вежлив, будто мы — пара потенциальных арендаторов, чей осмотр собственности по ошибке совпал, и он взял на себя инициативу по устранению любых неудобств. “Мое имя? — сказал я. — Меня зовут Аксель Вандер”.

Я не знал, что собирался это сказать, но не удивился, услышав собственные слова. Напротив, это было совершенно естественно, как если бы я надевал новый, сшитый специально для меня костюм или, точнее, для моего брата-близнеца, ныне мертвого. В то же время я волновался и сам не мог объяснить почему. У меня перехватило дыхание и закружилась голова, будто я совершил необыкновенный, беспшибанный подвиг: перепрыгнул через пропасть в ослепительно красивом новом костюме или залез на ошеломительно высокую гору, откуда видел страну, о которой слышал невероятные рассказы, но в которой никогда не бывал. Я даже не заметил несоразмерность силы этих ощущений причине их появления — в конце концов, я просто назвался чужим именем, — так мелкий жулик мог бы ответить на вопрос полицейского. Неужели именно это актер переживает каждый вечер, выходя на сцену; эту невесомость, эту внезапную свободу — то, что Гёте где-то называет *der Fall nach oben*¹, сопровождаемое трепетом тайны, с трудом сдерживаемым весельем? “Вандер, а? — сказал Шодейн и с удвоенным интересом осмотрел меня с головы до ног. — Кажется, я слышал это имя”. Он быстро потер ладони своих тонких белых рук друг о друга и издал характерный звук. “Что ж, нам придется подумать, что с вами делать, раз уж вас, похоже...” Он быстро и лукаво усмехнулся. “Раз уж вас, похоже, забыли”. Я так и не узнал, кто он такой, почему был там и кто его туда отправил. Я также не знаю, почему он решил мне помочь. Он не хотел от меня денег, что было кстати, потому что их у меня не было. Это может показаться абсурдным, но я подозреваю, что он спас меня — а он действительно меня

1. Падение вверх (нем.).

спас, — только потому, что его позабавило, как мне удалось избежать ареста и депортации по той простой причине, что меня не оказалось дома. “Вот это номер, а!” — повторял он с кривой ухмылкой, качая головой, будто я выполнил акробатический трюк. Естественно, я и словом не обмолвился о записке с предупреждением. Мне до сих пор интересно, написал ли ее он, хотя и непонятно, зачем ему было меня предупреждать. Какая ему могла быть польза от столь бескорыстного великодушия? Потому что, опять же, его это развлекало? Не сомневаюсь — он был прохвостом. Трудно поверить, что он вообще дожил до этих дней. Как он избежал веревки? Они вешали и более мелких плутов. Хендрикс, например, несколько лет спустя, когда все находились в приподнятом настроении после освобождения, был повешен на фонарном столбе на собственном ремне всего-навсего за те передовицы, которые теперь, в запоздалом порыве озарения, сочли предательскими. Но Шодейн, Шодейн был не из тех, кто позволял себя линчевать.

Он отвел меня в кафе на углу площади, куда мы часто заходили с Акселем, и угостил кофе с булочкой, сказав, что мне нужно подкрепиться перед предстоящим путешествием. Я не спрашивал, какое путешествие он имел в виду. Сам он ничего не ел, а пока ел я, сидел и смотрел на меня с добродушной улыбкой, все еще держа свернутую газету под мышкой. Я чувствовал себя школьником, которого вытащили из лап хулиганов, — и вот я, без синяков и окровавленного носа, наслаждаюсь грандиозным угощением, щедро преподнесенным моим улыбающимся, хотя и довольно зловещим новым другом. Он много говорил, намекая на свои влиятельные связи; у него был доступ, небрежно заверил он меня, к оказывающим содействие лицам; это были друзья, деловые партнеры, сочувствующие — чему и кому они сочувствовали, он не уточнял, — которые, в случае необходимости, помогут мне проложить путь к новой жизни за морем. Он снова улыбнулся и подмигнул. Я кивал и тянулся за еще одной булочкой. К его словам я не проявлял должного интереса. Мое внимание было приковано к происходящему внутри, к сдвигу, трансформации: все внутри меня будто перестраивалось на новый лад. Не каждый день теряют сразу всю семью. Не скажу, что я не был расстроен и за них не боялся. Но тогда я не знал, что больше никогда их не увижу, что вихрь, в котором они исчезли, не оставит ничего, кроме праха. Я думал, что их отправили в какое-то далекое и малопривлекательное место: в Гельголанд Акселя или на Амазонку Хендрикса — и предполагал, что вскоре меня тоже схватят и я к ним присоединюсь. Я даже задавался вопросом, может ли новая жизнь, о которой так восторженно говорил Шодейн, быть эвфемизмом моего неминуемого ареста и ссылки. В

самом деле, подумал я, может, в этом и заключается его работа — ходить по городу и развеивать страхи людей, чтобы подготовить их, пусть и обманом, к любому повороту событий, — чтобы с ними не возникло проблем, когда приедут солдаты в грузовиках. Но и в этом случае я бы не возражал. В тот момент я был слишком поглощен своими мыслями, чтобы волноваться, ибо я столкнулся со сметающей все преграды перспективой свободы. Это была поразительная возможность, к которой я устремился каждой клеточкой своего тела. Я наконец осознал, что обрел полную свободу. У меня все отняли, значит, теперь мне все дозволено. Я мог делать все что хотел, предаваться самой безумной прихоти. Я мог лгать, красть, калечить, убивать и при этом находить всему оправдание. Более того, необходимость в оправдании не возникала, потому что земля, на которую я ступил, была страной без законов. Историки не устают отмечать: чтобы добиться торжества тирании, необходимо предоставить подчиненным свободу исполнять самые свои сокровенные и низменные желания; однако мало кто понимает, что жертвы тирании тоже могут стать свободными людьми. Неприкаянный и бездомный, без семьи или друга, не считая Шодейна, которого едва ли можно было считать другом, я мог наконец стать тем самым неуловимым существом, а именно — а именно! — собой. Порой я думаю, что это и было настоящей и единственной причиной того, что я присвоил себе личность Акселя. Ты ничего не знаешь о проблеме самости, если считаешь это парадоксальным.

Как я уже повторял, — может, слишком настойчиво? — к мистицизму я не склонен, но должен отметить любопытный, если не сказать пугающий, феномен, с которым столкнулся тогда. За несколько дней до встречи с Максом Шодейном со мной произошла необычайная череда совпадений. Они были банальными — какими и бывают события такого рода, — но от этого не менее примечательными. Я читал роман, потом его откладывал, выходил на улицу и встречал на улице кого-то с таким же, вовсе незаурядным, именем, как у персонажа этого романа. Утром я начал писать эссе о Наполеоне в Йене, а днем мне пришло письмо из этого же города от знакомого, который учился там в университете и, конечно же, штудировал Гегеля. Я встречался с двумя девушками, обеих звали Сара; однажды вечером я договорился встретиться с одной из них в определенном месте, в определенное время — она не пришла, но точно в назначенный час я заметил другую Сару на соседней улице. Чем объяснялись эти странные совпадения? Вероятно, я был так бдителен, что обращал внимание на детали, которые в других обстоятельствах остались бы незамеченными. Но почему это случилось именно в те дни? Разве сейчас я не внимателен к скрытым угро-

зам и хитросплетениям судьбы? Было ли это животным предчувствием приближающейся опасности? Были ли эти маловероятные и незначительные события способом, который избрала милостивая судьба, чтобы предупредить меня? Я не хочу так думать, ибо тогда моя вера в то, что все в этом мире случайно, будет поставлена под сомнение, а это мне не по душе.

Тогда я сразу ступил в липкую паутину континентальной сети Шодейна и начал путешествие, которое сопровождалось большими, неровными, судорожными скачками и привело меня в убежище. Возможно, если я буду жив, когда завершу это покаяние, и мне хватит сил, я напишу полный отчет о том времени: “Катабасис, или Мой полет к свободе”. А пока этого достаточно. Пожалуйста, садись и слушай.

Дорога моего побега — мне не нравится это слово, оно звучит так авантюрно-приключенчески, но как еще его назвать? — поначалу вела меня по диагонали через Францию в юго-восточный уголок Бискайского залива. Это было не так сложно, люди Шодейна помогали мне в каждом узле сети, по которой я пробирался: они предлагали еду, кров, поддельные документы, давали нужные советы. Я крал даже у тех, кто мне помогал. Я стал довольно искусным вором; в воровстве, как и во всем, есть особая хитрость: ваш подход к воровству должен быть достаточно продуманным и отстраненным. Я понял, что человек должен оставаться равнодушным или, по крайней мере, убедительно имитировать равнодушие, если хочет добиться успеха в сложном деле выживания. Однако чем дальше я продвигался на юг, тем сильнее падал духом. Я не отчаивался и даже больше не боялся; я просто не видел конца этому пути и временами думал, что отныне моей жизнью станет бесконечная дорога и что в конце концов я обнаружу, что вновь иду по тому же маршруту, с самого начала, снова и снова, вижу того же паучка на подоконнике, тот же лунный свет между деревьями. Я достиг дна декабрьскими сумерками в Андайе, когда сидел в каком-то сумрачном баре и слушал печально хлопающие на ветру, на безлюдной набережной, флаги, и вдруг с грустью понял, что сегодня сочельник. Однако на следующий день дела пошли на лад, приподнялось даже нависшее небо. Я встретил мое доверенное лицо в городе — коротко стриженную девушку в берете и черном пальто не по размеру; я принимал ее за мальчика, пока она не заговорила. В ту ночь она и ее отец должны были отвезти меня на своем грузовике через границу, в Сан-Себастьян. Она оглядела меня, ее темные глаза заблестели — помнишь, я был тогда молодой, большой и энергичный, здоровый на обе ноги и оба глаза, — и привела меня в свою крошечную комнатку с видом на море, где мы сбросили одежду в белесом морском свете, и она скользила по мне, гибкая и быст-

рая, как маленькая рыбка, засовывая носик во все трещинки и щелочки, будто в поисках ускользающего лакомого кусочка. Когда мы кончили, и я был наконец совершенно пуст, она вскочила и села мне на грудь, словно гимнастка, оседлавшая деревянную лошадь, и на секунду между ее раскрывшимися губами мелькнула серебристая нить моей спермы — она усмехнулась и воскликнула своим разгоряченным, высоким, тонким голоском: “Joyeux Noël, mon petit!”¹.

У нее было причудливое имя — Джозетт. Стыдно признаться, но я украл у нее часы — массивные, дешевые, но удивительно прочные, они все еще со мной и все еще отсчитывают время. Ей подарил их один из моих предшественников, который двигался по этому же маршруту через ее спальню. Джозетт. Не только по манерам, но и по росту она была мистическим прообразом моей Леди Лауры, которая несколько недель спустя, английской весной, окутанной мокрым снегом и пробивающимся сквозь тучи солнечным светом, встретила меня в поезде, который направлялся в Лондон из Саутгемптона. В то утро я прибыл на пароходе из Лиссабона — города, о котором в воспоминаниях остался лишь запах смолы, горьковатый привкус нерафинированного оливкового масла и алюминиево-яркие полосы разбивающегося о доки дождя на рассвете в день отъезда. В Саутгемптоне сидевший за столом военный долго, нахмурившись, рассматривал мой паспорт, заботливо сделанный для меня восьмидесятилетним стариком в Льеже, а затем, фыркнув и невесело усмехнувшись, захлопнул его, мою козырную карту, и передал мне через стол. По легенде я был пилотом военно-воздушных сил “Свободной Франции”, имелся и соответствующий документ. Поезд не обогревался. Купе было переполнено армейскими офицерами, пахло сигаретным дымом и мокрой шерстью. Леди Лаура ютилась в углу напротив меня, на ней было огромное пальто, точно как у Джозетт, только намного дороже, и надвинутая на лоб черная шляпа с поникшим павонским пером. За фетром и перьями было трудно разглядеть черты ее лица, я заметил лишь пару темных, будто светящихся глаз, чей оценивающий взгляд я ощущал на себе время от времени. Я обратил внимание на ее маленькие ножки в белых шелковых чулках и дорогих туфлях с застегнутыми ремешками. Ее бледные, крошечные ручки были цвета слоистой кости и вылезали из широких рукавов пальто, будто выглядывающие из шкуры когти животного. Она была чуть больше ребенка. Уставшие от сражений солдаты громко разговаривали между собой, не обращая на нее внимания. Капли талого снега

1. “С Рождеством, малыш!” (Фр.)

косо стекали по запотевшим окнам, будто слюна. Пришел кондуктор, покрутил мой билет и сказал с неловким сожалением — за что я до сих пор с теплотой вспоминаю его, — что находиться в вагоне первого класса я не могу и должен пересестъ. Я начал собирать вещи, но пальто в углу зашевелилось, рука опустилась в сумочку с ручкой из переплетенных миниатюрных серебряных цепочек, вытащила крупную белую банкноту и лениво помачала ею в воздухе. Кондуктор взял деньги, пробил мой билет, приподнял кепку и вышел, подмигивая мне на ходу. Из-под поля шляпы с перьями эти глаза — большие, темные и бархатистые, как анютины глазки, — ненадолго задержались на мне без всякого выражения. Она провожала одного из своих мужчин на войну. Накануне вечером он снял номер в гостинице Саутгемптона под именем майора Смита. “Это было довольно необычно”, — сказала она, засмеявшись. Этот мужчина боялся, что погибнет в бою, и ночью плакал, прижимаясь к ней. “Ну право же, — сказала она удивленно, — совсем как младенец”. Теперь она жалела, что не попрощалась с ним в Лондоне и видела его отчаяние. Она рассказала все это еще до того, как мы вышли из поезда, после чего спросила, считаю ли я ее чудовищем, и бросила на меня оценивающий, испытующий взгляд. Мы стояли под морозящим дождем у вокзала в ожидании такси. Верх ее шляпы, усеянный каплями дождя, будто драгоценными камнями, находился на уровне моей груди. “Я не думала, что французы бывают такими высокими”, — сказала она. Я сказал, что я не француз, но она не обратила на это внимания; позже я узнал о ее способности не слышать то, что она считала обременительным. У меня уже начинался первый приступ лондонской головной боли. Приехало такси. Она предложила подвезти меня, но я сказал, что мне некуда идти, что было чистой правдой. Задумавшись, она поджала губы и слегка нахмурилась. Мы отправились пешком и зашли в гостиницу на Найтсбридж позавтракать — заплатила она. Из окна ресторана мы смотрели на поток ползущих сквозь дождь машин. Под пальто у нее было темно-серое шелковое платье. Она пила чай с лимоном и ничего не ела. “Здесь для меня готовят свежие яйца, — сказала она. — Не хотите ли попробовать?” И она впервые улыбнулась. Когда я закончил есть, — бог мой, как можно было столько съесть! — она сказала, что сейчас поедет домой спать, а я приеду к ней вечером, достала еще одну крупную банкноту и написала на ней свой адрес маленьким серебристым карандашиком на изящном черном шнуручке. “Это испытание на рыцарство, — сказала она. — Если вы эти деньги потратите, не узнаете, где я живу”. Я несколько часов бродил по городу, почти ничего не чувствуя. Бывают такие моменты, их знает каждый беженец, когда чувствуешь себя будто

подвешенным, без воли, без отчаяния, без надежды — просто ожидая то, что случится дальше. День уже угасал, когда я нажал на звонок ее высокого узкого дома в Белгравии. Она была в малиновом крепдешиновом пеньюаре, с сигаретой в мундштуке из черного дерева — чем не женщина-вамп. Иссиня-черные волосы, замысловатая, украшенная жемчужными заколками прическа, лицо в белой пудре, малиновая помада, что придавала ее тонким чертам отчетливо восточный оттенок. Все это было сделано для кого-то другого, и, после того как открылась дверь, она некоторое время, прежде чем вспомнила, кто я, смотрела на меня в замешательстве. “Чертов Саутгемптон, — сказала она, ведя меня в гостиную, не оборачиваясь, — я простудилась”. Под макияжем виднелись нежно-розовые следы простуды по краям ноздрей и в маленькой ложбинке над верхней губой. Гостиная была обставлена в холодном, угловатом стиле, характерном для тех дней: низкие столики из стекла и стали, стулья, похожие на насекомых, люстра с хрустальными шипами угрожающего вида, стены покрыты черной тканью, тревожно мерцающей на периферии зрения. Было жарко, как в теплице, но она беспрестанно жаловалась на холод. Не спрашивая, она налила мне стакан джина, села на неудобный кубовидный белый диван и обняла себя за плечи, мелко дрожа. “Теперь я чувствую себя ужасно из-за Эдди, — сказала она. — Бедняжка”. Так звали майора, назвавшегося Смитом. “Я не должна была рассказывать вам о нем такие вещи. Вы, должно быть, посчитали меня ужасно бесчувственной”. Она бросила на меня взгляд из-под длинных черных ресниц, а затем опустила глаза и прикусила губу, будто пародируя раскаяние и угрызения совести. Раздался звонок в дверь, добавляя происходящему театральности. Она не только не ответила, но даже не подала виду, что услышала звонок. Без сомнения, это был мужчина, которого она ждала. Звонок раздался снова. Мы сидели молча. Она спокойно рассматривала меня. Мой желудок, все еще борясь с остатками непривычно обильного завтрака, громко урчал. Тот, за дверью, позвонил в последний раз — коротко, вполсилы, — после чего ушел. Леди Лаура провела кончиком пальца по шву обивки дивана. Прядь волос выбилась из-под шпильки и свисала у уха, будто блестящая черная ракушка. Тихим голосом она сказала, что мы могли бы пойти в постель. “Хотя я только что встала”.

Окончание следует

Джон Бэнвилл

Плащаница

[37]

ИЛ 4/2022

Роман¹

Перевод Даниила Адельсона

Под редакцией Анастасии Бородачевой

Она действительно была крохотной; если бы мне тогда пришлось в голову, я бы, наверное, испытывал некоторое беспокойство из-за легкости, с которой так быстро, одну за другой, очаровал двух маленьких женщин мальчишеской наружности. Когда она сняла платье, под которым очень кстати ничего не оказалось, и легла передо мной на кровать, я боялся даже дотронуться до нее из страха что-либо повредить. В отношении женщин я всегда был слоном в посудной лавке, как ты могла убедиться. Многие разбивались на куски, будто фигурки из мейсенского фарфора. Даже такая огромная глазурованная урна, как Магда, в конце концов разбилась под моими топающими копытами. Леди Лауру же возбуждала перспектива изысканного повреждения. Она приподняла свои трогательные хрупкие коленки, раскрыла мне свои объятия и, прищурив глазки, улыбнулась. “Ну же, — хрипло промурлыкала она, — сломай меня надвое и загадай желание”.

Она содержала меня от случая к случаю почти два года. Правила отношений она четко изложила с самого начала, все должно было происходить всецело на ее условиях. Например, у меня не было исключительных прав на ее постель — фактически, у меня вообще не было никаких прав на то, что ей принадлежало. У нее было много поклонников, и она все время заводила новых. Вращалась она в тесном, разгульном кругу, где паршивые овцы голубой крови встречались и смешивались с людьми из мира искусства. Она владела большими деньгами, доставшимися ей от покойного отца-герцога. Она была расточительна, но не щедра: купила мне хорошую одежду, обувь ручной работы, всевозможные безделушки, но покупалось все это не столько мне, сколько себе — удовольствие она доставляла себе. Она продолжала

1. Окончание. Начало см. в "ИЛ", 2022, № 3.

настаивать на том, чтобы я выдавал себя за француза: “В самом деле, дорогой, сюда *никто* не приезжает из твоей страны”, — и везде представляла меня как “мой Лягушонок”. Она мне нравилась, правда нравилась; возможно, даже больше чем нравилась. В ней было что-то нездоровое, что-то едкое, бесцветное, некая изношенность, которая меня привлекала; я вспоминаю несвежий запах ее волос, царапающее прикосновение выбритых ног, глубокие впадины и синюшно-бурые тени под глазами. И все же ни одна знакомая мне женщина — даже ты, моя дорогая Касс, — не могла быть такой нежной, хрупкой, чувственной и беспомощной, какой становилась она, когда того хотела. Она говорила, что ей нравится мой рост, мои невероятные размеры — я был ее белокурым, сбегавшим из клетки зверем, с большой квадратной челюстью, убийственными лапами и нелепым, неопределенным акцентом.

Мы ничего не знали друг о друге — ничего существенного. Она провела меня — ее тонкая прохладная рука едва касается моей — по страницам одного из тех изящных и завораживающе жестоких романов, которые были в моде в ту эпоху. Я немало прочел их, чтобы усовершенствовать свой английский, и, подозреваю, их эхо можно обнаружить в наиболее безыскусных и примитивных проявлениях моего прискорбно неоднородного стиля. Все, что мне удавалось разглядеть в Лауре, — это хрупкий, яркий фасад, который она предпочитала демонстрировать и остальному миру, ничем не примечательному и обыденному, в котором — и она постаралась, чтобы я не заблуждался на этот счет, — я был одним из множества простолудинов. Кто знает, что она нашла во мне помимо физических данных. Она водила меня повсюду: на вечеринки, в клубы, в мастерские художников, на охотничьи балы в огромных домах, однажды мы даже побывали на приеме во дворце. Она была знакома с кучей разных типов, которые любили оставаться в тени. Мы ходили на собачьи бега, в игровые притоны, в одно местечко в Ист-Энде, где проходили петушиные бои. Однажды, в конце одного особо кровавого петушиного поединка, она повернулась ко мне с жутковатой, сверкающей улыбкой, я увидел у нее на щеке пятнышко петушиной крови в форме полумесяца и неожиданно вспомнил, как в детстве поцарапался, собирая на ферме деда ежевику. Она слишком много ела, слишком много курила, слишком поздно ложилась спать, и у нее было слишком много любовников. Но больше всего она пила.

Секрет ее пьянства открылся во время визита в загородный дом ее матери; я имею в виду серьезный, хронический ал-

коголизм. Мы, как говорили в то время, заглушили на выходные мотор. В тот день она впервые демонстрировала меня вдовствующей герцогине и пребывала в нервном возбуждении, я чувствовал это по высоте и пронзительности ее голоса, по слишком широким улыбкам, которые она дарила мне, с головокружительной скоростью маневрируя на своем миниатюрном автомобиле по изумрудно-зеленым улочкам Беркшира. Эту дотоле незаподозренную уязвимость я нашел трогательной и забеспокоился, решив защищать ее от вдовствующей герцогини, которая в тот момент в моем негодующем воображении выросла до размеров свирепого сказочного дракона. Жила герцогиня в величественном, каменном особняке, выполненном в несколько устаревшем стиле. Особняк стоял на холме, над крошечной деревушкой, от скошенных крыш которой его многочисленные окна отводили свой надменный взор. Сама дама, как и ее жилище, была крупной, статной и на редкость некрасивой. Первый взгляд на нее подтвердил мои ожидания, герцогиня выглядела пугающе суровой: она стояла в резиновых сапогах у костра, в который сердито и решительно тыкала предметом, похожим на мотыгу. Приветствуя дочь, она подставила щеку для формального поцелуя. Меня она удостоила одним-единственным взглядом — мрачным и пронзительным. Лаура заметно поникла и потускнела. Я сразу понял, что она пригласила меня, чтобы продемонстрировать матери свое неповиновение, — для нее мой статус полуоплачиваемого любовника был очевиден, но, конечно, старушенция была из шкуры носорога и ни капли не удивилась. За ту долю секунды, что мы смотрели друг на друга, я, несмотря на свой рост, почувствовал, что она вот-вот поставит каблук своего резинового сапога мне на лоб и без усилий вдавит меня в землю, словно гигантский колышек. Дым от костра ударил мне в лицо, мои глаза заслезились. Я сказал что-то о поездке, похвалил погоду, полюбовался домом. “Вы немец?” — громко спросила вдова, недоверчиво нахмурившись. Лаура пробормотала что-то и зашагала в дом, опустив голову и засунув руки в карманы своего длинного кожаного пальто.

С наступлением вечера положение неуклонно ухудшалось. В четыре часа подали чай в зимнем саду, под нависшими листьями гигантского папоротника. Старинные часы прямо за моим стулом цокали увесистым языком с медленным, монотонным неодобрением. Вдова жаловалась на работниц, которых прислали из Лондона обрабатывать лужайки и сажать картофель; она говорила, что работницы ничего не знают о деревенских традициях, думают только о сигаретах и танцах; она подозревала их в аморальных связях с деревенскими. Я

сочувственно кивал и склонял лицо над чашкой; во мне закипало фривольное желание рассмеяться. Лаура молча сидела между матерью и мной, подрагивая от гнева и неистового отворачивания, словно ребенок, которого заставляли терпеть муки от пребывания во взрослой компании. В конце концов она вскочила со стула и, сторбившись, ушла якобы приказать служанке подать свежий чай. Ее долго не было, и я начал с тревогой задаваться вопросом, сколько времени могут занять поиски служанки в столь большом доме. Я даже подумал, что она сбежала: села в машину и уехала, бросив меня здесь, наедине с этой злобной фурией. Вдруг я услышал доносящийся издалека, откуда-то сверху, тонкий, завывающий плач, от которого у меня по спине побежали мурашки. Я поставил чашку — вид у меня, несомненно, был встревоженный. Вдова — она тоже услышала плач — положила свои большие, мужские руки на бедра и внимательно посмотрела на меня, как мне показалось, с некоторым удовлетворением. “Как давно, мистер Вандал, — спросила она, — вы знаете мою дочь?”

После долгих поисков я нашел Лауру наверху — она закрылась в маленькой ванной, примыкающей к детской. Сначала она не открывала дверь, и мне пришлось ждать. Я в смятении и отчаянии смотрел в круглое окно на далекое поле с пасущимися коровами. Наконец я услышал, как поворачивается замок. В руке у нее была полупустая бутылка джина, горлышко которой ей каким-то образом удалось отбить, при этом она сильно порезала себе руку. Она сидела на деревянной крышке унитаза, я встал перед ней на колени, разорвал свой носовой платок на полоски и перевязал рану, пока она, что-то бормоча, рыдала. Фурнитура в ванной комнате, унитаз, окрашенная ржавчиной ванна, умывальник, вешалка для полотенец — все было словно сделано в миниатюре, и я испытывал странное чувство гротескной несоразмерности, будто мы оказались в сказке: я — встревоженный великан, и она — крохотная, истеричная принцесса. Она была пьяна — основательно и всесторонне, такой пьяной я не видел ее никогда. Она то сердечно извинялась, то обвиняла меня, гневно тряся головой, и большие, переливающиеся пузыри слюны вырастали и лопались между ее потрескавшимися, покрасневшими от джина губами. Она говорила, что во всем виноват я, и ей не следовало привозить меня сюда, о чем она думала, это было безумием, безумием, она должна была знать, смогу ли я когда-нибудь ее простить, ей жаль, так жаль, очень жаль... Я обнял ее, все еще стоя на коленях, она обвила ногами мою талию и так сильно прижала горячий висок к моей щеке, что я забеспокоился: не выплюнет ли она изо рта зубы. Она причитала

мне в ухо, слезы капали на плечо. Если я когда-то любил ее, то именно в эту минуту.

Она проспала до вечера в детской, скорчившись на узкой кровати, с подушкой у живота. Вдова, снова в резиновых сапогах и твидовом костюме, тяжелом, точно панцырь, бесстрастно заглянула в комнату и сказала, что должна удалиться по каким-то сельскохозяйственным делам; было очевидно, что к терзаниям дочери она привыкла давно. Она одарила меня ироничной, кривой улыбкой и ушла. Я сел у кровати со странным чувством умиротворения. За окном стоял апрельский вечер: быстро набегали тени, солнце ускользало. Я прислушивался к тому, как живет дом: часы отбивают время, одна из горничных поет на кухне, посвистывает мальчик-посыльный; все это виделось мне издали, сверху, детально, будто я рассматриваю одну из тех необычайно отчетливых, уходящих вглубь через арочное окно перспектив на картине Ван Эйка: дом и поля, деревня и извилистые дороги, маленькие фигурки; а затем здесь, на переднем плане, эта комната, кровать, спящая женщина-ребенок, и я — бдительный страж. Скажи еще, что этот мир — не самое странное место, причудливее не могли выдумать и боги, если бы существовали. В конце концов она проснулась, улыбнулась и села, сдвигая прилипшую к уголку рта прядь волос. Она ничего не сказала, только протянула руки, будто ребенок, безмолвно просящий взять его из колыбели. Кровать не могла вместить обоих, поэтому мы легли на пол, на старый, истертый коврик. Я никогда раньше не видел ее такой кроткой, такой внимательной, такой незащитной. От нее исходил сильный, сладковатый запах джина. Посреди нашего плавного занятия любовью она вывернулась из-под меня, заставила лечь на спину, перевернулась сама, легла животом мне на грудь и взяла меня в рот, не отпуская до тех пор, пока я не излился на пылающий бутон ее горла. Потом она снова перевернулась — такая ловкая девочка! — и вытянулась вдоль меня, килька верхом на акуле, и вдруг на мгновение я увидел Джозетт, с ее стриженными волосами и вздернутыми маленькими грудями, улыбающуюся мне в белесом свете Андайя, и меня пронзило что-то острое, будто игла, удивительно похожее на боль. Лаура уткнулась припухшим лицом мне в плечо. Последний, тонкий луч солнечного света в форме полумесяца упал на ее бедро. “Я все тяну в рот, — вздохнула она. — Ты, бутылка, сигареты, еда. Наверное, меня слишком рано отлучили от груди”.

Мне осталось рассказать о последнем воспоминании тех выходных. На следующий день, воскресным утром, когда

Лаура вместе с матерью отправилась выполнять какой-то буколический ритуал — возможно, раздавать Библии деревенским или кормить их детишек кашкой с ложечки, — ритуал, в котором, как мне ясно дали понять, мое участие не требуется, я воспользовался возможностью и осмотрел владения вдовы. На короткой, сильно изношенной деревянной лестнице без ковра в задней части дома рядом с комнатами, которые, по видимому, предназначались для слуг, я столкнулся с горничной по имени Дейзи или Дотти — красивой, сильной, ширококостной девушкой с руками пахаря и очаровательно скрещенными передними резцами, от нее пахло хлебом и мылом; она беззаботно позволила мне поцеловать ее и положить руку на теплый корсаж. Недавно закончился ливень, свет струился, словно шелк, дул ветер, большие, дрожащие капли дождя цеплялись за стекла высокого окна. Я часто думаю о ней, даже сейчас — дорогая Дот или Дейзи. Я тогда еще не был скотиной, какой стал теперь. Надеюсь, у нее была славная жизнь, и о ней все еще заботятся внуки или даже правнуки. Я даже надеюсь, что она не забыла меня. Когда она вырвалась из моих объятий, отвернулась и, смеясь, сбегала по ступенькам, поддерживая свои длинные юбки двумя пальцами не менее изящно, чем любая знатная леди, я вынул из кармана нэцкэ — фигурку из нефрита мутноватого зеленоватого-белого цвета, — которую прихватил из гостиной и, удивившись самому себе, вернулся и поставил ее обратно на камин, к ее собратьям.

И год, и я — мы оба подходим к концу, чувствуется холод. Вчера я взглянул вверх и увидел, что за ночь окружающие город вершины гор покрылись снегом. Маленькие магазинчики на виа деи Мерканти теперь зажигают фонари пораньше. Домохозяйки демонстрируют норковые шубы, которыми так трогательно гордятся; в этих роскошных мехах — трудно сказать кто кого носит, они шубы или шубы их, — они больше, чем когда-либо, похожи на крупных, экзотических, избалованных домашних животных. Я не единственный, кто изучает сомнительные чары этих матрон. Есть тут еще один старый чудак, бродящий по улицам нашего квартала, иногда мне удастся поймать взгляд его черных, блестящих, как у хищной птицы, глаз — тогда он едва уловимо ухмыляется, что выглядит довольно зловеще, и сворачивает в сторонку, изображая глубокую заинтересованность пучком спаржи на овощном лотке. Он, как и я, ходит с палкой, но это — элегантная малакка с серебряной ручкой в форме головы какого-то животного, кажется, волка; не удивлюсь, если внутри этой штуки скрывается лезвие меча. Он ниже меня — впрочем, все люди ниже

меня, — у него худые, морщинистые руки, очень маленькие ноги в туфлях из тонкой кожи. Он богато одет: свитер из верблюжьей шерсти, костюм из английского твида; его выглядывающие из-под кашемирового шарфа рубашки, очевидно, сшиты на заказ из тончайшего хлопка и шелка — правда, во времена, когда он был значительно плотнее, ибо его черепашья шея печально болтается в жесткой вертикальной дужке свободно сидящих воротничков. У него узкая голова, почти лишенная плоти, — череп плотно обтянут тончайшим покровом кожи табачного цвета. По макушке растерта прядь смазанных маслом, несомненно, крашенных черных волос. Он стар, то есть примерно моего возраста. Кажется, он никогда не расстанется с сигаретой, изящно зажатой в его тонких, костлявых пальцах. Не знаю почему, я замечаю именно его, в этом загадочном городе немало его двойников. Боюсь, вскоре мы познакомимся — похоже, это неизбежно. Я вижу нас в “Caffè Torino”¹ или “Caval’d Brons”², мы сидим, склонив головы над карманными шахматами, в руках у нас сигареты и наперстки маслянистой граппы — наступает ночь, падает снег, звуки города глоснут.

Кристина Ковач, бедная Кристина, она умрет до прихода весны.

Я не был первым, кто радовался жизни в Лондоне во время войны. Я не про великое, новое, согревающее чувство общности, которое, как считается, должен был испытывать каждый, не про поддержание духа и уюта домашнего очага и прочую подобную чепуху; нет, я про вольность, сладострастную и томную, с легким привкусом серы, которую нам даровала неизменная вероятность близкой, случайной, насильственной смерти. Жить в Лондоне с леди Лаурой и ее деньгами было все равно что оказаться на неуправляемом, беспомощно плывущем по течению океанском лайнере, на борту которого неукоснительно соблюдаются все подобающие приличия роскошного круиза. Какое значение имело, что капитан на мостике пьян, а команда неистово выкачивает воду из трюмов? Несмотря на бомбы и разговоры о них, несмотря на строгость правил и утомительные ограничения в повседневной жизни, мы с моей маленькой любовницей порхали из бара в бар, из клуба в клуб, с вечеринки на вечеринку, беспечные и счастливые настолько, насколько каждый из нас был способен. В городе царила атмосфера печали и меланхолич-

1. Одно из самых известных кафе в Турине. (Здесь и далее — прим. перев.)

2. Один из самых известных баров в Турине.

ного милосердия. Я думаю о деревянных радиоприемниках; об астматических такси, черных и квадратных, словно катафалки, с крестами из черной изоленты на фарах; об омлетах из перепелиных яиц, съеденных поздней ночью и запитых чаем с древесным привкусом в чужой постели, в чьей-то квартире, неизвестно где; о громком пении в кабаках, руки Лауры на моем запястье, она поворачивается, смеясь над какой-то шуткой, ловит мой взгляд и позволяет смеху превратиться в выражение любви и желания, почти насквозь фальшивое, но от этого не менее волнующее. Но из всех глубоко отпечатавшихся воспоминаний о том времени самое яркое — воспоминание о запахе, который я почувствовал, когда впервые приехал; он ощущался на развороченных от взрывов улицах; мрачный, но такой волнующий запах пороха, старой известки и прорванных труб канализации. Бомбардировщики перепаживали Лондон, переворачивая почву вверх тормашками. Да я будто и сам был пятой колонной. Власти время от времени проявляли ко мне интерес. Однажды у меня произошла напряженная беседа с полицейским в штатском, и несколько тревожных недель казалось, что меня могут интернировать на какой-нибудь ужасный, продуваемый всеми ветрами прибрежный остров, пока Лаура не поговорила со знакомым в военной разведке и угроза миновала; подозреваю, не обошлось без небольшого шантажа. Среди ее ближайшего окружения тоже были такие, кто подозревал меня. Например, тот напыщенный пэр, лорд Какой-то, большой, гладкий и сказочно богатый, коллекционер картин, джазовый пианист-любитель и один из *моих людей* — он наставлял на меня свой большой бледный хоботок, будто ищущий добычу муравьед, и лукаво предполагал, что, несомненно, я что-то скрываю... Лаура говорила, что все считают меня шпионом; она была от этого в восторге.

Трудно сказать, когда именно я стал Акселем Вандером, я имею в виду, когда начал мыслить о себе, как о нем. Не когда я назвал его имя Максу Шодейну в тот день в снежно-голубом свете опустевшей спальни родителей — у меня и мысли не было о том, чтобы присвоить личность Акселя, — просто выдать его имя за свое и без того было изрядным потрясением для одного дня. Случилось ли это в Льеже, в тех морозных ноябрьских сумерках, когда старик, робко пожимая плечами, словно настоящий художник, подал мне мой — мой! — паспорт, потертый, с заломом на обложке и именем Акселя под моей фотографией? Или это случилось, когда я впервые лежал с леди Лаурой в постели и в порыве посткоитальной откровенности собирался рассказать ей правду о том, кем явля-

юсь, а затем спокойно и окончательно передумал? Вероятно, сказать, когда именно это случилось, едва ли возможно. Разве мы день за днем не вступаем бесчисленное множество раз в другие “я”, даже не замечая того? С постели возлюбленной встает не тот мужчина, что через полчаса встречает своего смертельного врага. Во всяком случае, вопрос “почему” меня интересует больше, чем “когда”. Как много я работал над этим бессмысленным обманом! Я стал виртуозом лжи, мой инструмент заиграл так сладко, что никто не мог усомниться в правдивости его песни. Каких апподжиатур я достигал, каких каденций! Я лгал обо всем, даже когда в этом не было необходимости, даже когда чистая правда была бы уместнее для поддержания легенды. Я, будто одержимый, выдумывал детали своей вымышленной жизни, тщательно выстраивая неприступное алиби для дела, которое не будет рассмотрено ни одним судом. И все же я очарован одним парадоксом: несмотря на все мои усилия по поддержанию фасада, для меня бы не имело ни малейшего значения, если бы кто-то внезапно выступил вперед с неопровержимыми доказательствами моего мошенничества. Я бы рассмеялся ему в лицо и пожал плечами. Или ей в лицо, в зависимости от обстоятельств. И я снова задаюсь вопросом: какая мне была выгода от того, что я взял его имя? Должно быть, я не столько хотел быть им — хотя я и хотел, действительно хотел быть им, — сколько хотел не быть собой. Другими словами, я хотел убежать от собственной индивидуальности, от наследия своего “я”, а не от моего мира, мира моих людей, потерянных и несчастных. Кажется, это имеет большое значение. Но я прожил с его личностью так долго, что с трудом могу вспомнить, каково это — быть тем, кем я был когда-то... Я сбит с толку и вынужден остановиться, заблудившись в этом беспорядке личных, безличных, выдающих себя за кого-то другого местоимений. Не думай, что я хотел увековечить его память или прожить за него жизнь, которой он лишился, — ничего подобного, я никогда не был настолько предан ему, настолько великодушен. Я бы защищал его, да, я бы попытался защитить его имя, но, если бы меня разоблачили, я бы выскользнул из него с легкостью тайного агента, который отказывается от своего прикрытия, чтобы найти новое.

Так много вопросов, так много софизмов, но я не слишком далеко продвинулся в своих рассуждениях. И все же остается загадка: почему? Если, как я полагаю, как настаиваю, целостного “я” не существует, то от чего именно я должен был убежать, притворившись Акселем Вандером? Просто от бытия, этого хаоса эмоций, желаний, страхов, позывов, судо-

рог? Даже будучи кем-то другим, все равно остаешься тем же самым. Я думаю об актере из древнего мира. Он ветеран аттической драмы, копьеносец, старый воин. Толпа знает его, но не может вспомнить его имя. Он никогда не был Эдипом, но когда-то играл Креонта. У него есть маска, она с ним долгие годы, это его талисман. Белая глина, из которой она изготовлена, по оттенку и плотности стала похожа на кость. Грубая войлочная подкладка смягчилась с годами от пота и трения — теперь она плавно повторяет черты его лица. Он всерьез и все чаще думает, что маска больше похожа на его лицо, чем само лицо. После представления, снимая ее, он задается вопросом, а видят ли его другие актеры, или он — просто голова с невыразительным лицом, как у старой статуи Силена на рынке, черты которой стерлись ненастьем. Он носит маску дома, когда никого нет. Она утешает, поддерживает и странным образом успокаивает его — он будто спит, находясь в сознании. Однажды он выходит в ней к обеденному столу. Жена будто не замечает, дети на мгновение задерживают на маске взгляд, затем пожимают плечами и возвращаются к привычным пререканиям. Он достиг апофеоза. Человек и маска слились воедино.

Сегодня наконец он обратился ко мне, мой верблюжеволосый двойник, как я и думал. Я остановился посмотреть в окно мясной лавки на виа Барбару. Меня всегда зачаровывали эти жизнерадостно-бесстыдные, устрашающе хорошо освещенные демонстрации разделанной плоти, крови и костей. “Варварское зрелище, синьор”, — произнес голос позади меня. Я повернул голову, он был там — острослов в дорогом старомодном пальто, опирающийся на свою трость. Очень похож на Стравинского в преклонном возрасте. Когда он улыбается, его широкие, тонкие губы пугающе обнажают зубы, будто он лошадь. Мы пошли в маленькое кафе за церковью на пьяцца делла Консолата и выпили горячего шоколада с капелькой граппы — день был холодным. Он сказал, что это место очень старое, и его всегда содержали женщины и что Н. приходил сюда пить кофе по утрам и читать газеты. Я спросил, не знает ли он, брал ли Н. с собой хлыст, и мой новый друг усмехнулся, уронив пепел на лацкан. Он был не туринцем и даже не итальянцем; я никак не мог определить его акцент. Он, как и все, спросил, ходил ли я посмотреть на Плащаницу. Я ответил, что однажды пытался увидеть ее, но потерпел неудачу. Он сказал, оглядываясь через плечо и понизив голос, что может устроить мне частный просмотр, если я захочу, — будто предлагал контрабанду или женщину. Я как-то замял эту тему. Он назвал мне свое имя, но я не расслышал:

звучало как Зороастр. Он сказал, что он врач. Думаю, он знает, кто я. Теперь мне будет трудно его избегать.

Я не должен был красть деньги Лауры. Но это было так легко, что я не смог устоять, дом в Белгравии был настоящей шкатулкой с драгоценностями, набитой оставленными без присмотра безделушками. Я чувствовал, что обязан разбудить какую-то часть этого дремлющего богатства. Лаура доверяла мне. Иными словами, она не могла поверить, что кто-либо, по крайней мере, из тех, кого она знала, мог себе позволить ее обокрасть. Она была довольно скупой — я уже упоминал это? — такой, какими бывают только очень богатые люди. Она хранила огарки свечей, останавливала стрелки на чулках мазками лака для ногтей и тому подобное. Однако при этом отказывалась страховать свои брильянты. Жаль. Она могла бы избавить нас от боли и трат. Трат с ее стороны, боли — с моей.

У меня был план: как можно скорее попасть в Америку. Вот куда я все время стремился. Я не был обычным, полным надежд беженцем из запутавшейся и разваливающейся Европы. Америка для меня не была страной свободы, светлых перспектив и новых начинаний. Нет: Америка была пустотой. В моем воображении в этой стране не было людей — лишь огромные, застывшие, безмолвные здания, блестящие машины и бесчисленное множество пустынных мест. Даже название было будто случайно выбранным словом или же неразрешимой, изобилующей гласными звуками анаграммой. В Америке от меня не потребуют кем-то быть или чему-то верить. Никакое дело не потребует моей поддержки, никакая идеология не потребует моей приверженности. Я бы просто существовал там — безразлично движущаяся точка во времени, серебряная пуля нигилизма, проникающая сквозь все препятствия и оставляющая отверстия в любом съеденном молю памятьнике так называемой цивилизации. Вера отрицания! Именно она должна была стать основой моей новой религии. Страстная и всеобъемлющая вера в ничто. То, что я похитил у Лауры, я считал ее вкладом в мою Церковь Единственной Души. Мои долги — ее долги.

Снова стояла весна, когда двое молодчиков подстерегли меня в парке. Здоровенные парни, они были не такими большими, как я, но все же достаточно мощными. Есть профессионалы во всех сферах жизни, и, несмотря на некоторую первоначальную возню, работу они выполнили основательно. Все происходило без слов. Не знаю почему, но я не звал на помощь, хотя в те дни на всех углах круглые сутки дежурили полисмены. Любопытно, но я вспоминаю этот инцидент со

стороны, будто не участвовал в нем, а был свидетелем, плохим самаритянином, отсидевшимся в кустах. Вот я вижу себя там, бодро идущим по тропинке с высокими лавровыми изгородями с обеих сторон. Приближаются сумерки, вокруг так красиво и спокойно, в воздухе пахнет травой после первого покоса. На мне серый, двубортный, в тонкую полоску костюм, коричневые башмаки, серая фетровая шляпа с черной атласной лентой — джентльмен с головы до пят. Я чувствую себя полным энергии и замыслов, я непрерывно работал тайком — секретность была обусловлена негласным правилом, установленным леди Лаурой, согласно которому я, как ее оплачиваемый любовник, должен был выдавать себя за любезного, но малообразованного болвана, — недавно я закончил и отправил в умеренно либеральный нью-йоркский журнал то, что считаю своей первой крупной работой, — эссе “Оскверненный Шелли”, которым ты так восхищалась. Однако тут передо мной встает суровая реальность в виде одного из двух моих обидчиков, в кепке и узком блестящем костюме — он просит дать ему прикурить. Я должен был догадаться. Пока я рылся в карманах, другой подошел сзади и ударил меня свинчаткой. Да, настоящей свинчаткой. Я, должно быть, почувствовал его приближение и начал поворачиваться, потому что удар пришелся чуть выше намеченного и попал мне в ухо, а не позади него, то есть в точку, куда, как мне потом сказали, целился бы опытный грабитель. Оглушенный, я повалился в объятия стоявшего передо мной парня. За ударом последовали напряженные толчки — он пытался освободиться от меня, а в это время владелец свинчатки неуклюже кружился вокруг нас, выискивая возможность ударить меня снова. От того, за кого я цеплялся, пахло сажей — я думал, что эта деталь сильно заинтересует полицию, но ошибся; возможно, жестокие нападения из засады являются или являлись обычной подработкой для трубочистов, — многие английские обычаи так и остались мне неизвестны. Он тяжело дышал, и мне показалось, что сейчас ему меньше всего хочется со мной возиться. Ухо сердито гудело в месте удара свинчатки. В краткий момент затишья, когда все мы сцепились в напряженном равновесии, я увидел, как на землю падает на кончике дрожащей тонкой нити окровавленной слюны мой зуб. В конце концов им удалось стащить меня с тропы к лаврам и сбить с ног, после чего они взялись за меня всерьез. Не всем известно, что глазное яблоко — одна из самых прочных и эластичных мышц человеческого тела. Можно ударить по нему молотком, не разорвав, хотя, конечно, вряд ли он после этого будет выполнять свои функции. В тот вечер я лишился левого глаза от

удара каблуком ботинка. Какой взрыв цвета я увидел на секунду: фейерверк красных, зеленых и золотых огней, а затем воцарилась глубокая, мягкая, атласная чернота, которая, как я сразу понял, отныне никогда не исчезнет. Возможно, это был тот самый каблук, с острой, как бритва, металлической набойкой, который, порвав штанину, вскрыл мне внутреннюю поверхность левого бедра и разорвал целый нервный ганглий.

Меня нашла парочка влюбленных, юноша и девушка, что сейчас кажется мне несправедливым, но странно уместным. Помню, как полицейский склонился надо мной, встав на одно колено с зажатой в изгибе руки каской, и вежливо спросил, вижу ли я его. Мне стало смешно. Мокрое пятно на моем лице оказалось кровью, а не дождем, как я подумал поначалу, хотя никакого дождя не было. Молодой паренек — это он нашел меня — шагнул вперед и вежливо спросил полицейского, могут ли они уйти, поскольку девушку чуть было не стошнило. Моя порезанная нога онемела, ее будто отрезали от бедра. Вскоре приехала скорая помощь, меня погрузили, увезли и поместили в огромную больничную палату, в которой остальные койки, двадцать или тридцать, были пусты и будто злоюще ждали пациентов: простыни разглажены, одеяла заправлены, подушки гладкие, как мрамор. Измученный маленький врач-бульдог подошел и осмотрел меня, нервно вздыхая. Он перевязал мне глаз и приказал отвезти в операционную, где зашивал мне ногу под неумелой и неполной анестезией, после чего меня отвезли обратно в пустую палату и оставили одного. В предраассветные часы мой глаз стал невыносимо болеть, однако, когда я позвал на помощь, никто не пришел. Утром меня перевели в отдельную палату — Лаура поговорила с кем-то по телефону, — а через неделю в больнице решили, что я иду на поправку, и отвезли на машине скорой помощи за город, в нелепо живописную богадельню в коттедже с розовыми кустами, флюгерами, плющом у окон. Работали в больнице одетые в белое монахини, чьи аккуратные мантильи выглядели в моем наркотическом и истерзанном болью сознании призраками гигантских бабочек. Именно здесь Лаура и нанесла мне свой первый визит.

Она заглянула в дверь и прокралась внутрь, морщась и улыбаясь. Я отметил, что она надела обтягивающий синевато-серый шелковый костюм, в котором была в день нашей встречи, или же он был на него похож — она действительно обладала врожденным чутьем к символическому. Она принесла мне корзинку со снедью, бутылку шампанского и стопку книг. Перевела взгляд с книг на мой забинтованный глаз. “Не

очень тактично они с тобой поступили, — сказала она, — ты уж прости”. Она прикоснулась кончиком пальца к моей повязке; я видел, что она пытается сдержать любопытство. “Тебе очень больно, дорогой?” Села на кровать, избегая прикосновений к моей подвешенной на груз ноге под одеялом, и поставила корзинку между нами. Я открыл шампанское. “Мой большой, сильный мужчина”, — сказала она. Когда я наполнил ее бокал, она тихонько пискнула и положила ладонь мне на руку, сказав, что только вернулась из ужасно дорогого места, где провела неделю, и пить больше не в состоянии. Она посмотрела на меня из-под длинных ресниц и усмехнулась, закусив губу. “Ну ладно, — сказала она, — но всего один бокал”. Поинтересовавшись, хорошо ли со мной здесь обращаются, вздохнула и прибавила, что должны, учитывая деньги, которые она платит за мой уход. Я сказал, что ждал ее раньше. “Он разговаривает!” — воскликнула она, хлопнув в ладоши. Затем напустила на себя серьезный вид, надулась и начала перебирать покрывало. “Я бы, конечно, приехала, — сказала она, — но ты ведь знаешь, какая я чувствительная”. Передала мне привет от матери и не смогла удержаться от усмешки. Я тоже улыбнулся. Взяла мою руку и сжала ее. “Ты не очень обижен, дорогой, правда? — сказала она. — И ты меня прости? Они не должны были сделать тебе больно, всего лишь попугать”. Я спросил, кто их нанял. Она пожала плечами. После трех бокалов шампанского в ее глазах появился едва уловимый, устрашающий блеск. Некоторое время мы молчали. Она снова нахмурилась, вытаскивая нитку из одеяла. “Ты взял мои деньги, — мягко сказала она, не глядя. — Ты продал мои вещи. Это было очень дурно”. Порыв ветра ударил в окно, вишневое дерево потрянуло ветками, осыпая розовые цветы. До этого она держала меня за руку, но теперь поднесла ее к губам и поцеловала. “Бедная моя любовь”, — сказала она с грустной улыбкой.

Она оплатила все мои больничные счета. Я написал ее матери, упомянув некоторые причудливые пристрастия Лауры в постели и как было бы неловко, если бы слухи о них попали в газеты, и через неделю получил по почте из Беркшира круглую сумму, чек сопровождался письмом с высокопарными упреками от вдовы. Я выкупил у ростовщика одно из колец Лауры и отправил его ей обратно. Она подтвердила получение запиской, в которой говорилось, что я очень милый и что она уже без меня скучает. Через месяц я уже плыл по Атлантическому океану на запад под конвоем из десяти судов, три из которых были торпедированы и затонули у Азорских островов. На борту я встретил шведского функционера Красного

Креста, и тот пообещал узнать, где моя семья. Через месяц после того, как я прибыл в Нью-Йорк, он сообщил мне, что отец умер от истощения в трудовом лагере на юге Польши, где вскоре после этого была расстреляна мать, у которой не оставалось сил работать. О моих братьях и сестрах, к сожалению, сказал швед, ничего узнать не удалось.

Вот так, моя дорогая.

Третья

По мнению Касс Клив, это были лучшие дни из тех немногих, очень немногих, что им предстояло провести вместе. У нее была цель — позаботиться о нем. Никогда еще она не чувствовала себя столь от себя свободной. Вся энергия и внимание были направлены на него. Сначала она думала, что он умрет, — таким он был вялым и погруженным в себя. Она едва ли могла отличить его здоровый глаз от незрячего — оба казались одинаково пустыми, хотя она постоянно чувствовала, что он за ней наблюдает. Если ему суждено было умереть, он бы умер — это было предопределено. Именно это слово пришло ей на ум: предопределено. У нее было отчетливое ощущение собственной значимости. Она ухаживала за ним с такой же смесью заботы и строгости, какими отличались монахи-ни, работавшие в больницах, где она провела большую часть детства. Она видела себя такой же, как и они, — в белом, бесшумно передвигается с чем-то в руках. В других своих видениях она была брошенной на съедение львам христианкой, перед которой те кротко склонили головы; она слышала вокруг себя дикий рев толпы, взывающей к ее крови, видела над собой круг синего неба, чувствовала горячую пыль под босыми ногами. Вандер был подобен большому больному зверю, который затаился в своем логове; он тихо и тяжело дышал от жары, глаза медленно закрывались и открывались, взгляд пожелтевший, направлен немного в сторону, но не упускает ее из виду. Говорил он редко, бывали дни, когда она не слышала от него ни слова. Был май. По утрам она спускалась вниз, в вестибюль гостиницы, и, когда никто не видел, собирала целыми охапками газеты, разложенные для гостей на большом столе, после чего возвращалась с ними в комнату, садилась на стул у кровати и читала вслух что придется. Время от времени он посмеивался над какой-то нелепицей. Когда ему надоедало слушать, он отворачивался и с трудом поднимал руку, словно отмахиваясь от нее, делал гримасу, зажимурился и с отвращением прищмокивал, будто во рту у него был дурной

привкус. От него пахло, как бы тщательно она его ни мыла. Это был запах, знакомый ей давно, но она не могла понять его природу — сладковатый и мягкий, неприятный, но терпимый, будто под кустами что-то гнило. Она старалась не ходить в уборную четверть часа после того, как он ей пользовался. Наверное, сказал он, его печень гниет. Она с ним не спорила.

Однажды менеджер отеля остановил ее у фонтана в вестибюле и заговорил с ней, он широко, но холодно улыбался и держал руки с растопыренными пальцами перед грудью, будто оперный певец. Он спросил, не желает ли синьор Вандер, чтобы доктор снова осмотрел его. Она отказалась. Он сказал, что гостиница за него беспокоится. Она заметила, что он, как и доктор, красит волосы; они выглядели так, будто их испачкали чернилами. У лифта она обернулась — он все еще стоял у стойки и смотрел ей вслед.

Больше всего ей нравились вечера, когда начинало смеркаться и она могла задернуть шторы. Тогда они оставались одни в целом мире, будто на свете не было больше ни единой души. Она заказывала ужин, всегда что-нибудь простое, омлет или суп — для него, макароны — для себя. Он, конечно, требовал вина, но она делала вид, что не слышит, и он принимался ее ругать. Старый официант, тот, что пришел в первый вечер, больше не появлялся. Она задавалась вопросом, не вообразила ли она его — она часто придумывала людей, — те выходили из ее снов и сновали по миру, не менее реальные, чем все остальные. После того как все было съедено, она ставила поднос на пол за дверью и садилась в ванную без сил. Теплая вода успокаивала ее. Она смотрела на свое бледное тело: кожа слабо мерцает, будто потускневшее серебро, а когда она шевелится, вспышки пробегают по бокам, будто фосфоресцирующее свечение. Дверь ванной она всегда оставляла приоткрытой, опасаясь, что он вылезет из постели, оденется и убежит. Что бы она делала без него? Он стал смыслом ее жизни.

Она почти не спала. То есть она спала, но так поверхностно, что это едва ли можно было назвать сном. Она лежала рядом с ним под простыней, прикрыв глаза, и, если он позволял, держала его за руку; она предавалась воспоминаниям, грезам, представлениям о будущем — возможно, вместе с ним. Иногда ей снились странные, нежные сны, каких она раньше ни разу не видела, — то были скорее переживания, чем сны. На рассвете она всегда бодрствовала. Хотя свет не проникал сквозь тяжелые занавески, она знала, что солнце взошло. Каждую ночь ветер стихал, а утром поднимался снова. У ветра

было имя, сказал он ей, его звали Фен — сезонный ветер в горах. Все жаловались на него — официанты, горничная; они вздымали глаза к небу и издавали неопределенный, какой-то нутряной звук. С горничной у нее поначалу отношения не складывались. Она хотела сама убирать комнату и ванную, менять постельное белье и даже пылесосить, но горничная, очевидно, сочла это вздорной идеей и каждое утро между ними происходила борьба из-за чистых полотенец и простыней. Тогда Вандер что-то сказал горничной по-итальянски, то ли угрожая, то ли предлагая денег, — после этого споров не возникало. Горничная была с юга: невысокого роста, кривоногая, неопределенного возраста, кожа настолько темная, что имела зеленоватый оттенок. От нее пахло чистящими средствами. После того как Вандер что-то ей говорил, она всегда смеялась и, вероятно, даже краснела, но на смуглой коже румянца видно не было. Смеясь, она издавала тихие, гортанные, радостные возгласы, качала головой, а иногда даже вскидывала руки в воздух и с визгом выбегала из комнаты. После того как она уходила и они снова оставались одни, он бросал на нее презрительный взгляд, ложился на спину, закрывал глаза и натягивал простыню до подбородка. В таком положении он был похож на труп.

Со временем, как видно, со скуки, он снова заговорил с ней. Разумеется, это был не разговор, ее ответы его не интересовали. Сидя в постели в старой серой кофте, красноглазый и небритый, он рассказывал истории и анекдоты, делился воспоминаниями о мертвых ученых. Рассказывал и о своей покойной жене. “Магда. Магдалина”, — говорил он, глядя в прошлое и хмурясь, будто в недоумении качая головой. “Она была настоящим вызовом всему тому, к чему я относился пренебрежительно”. Он усмехнулся, приподняв брови, словно приглашая оценить его остроумие. Он велел ей пойти и купить колоду карт, и они часами играли с ней в карты. Он научил ее замысловатым играм, о которых она никогда не слыхала. Она сказала, что любит его, но он посмеялся над ней и сказал “не быть дурочкой”, однако она заметила, как быстро он отвел взгляд, будто испуганная лошадь, обнажая белки — точнее сказать, желтки — своих глаз. Она сказала, что ее сердце принадлежит ему. “Сердце? — переспросил он, запрокидывая голову и в своей привычной манере обнажая зубы. — Сердце? Если бы сердце могло думать, оно бы перестало биться. Так написал один великий писатель, которого ты не читала. Не говори со мной о сердце”. Так он болел: смеялся, притворялся, бросался цитатами. Она звала его Арлекином, иногда Свидригайловым. Он называл

ее Кассандрой. Она сказала, что если она Кассандра, то он — Агамемнон. “Скорее Гагамемнон”, — сказал он и не улыбнулся, а нахмурился. “Сегодня, — сказал он, — я научу тебя играть в пикет”.

Дувший в окно ветер возбуждал ее. Она чувствовала себя подвешенной, невесомой, почти парящей в воздухе. Так ощущаешь себя после взлета самолета, когда тот внезапно освобождается не только от земли, но и от собственной отчаянной попытки взлететь и минуту-две в гудящей тишине плавно несется по воздуху вверх, будто летит не сам по себе, а подброшен вверх могучей рукой. Однажды она сидела в самолете рядом с мужчиной, инженером, который много знал об устройстве вещей, и сказала ему, что никогда не могла понять, как двигатели не отделяются от самолета; он же счел более примечательным то, что самолет способен эти двигатели удерживать. Она сразу поняла, что он имел в виду. Так было и с ней: она была самолетом, а мысли — реактивными двигателями, пытающимися ускользнуть. Малейший толчок мог заставить ее разлететься на миллион частей — все внутри нее с трудом сохраняло целостность, что-то постоянно пыталось от нее отделиться. Одно мгновение дисбаланса, потери равновесия — и все взорвется. Да да, нетерпеливо вторили голоса, — взорвется, все взорвется...

Он не умер. По прошествии двух недель он уже мог вставать и сидеть на солнце у открытого окна. Теперь он снова ее игнорировал. Он стал беспокойным и шагал взад-вперед по комнате, волоча мертвую ногу. Однажды, когда она отлучилась всего на минуту, ему удалось подкупить горничную, и та принесла ему бутылку виски. Когда она попыталась бутылку отобрать, он на нее замахнулся, сверкнув мутными глазами. Но виски он пить не стал. И не умер.

Когда ему стало лучше, ей стало хуже. Голоса вернулись и, объединившись, пытались до нее добраться. Они говорили, что он злой, что он причинит ей вред, может, даже убьет ее. Ночью она впадала в своего рода кому и не могла пошевелиться, хотя разум продолжал работать, словно вышедший из-под контроля электродвигатель. Горничная сказала ей, что Святую Плащаницу должны выставить на всеобщее обозрение, и люди со всего мира приехали в Турин по этому редкому и знаменательному поводу. В это время Вандер был уже достаточно силен, чтобы выходить, и она спросила его, не сводит ли он ее посмотреть на Плащаницу. Она рассказала ему, как Плащаница хранилась в серебряной шкатулке в железном ящике, который, в свою очередь, находился в мраморном ящике в часовне из черного мрамора. Во Францию ее

привезла сама святая Вероника, она бежала со Святой Земли после Распятия вместе с Девой Марией и уплыла на корабле по Средиземному морю сначала на Кипр, а затем на побережье Франции и, наконец, обосновалась в Лангедоке. Катары. Рыцари святого Иоанна Иерусалимского. Отмена Нантского эдикта. Масоны. Герцог Орлеанский, будущий наследник французского престола. Она все это изучила, она знала все секреты. А он издевался над ней и сказал, что Плащаница — подделка; сказал, что знает все о подделках. Неужели она действительно думала, что это образ распятого Христа? Тем не менее он встал и оделся. Сказал, что у него кружится голова. Сказал, что наверняка упадет на улице, и ей придется тащить его за пятки обратно в гостиницу. Он описал, как она бредет с опущенной головой, обхватив его ноги, как оси телеги, а он лежит позади нее на земле, руки откинута назад в форме буквы V, куртка и рубашка задралась, голова стучит об мостовую. Он засмеялся, закурил сигарету и закашлялся. Когда они вышли на улицу, снова дул горячий ветер, от которого пересыхали губы и веки покрывались тонкой пленкой песка. Город казался нереальным, расплывающимся в бушующей жаре под едким солнечным светом. Они шли будто в подводном мраке, под тенью высоких аркад, по полированным мраморным тротуарам виа Рома. Она крепко держала его за руку и задавалась вопросом, чувствует ли он ее дрожь. Несметные толпы снова ли по пыльным площадям туда и обратно, с озадаченными, рассеянными, нахмуренными лицами, будто произошло нечто значительное, но незримое. Поначалу она думала, что эти люди блуждают бесцельно, но потом поняла, что в их движении должна быть какая-то закономерность, и увидела все будто сверху, с большой высоты: мириады рядов людей сливаются, распадаются и снова соединяются, рисунок меняется в каждой точке, но при этом, в своем целом, всегда остается неизменным — огромное множество индивидов, подвижные тайными, нерушимыми законами, и она находится в центре всего этого; она — невольный движущийся центр. Когда они вошли в собор, Вандер присел на скамейку отдохнуть, и его трость упала на пол с театральным грохотом. Священник с синеватой челюстью слушал исповедь: раздраженный и приунывший, он сидел в открытой кабинке, склонив голову набок, чтобы лучше слышать сбивчивое бормотание старой женщины, опустившейся на колени у его правой ноги. Часовня Плащаницы была закрыта. Почему она закрыта? Она не могла этого понять. Неужели горничная солгала ей? Она взволнованно металась из стороны в сторону, спрашивая туристов с фотоаппаратами, знают ли они, почему часовня за-

крыта. Она чувствовала, что Вандер наблюдает за ней, видела его ухмылку. Туристы непонимающе главели на нее и двигались дальше, не обращая внимания на ее слова. Она подошла к священнику в кабинке. Он нахмурился и что-то резко выпалил хриплым, сердитым шепотом. Тогда она вернулась к Вандеру и сжала его руку в своей. “Ее показывают где-то в другом месте”, — сказала она и посмотрела на него.

На улице стало еще жарче, плотный воздух гудел, будто кто-то ударил в большой медный гонг. Гуляющих стало меньше — все ушли в рестораны и гостиницы в поисках тени и прохлады. Вандер снова пожаловался на головокружение. Его лоб и верхняя губа покрылись каплями пота, на рубашке под мышками и на спине темнели мокрые пятна. Мимо прошел человек с волосами морковного цвета. На нем был блейзер, мутно-желтая рубашка и грязные кроссовки, она подумала, что он похож на сбежавшего из цирка клоуна. Вандер, как видно, узнал его и попытался что-то сказать, но тот поспешил дальше, нервно оглядываясь через плечо.

Наконец они нашли место, где выставлялась Плащаница. Это было в большом полосатом шатре, установленном на лужайке между церковью и маленьким приземистым дворцом; однако, войдя внутрь, они обнаружили, что шатер был тщательно продуманным входом в церковь или во дворец, трудно сказать, куда именно, но Плащаница выставлялась где-то там. Свет под полотном был мягким и плотным, будто во сне. Здесь же были и билетные кассы, и сувенирные киоски, и вертикальные пластиковые дисплеи, которые при нажатии той или иной кнопки загорались и рассказывали историю Плащаницы. Вандер начал читать и фыркнул. Они пошли дальше. Поток людей сливался с ними, невыразительный и расплывчатый, как и тот, что был на площади. Вандер попытался купить входные билеты, но человек в стеклянной будке покачал головой и сделал рукой рубящее движение. “Chiuso, — мрачно сказал он. — Chiuso”¹. Вандер быстро заговорил, повышая голос, но человек снова покачал головой и выразительно пожал плечами. “Domani”², — сказал он. Вот и все: Плащаницу ей увидеть не суждено — так задумано свыше. Облегчение разлилось по телу и теплой, словно кровь, жидкостью побежало под кожей. Она начала плакать, или смеяться, или и то и другое одновременно. Икнув, она быстро развернулась и пошла прочь и от Вандера, и от человека в будке.

1. Закрыто (*итал.*).

2. Завтра (*итал.*).

Она стояла на пожелтой траве у шатра, вытирала слезы и тяжело дышала. Потом приложила руку ко лбу, прикрывая глаза от полуденного света, и огляделась по сторонам. Что она искала, что ожидала увидеть? Она не знала. У нее было ощущение, что над городом парит нечто огромное и ужасное, нечто призрачное, состоящее из воздуха, — пульсирующее и яркое, невыносимо яркое, слишком яркое, настолько яркое, что это нечто нельзя было увидеть.

Когда Вандер зашел в номер, она уже лежала на кровати в полумраке комнаты с задернутыми шторами. На секунду она не поняла, кто стоит в дверях, подсвечиваемый светом из коридора. Она чувствовала себя потерянной и будто бесплотной. Неужели у нее случился припадок и она об этом забыла? Он вошел, закрыл дверь, пересек комнату и остановился у кровати, глядя на нее сверху вниз. Она слышала его хриплое дыхание. Он пытался понять, спит она или нет. Он бросил что-то на кровать рядом с ней. Она села, он подошел к окну и раздвинул шторы. Свет ослепил ее. Она подняла то, что он оставил на кровати. Это был картонный тубус. Внутри него была репродукция Плащаницы, напечатанная на длинной узкой полоске имитирующей пергамент ткани. Она попыталась развернуть ее по всей длине кровати, но репродукция снова захлопнулась, как рулонная штора; чтобы придавить ее, на один конец она положила свои босоножки, на другой — тяжелый путеводитель. Вандер стоял у окна, повернувшись к ней спиной, голова приподнята, будто он искал что-то в небе, как искала она, когда стояла на траве за шатром. Она надолго застыла, стоя на коленях на кровати, изучая удивительно спокойное лицо распятого Спасителя. «Похож на тебя, — сказала она Вандеру в спину. — Вылитый ты».

Внутри нее было что-то не так; она чувствовала, как что-то скользит и разбухает. Она поспешила в ванную, и ее вырвало.

Она писала в блокноте, рука летела по страницам. *Венский договор какого года? восстановил савойских королей и установил сюзеренитет. Аделаида из Суз вышла замуж за Оттона, сына Гумберта Белорукого. Его руки морщинистые, старые. Сюзеренитет закончился. Как им не быть таковыми, если все в нем стареет? Ребенок без лица. Эмануэле Филиберто Железноголовый. Белая рука, железная голова без лица. Отец. Я пишу это, чтобы ты знал. Я здесь из-за тебя. Я спросила тебя, как жить, и ты сказал, что надо не жить, а действовать. И засмеялся. Я не знаю, что делать. Мне все время кажется, что я нахожусь в тюрьме. Он меня не поймает. Древние маркизы Изреи и Монферрато, железная гора. Железо-железо, у подножия железных гор горы горы.*

Он спросил ее, что она пишет, и попытался прочесть через ее плечо. Он походил на ее отца, то, как он говорил, дразнил ее, высмеивал. Он подражал ее акценту, называл ее своей коллегой, своей Кэтлин Ни Хулихан¹, своей дикой ирландской девушкой. Она увидела, как лежит у него под рукой, послушная, как... что-то, она не знала что. Она придумывала, как заставить его быть к ней внимательным. Она видела себя марионеткой, с лакированными щеками и застывшей, безумной ухмылкой, выскакивающей перед ним: посмотри на меня, посмотри на меня! Она рассказала ему об Отоне и Аделаиде. Он только смеялся. Шли недели, пышно расцветало лето. Теперь голоса говорили только о нем, всегда о нем. У него были красивые руки, она боялась их, этих длинных, тонких пальцев. Снова и снова он спрашивал ее, что сказал ей Макс Шодейн, требуя подробностей. Она солгала ему, ответив, что ничего не знает, кроме того, что он написал те статьи для газеты. Потом он смотрел на нее, думал, думал, его челюсть работала. Он ее боялся, она это видела. Но она не причинит ему вреда. Нет, не причинит. Арлекин.

Много лет назад я застрял на пару семестров в Америке, в высоком заснеженном кампусе, далеко на западе. Я собирался занять должность в Аркадии — первую из предполагаемой череды должностей, — и меня пригласили в Ледяные горы, где от меня, к счастью, требовалось работать мало, а вознаграждение было соблазнительно большим. Магде понравилось это место, его унылые славянские пейзажи, белые березы и синие птицы, и мы могли бы так там и остаться, если б я того захотел. Мы пробыли в этом месте уже неделю, ежась от холода в арендованном деревянном сером доме с качелями на крыльце и большим деревом в саду, усеянным белками с глазками-бусинками, когда нас пригласил Президент колледжа на вечер, посвященный окончанию или началу университетского года, — за все время, проведенное мной в академическом Новом Свете, я так и не познал его ритуалов. Мероприятие оказалось не самым тоскливым. Президент жил в прекрасном, старом, колониальном доме на холме, над университетским городком. В холле стоял огромный дровяной камин, чьи потрескивания напоминали выстрелы. Встретил нас учтивый пожилой негр в белой куртке и белых перчатках, кото-

1. Символ ирландского национализма, аллегория Ирландии. Кэтлин Ни Хулихан изображается старухой, которой нужна помощь молодых ирландцев.

рый поднес нам серебряные кружки дымящегося и, как я быстро понял, чрезвычайно крепкого пунша. Мы с Магдой никого из гостей не знали, но значения это не имело. Люди подходили и говорили с нами в той беззаботной, немного двусмысленной манере, свойственной профессорам колледжа и их супругам в американской глуши. Галстуки и бабочки в горошек были у них в почете, а платья, которые в тот год носили женщины, были тесны в груди и широки в юбке, и после третьей кружки пунша и недели пребывания на разреженном горном воздухе у меня возникло смутное ощущение, что я очутился среди стаи ярко оперенных, галдящих птиц, чьи пухлые, розовенькие самки казались весьма доступными.

Президент Фрост — как он гордился своим званием! — был большим, мускулистым, крепким шведом с копной льняных волос, открытой улыбкой и рукопожатием, которым можно было колоть грецкие орехи. Он приветствовал меня тепло, но довольно апатично и познакомил с женой — красивой, ширококостной женщиной в алом платье с блестками, которая по какой-то причине приняла меня за русского, и, посмеиваясь, сказала, что, должно быть, редкие, скудные снегопады в этой части мира не сравнятся с теми обильными северными метелями, к которым я привык. Она немедленно взяла под свою опеку Магду, на которую чем-то была похожа, в то время как президент схватил меня за рукав и повел в угол комнаты, где, по его словам, мы могли спастись от всей этой трескотни. Говорил он просто и умело, развязно покачиваясь на каблуках и глядя поверх голов своих гостей — мы оба были высокого роста, — словно дозорный, оглядывающий горные вершины; он не дожидался моих ответов и, вероятно, даже не прислушивался к самому себе. Затем он замолчал, повернулся ко мне с кривой ухмылкой дровосека и задумчиво оглядел меня с головы до ног. “Позволь дать тебе совет, сынок, — сказал он. — Ты красивый молодой парень, несмотря на военные раны, и я не сомневаюсь, что половина здешних студенток будет от тебя без ума. Но все же будь осторожен и помни: не кончай в кого придется”. Некоторое время мы молчали, — что я мог сказать? — а он продолжал пристально смотреть на меня, затем взорвался громким смехом и, игриво ударив меня кулаком по плечу, пожал руку и сказал, что нам пора присоединиться к дамам.

Я пытался что-то отыскать о синдроме Мандельбаума. Найти информацию было непросто, поскольку г-н Мандельбаум разборчив и навещает лишь немногих несчастных. Болезнь проявляется в различных формах, что затрудняет точный диагноз, но все же есть ряд отличительных признаков.

Припадки, предвараемые чаще всего ощущением призрачных запахов являются наиболее характерными, и из-за них врачи часто ошибочно диагностируют эпилепсию. Шизофрения также является распространенным и ошибочным диагнозом. Есть даже знатоки, считающие, что синдрома как такового вообще не существует — не существует, представьте себе! По мнению доктора Вандера, г-н Мандельбаум на шкале безумия занимает место между маниакально-депрессивным психозом и полномасштабной деменцией — что неизбежно ведет к плохому концу. Пациент будет страдать от иллюзий и компульсий, слышать голоса и становиться жертвой приступов паранойи, иногда экстремального характера. Это я цитирую. Лекарства нет. Были опробованы различные успокоительные, например “Ореад”, “Эмпуза” на основе карбоната лития и даже различные “Лемурсы” и “Ламии”, но результаты оказались удручающими. Прогноз для тех, кого поразил синдром — неблагоприятный, хотя долгосрочных статистических данных недостаточно, так как больные редко доживают — то есть редко позволяют себе дожить — до пожилого или даже среднего возраста.

Я знал, что Касс Клив безумна. Не совсем безумна, но и не в своем уме. В первый раз, когда я говорил с ней лицом к лицу, в вестибюле гостиницы, в то весеннее утро, я сразу понял, что она нездорова. Вероятно, именно это меня в ней и привлекло. А еще — молодость и особая, болезненная красота — мне, кстати, потребовалось много времени, чтобы разглядеть ее, — но больше всего меня очаровывал хаос и сила ее разума. В ее присутствии становилось неудобно. Днем из нее лились неудержимые потоки бессвязных разговоров, перемежающиеся глубоким молчанием, в котором можно было расслышать телеграфный треск ее натянутых, как проволока, нервов, а ночью я чувствовал, как она лежит рядом без сна, на этой кровати, и ее разум, заикленный на своем неуспешном и неудержимом кошмаре, лихорадочно работает. Она была полем битвы, где непостижимые силы вели непрерывную войну. Она состояла из навязчивых желаний, она обкусывала свои и без того сгрызенные до мяса ногти, пока из пальцев не сочилась кровь. Из-под нависающих волос я ловил ее взгляд, в котором скользила первобытная подозрительность, — так животное наблюдает из укрытия за приближающимся охотником. Я понимал, что она начинает слышать голоса по тому, как она выжидающе наклоняла голову и настороженно замирала, затаив дыхание. Временами мне казалось, что голоса эти настолько громкие, что я сам улавливаю их отголоски — какой-то ускользающий гул, похожий на

барабанивший по крыше дождь. Потом начались фиксации, если я правильно употребляю этот термин. Она замечала какую-нибудь крошечную деталь и развивала ее в фантастических полетах измышления. В ее видении все в мире было связано; она могла проследить распад империй по изгибу травинки, и при этом именно она находилась в центре всего происходящего. Все вещи затрагивали ее. Самое далекое событие оказывало на нее непосредственное влияние, или она сама имела на него влияние. Сила ее воли и весь ее изрядный интеллект были сосредоточены на том, чтобы сохранять порядок в реальности. Это была ее задача, и только ее.

Она получала своего рода вознаграждение. Болезнь, омрачавшая ее разум, заставляла его гореть с яростной, пугающей силой. Если бы ее разум был в порядке, она могла бы стать настоящим ученым; не великим, скорее всего, но все же ученым. Она могла соединять разрозненные нити паутины и ткать из них нечто сияющее, как бы быстро оно ни расплзлось в ее руках. Я чувствовал в себе профессиональное неодобрение, почти огорчение — будь она моей ученицей, как я бессмысленно отмечал про себя, я мог бы показать ей, как направить избыточную энергию в определенное русло, тем самым ее упорядочив. Она не могла удерживать мысль достаточно долго, чтобы достигнуть конечного результата. Ее энтузиазм был кратковременным, а выводы — неубедительными. Хуже того, она не могла дистанцироваться от предмета изучения — да и как, если тем самым, главным, предметом была она сама? Например, в том исследовании про детей Руссо, которое она начала и не закончила — она привезла его с собой, большую стопку широкоформатной, измятой, испсанной бумаги, думая произвести на меня впечатление, — она провела хитрое, но очевидное сравнение между судьбой тех несчастных младенцев, сразу после рождения брошенных философом и их матерью на попечение детского дома, и своим собственным положением духовной сироты, каковой считала себя. И Клейст, чьи последние тяжкие часы на земле она попыталась описать в исчерпывающих подробностях, был в ее представлении, как я быстро понял, не более чем ее предвестником. Она с легкостью поступала и так же быстро отчислялась из полудюжины образовательных учреждений: ее отец, по ее словам, некогда известный, но ныне забытый всеми актер, был финансово состоятелен. Удивительно, что она не нашла свой путь в Аркадию. Однако самым трудным, самым досадным в общении с ней было то, что даже в самых безумных полетах фантазии в ней всегда сохранялось зерно простой, разумной, банальной реальности, за что она требо-

вала и получала признание, а затем использовала это признание как крючок, на котором еще глубже вытягивала собеседника в водоворот своих заблуждений. Она была хитрой. Она всегда могла рассудить — хорошо, не всегда, не до конца, — как далеко она может зайти и когда нужно остановиться. Я все еще вижу, как она сидит на кровати, ноги скрещены, локти на коленях, голова втянута в плечи, рука в волосах, и она говорит, говорит, говорит, а потом вдруг смотрит исподлобья, чутко, с первого взгляда оценив масштаб моего скептицизма, раздражения или скуки и в соответствии с увиденным либо проявляла настойчивость, либо отступала.

Самым странным из всех проявлений ее болезни, более жутким, чем припадки, было состояние опустошенности, в которое она внезапно впадала и из которого ее нельзя было вывести до тех пор, пока она сама не возвращалась к жизни. В те промежутки времени она затихала и цепенела, но лицо ее было таким оживленным, что у меня не было сомнений: она полностью в сознании, но сознание ее переносится в другое место. Признаюсь, это ее состояние меня сильно нервировало. Она спотыкалась на середине предложения и замирала, словно дышащая статуя, и я чувствовал, как она покидает себя, — так древние верили, что ощущают, как душа расстается с телом умирающего. Я тоже замирал, зачарованный, будто видел приведение, и ждал ее возвращения. Мы никогда не говорили об этом. Я никогда не спрашивал, где она была, и даже знала ли она, что ее не было. Собственно, я никогда не упоминал об этих эпизодах, жестко и деспотично сдерживая себя, будто имел дело с примитивным табу. Так же как она сохраняла наш мир, я должен был сохранить что-то в ней — последний и жизненно важный островок уединения, личной тайны, равновесия. Однако, как бы я ни представлял себя низко склонившимся в иератическом подчинении у ног капризной богини луны — хотя они были по-своему прекрасны, ее большие, длинные, тонкие, бледные ноги, — все же должен сказать, что я вел себя с ней нехорошо; да, я обращался с ней плохо. Она была помешанной и совершенным ребенком — бедная, потерянная, мятущаяся душа, которая доверяла мне, а я предал ее доверие. В свою защиту — хотя я не заслуживаю защиты — я приведу только два доказательства, первое является следствием второго. Я был смущен. Однако смущаться можно по разным причинам. В данном случае меня бросало в пот, как бывает во сне, когда оказываешься без штанов на обозрении толпы. Не поймите меня неправильно. Я был смущен не оттого, что воспользовался существом, которое было значительно младше меня и лишено здравого смысла. Меня

не волновало, что официанты гостиницы прячут ухмылку, что Франко Бартоли морщится, что Кристина Ковач, грустно улыбаясь, выражает мне свое покровительственное сочувствие; относительно похоти и ее плодов я всегда был выше добра и зла или, по крайней мере, за пределами приличия и дурного вкуса. Нет, причиной моего смущения был тот простой факт, что я любил ее.

Надеюсь, я выдержал достаточно длинную паузу, чтобы смех, улюлюканье и свист толпы утихли. Теперь я должен объяснить это поразительное заявление. Для меня было большим сюрпризом, большим потрясением на этом позднем, последнем этапе моей жизни, что я оказался пристанищем такого внезапного и полузабытого — если не сказать полностью забытого — чувства. Внутри каждого старика, или, во всяком случае, внутри меня, живет нестареющий юноша, которому всегда не хватает любви, поэзии Китса, лунного света и который при малейшем поощрении, в самых неподходящих обстоятельствах выскакивает наружу с букетом цветов, трепещет всеми членами и готов карабкаться по стеблям плюща к увитому розами балкону, к спальне возлюбленной. Он серьезный, важный, решительный, этот раскрасневшийся и падающий в обморок Ромео; он стремится к большему, нежели простому удовлетворению плоти. Несмотря на равнодушную позу, которую я принимаю в любви, как и все подобные мне люди — я имею в виду мужчин, старых или молодых, — я подползаю к женскому телу на коленях своей души. Никогда, с того апрельского вечера, в ранней юности, когда испорченная маленькая Лили Эрстенхайм приподняла юбку в тени под лестницей нашего многоквартирного дома, смеясь, ухватила мою напрягшуюся девственную плоть и легко, как леденец на палочке, засунула ее в горячую ямку между своих тощих бедер; повторяюсь, никогда не мог я пересечь эту святую из святых границ, где бы ни встречал ее, без мистической дрожи. Ввести свою живую плоть в живую плоть другого — что может быть большим святотатством?!

Я не говорю, что возвышенное состояние благоговейного трепета сохраняется, когда тела потеют, простыни путаются и появляется особый запах водорослей и аммиака после того, как все кончено. После первого раза, первых двух раз, в гостиничном номере, когда довольно сильно пьяный и непонятно чем напуганный я бросился на Касс Клив в ее постели, в моей голове, конечно, сразу возник вопрос: как избавиться от нее. Горький опыт в начале моей академической жизни преподал мне простой, но категоричный урок: можно уложить студентку в постель однажды, и все сойдет с

рук, но повторить этот трюк — все равно что поклясться завести детей, построить красивый большой дом, давать званные обеды, отправляться в заграничные путешествия, поселиться в загородном домике, сохранять теплые, близкие отношения на протяжении длительного и активного периода после выхода на пенсию, затем проливать слезы на могиле и оставить солидное наследство в утешение. Лежа в гостинице в тот долгий день, я обдумывал свое затруднительное положение. Да, оказалось, Касс Клив вовсе не была мстительной недоброжелательницей, стремящейся уничтожить меня и мою репутацию, как я ожидал; она была просто умной, но неуравновешенной молодой женщиной, ставшей свидетелем юношеской глупости великого человека и желавшей извлечь пользу из своего открытия. Может быть, этих часов страсти в объятиях грешного профессора будет достаточно, чтобы купить ее молчание? В конце концов, сказал я себе, этот негодяй Шодейн мог ведь и не раскрыть ей истинного секрета, секрета моей или, я бы сказал, подлинной личности Акселя Вандера. Да, поцелуй, грубые объятия, несколько хорошо отработанных проявлений нежности — *никогда, моя дорогая девочка, никогда не испытывал я такого, такой...* — после чего я могу встать с этой кровати, надеть шляпу и уйти. Но сделать этого я не мог. Поначалу найти оправдания, чтобы не порвать с ней, было легко. Мне же нужно время, не так ли, чтобы вытянуть из нее все, что она обо мне знает? И у нее не все в порядке с головой, помните: если я отпущу ее сейчас, кто знает, что она еще выкинет, чтобы меня разоблачить? Даже если бы она распустила слухи, что я уложил ее в постель, я уже сделался бы посмешищем, — существует ли что-то потешнее похотливого и ослепленного страстью старика? — и, кроме того, я не был бы удивлен, если бы по какому-нибудь старинному, но все еще действующему закону этой патерналистской и ревностно католической страны чудовищная разница в возрасте сделала бы меня виновным в изнасиловании. Нет, нет, я должен удержать ее, пока не разработаю план.

Однако, как я ни старался, я не мог скрыть от себя того факта, невыносимо позорного для меня, что, придумывая отговорки, чтобы оставить ее при себе, под контролем — ведь только это гарантирует мне безопасность, — я потерялся в своей любви, как простой юнец. Полагаю, она была последним костром в моей жизни. Это та часть повествования, которую я хотел бы пропустить. Я не нахожу себе места, вспоминая об этом. Я хотел доставить ей удовольствие. Хотел, чтобы она восхищалась мной. Хотел, чтобы она растворилась в моих ру-

ках, беспомощная от изумленного желания и обожания. Я делал все глупости, какие только делает старик, влюбляясь в девушку. Естественно, я старался казаться молодым. Подшучивал над своими физическими недостатками. Да, я даже купил себе новый яркий галстук. Я с воодушевлением мечтал — я краснею, краснею — о том, как отвезу ее в какую-нибудь уникальную, сказочно дорогую клинику, где ее излечат от хвори, где мы вместе изгоним непрошеного гостя, г-на Мандельбаума. В своих грезах я рисовал себе это место: сверкающий белоснежный комплекс, ловко замаскированный под горнолыжный курорт, прижимается к альпийской скале, тихие коридоры, улыбающийся персонал, открытая веранда, где моя любовь в безупречно чистом халатике возлегает в полудреме в кристальном, благоухающем соснами воздухе; с одной стороны держу ее за руку я, нежно, будто она спящая птица, а с другой — добрый доктор Юнгфрейд, в очках, с бородкой и набитой ароматным табаком трубкой, он снисходительно улыбается нам обоим, исцеляя уже одним светом своих добрых глаз. Потом мы бы вместе отправились в чудесное путешествие. Побывали бы везде: в Париже, в Нью-Йорке, на горе Сакатеколука, на мифическом острове Хай-Бразил, на Острове Блаженных! И я научил бы ее всему, что узнал за долгую жизнь. Потому что я, конечно, знал, что путь к ее сердцу лежит через мой разум. Я бы написал, наконец, шедевр, который все эти годы был заперт во мне, ожидая, когда она придет и его отопрет. Она была бы моей Беатриче, моей Лаурой, моей Трилби. Какие времена бы у нас настали! — да что там время: ради нее я бы жил вечно. Это была великолепная фантазия. Однако, если бы я питал к ней настоящие, искренние чувства, я бы защитил ее и не позволил выскользнуть из-под моей опеки, будто наполненный до краев стакан, выпадающий из рук пьяницы. Но даже это не так, даже пьянство я не могу винить. Я был так невнимателен. Истинным объектом моей заботы была не она, так называемая любимая, но я сам, так называемый любящий. Но не всегда ли дела обстоят таким образом? Разве любовь — не зеркало из полированного золота, в котором мы созерцаем свое сияющее “я”? Ах, посмотрите, как я пытаюсь избавиться от своей вины: поскольку все влюбленные в действительности любят только самих себя, я всего лишь один из них. Так не пойдет — нет, не пойдет.

Я — сейчас это очевидно — целиком состою из притворства. Может, я не уникален в этом и так обстоят дела у всех людей, не знаю, и мне все равно. Однако я доподлинно знаю, что всю жизнь я пребывал в уверенности или хотя бы воображал, что за мной постоянно наблюдают, постоянно следят, и

весь сосредоточился на том, каким я выгляжу; загляните за фасад полуразрушенного дома и вы ничего не найдете, кроме кучи опилок, нескольких шатких распорок и спутанного комка проволоки. Во всем, что я пишу, нет ни капли искренности. Я создал голос — как когда-то создал репутацию — из материала, украденного у других. Акцент, который вы слышите, не мой, ибо у меня нет акцента. Я не могу поверить ни единому слову из собственных уст. Я использовал Касс Клив в качестве испытания моей подлинной сущности. Нет, нет, более того: я ухватился за нее как за свою самость. Именно это я и искал в ней, не удовольствие или молодость, или последние несколько крошек грандиозного пиршества жизни — ничего легкомысленного; она была моим последним шансом стать самим собой.

Между прочим, интересно, что я забыл упомянуть, насколько мое нынешнее состояние напоминало ту фантазмагорическую пародию на влюбленность, в которой заблудилась в конце бедная Магда. Мысленно она будто вернулась в первые дни нашей совместной жизни. Она садилась рядом и гладила меня по руке или шее, ласково что-то воркуя. Ее улыбка, застенчивая, но настойчивая, походила на улыбку девушки, впервые застигнутой врасплох страстью. Ее широкий лоб разглаживался от морщин, глаза прояснялись. Она ходила за мной по дому, вздыхала от любви и, что еще хуже, тихонько и непристойно хихикала. Я не знал, что делать с этими гротескными проявлениями страсти. В любом случае в своем разрушенном сознании она наверняка приукрашивала прошлое, ибо я не припоминаю, чтобы когда-либо играл с ней в подобные эротические игры. Возможно, она принимала меня за кого-то другого, может, за моего предшественника, поляка. Но стал бы этот помешанный на мускулах маленький грубиян охотнее меня проявлять подобную обременительную задушевность? А может, это была другая любовь. Может быть, она принимала меня за ребенка, которого не могла иметь — ранний неудачный аборт сделал ее бесплодной, — и думала, что я и есть ее огромный, древний, хромоногий, циклопический сын. И все же меня тревожило то, как она влияла на меня, пребывая в этом состоянии. Однажды, когда мы сидели рядом на диване в гостиной, я пытался читать, а она с легким стоном нежности положила свою тяжелую голову мне на плечо — был полдень, а я уже начал пить, — и я неожиданно заплакал. Магда подняла голову и посмотрела на меня с выражением какого-то радостного удивления. Она поднесла руку к моему лицу, поймала одну слезинку на кончик пальца и с удивлением рассматривала ее: пухлая прозрачная бусинка сияла,

увеличивая завитки ее кожи и несла на краях крошечное, изогнутое отражение окна, перед которым мы сидели.

Думаю, нет нужды говорить, что в присутствии Касс Клив я не плакал. Как влюбленный старый сатир, я поначалу споткнулся, завидев длинноногую нимфу, но все же не изменил своим инстинктам и оставался хитрым и скрытным. Я был осторожен и делал вид, что держу ее на расстоянии вытянутой руки. Я смеялся над ней, хватал за запястья и сжимал железной хваткой, пока она не бледнела от боли. Тем не менее, несмотря на все фанфаронство и заносчивость, время от времени у меня во взгляде, пристальном или брошенном украдкой, появлялся неуверенный, подрагивающий, покорный, умоляющий свет, который даже она, одержимая собой, не могла не распознать, не понять его значения.

Я пытался, пытался узнать ее. Я пытался рассмотреть ее, всю, целиком. Я пытался погрузиться в ее внутренний мир, но даже в те редкие минуты, когда мне удавалось пробиться сквозь сплетение фантазий и иллюзий, в плену которых она оказалась, я попадал лишь в безвременье детства, где царила невыразительная обыденность, — вероятно, только там и мог оказаться посторонний. Ее невозможно было познать, она не была едина и не присутствовала в реальности всецело. Она, как и Магда, была нечто среднее между вялыми, безвольными и сверходушевленными, между теми существами, про которые говорят, что они находятся между землей и небесами. Несмотря на все заверения, которые я себе позволяю, я — душа самая обычная. Мои желания человеческие, мои устремления приземленные. На краю могилы я был счастлив и благодарен за то, что был с девушкой, — должен ли я отрицать это? А она, чего она хотела от меня? В то время я думал — ибо думать так было удобно, — что выгодой, которую она надеялась извлечь, было самоутверждение, немного славы или, если славу обрести не удастся, то по меньшей мере скандальная известность. Как я ее недооценивал!

Когда же оно зародилось, это большое чувство, когда я утонул в этом Рубиконе? Невозможно сказать точно, но я выделяю одно воспоминание, которое, приходя на ум, вызывает наиболее выразительную, наиболее пронзительную из всех мук боли, которым я подвержен сейчас. Это было в конце того срока навязанной псевдо-госпитализации в гостиничном номере, когда она не упускала меня из виду более чем на минуту. Моя печень наконец-то немного оправилась от всевозможных алкогольных посягательств, от каких она страдала в течение десятилетий и особенно с тех пор, как я приехал в этот город. Со времен юности не было ни дня, ко-

гда я был совершенно трезв, и теперь, после двух недель без алкоголя, в голове была такая ясность, что у меня слегка кружилась голова. Мои руки почти не дрожали, и это у меня, у кого руки дрожали с детства. У меня было то обостренное чувство самосознания, то с трудом выносимое чувство открытости миру — так ощущается открытая рана, — которое в последний раз я испытывал в детстве, когда любая болезнь казалась коконом, из которого можно прорваться в новую, дрожашую, все еще липкую и полупрозрачную версию прежнего, менее развитого “я”. Все вокруг меня было заостренным, ясным и почти болезненным на ощупь и даже на вид. В тот день, день, который я вспоминаю, начинало смеркаться, ветер стих, воздух был горячим и неподвижным; я стоял у открытого окна гостиничного номера и заново учился завязывать галстук — удивительно как болезнь лишает простейших навыков, — и внизу, на улице, все двигалось, издавало звуки, какие-то птицы медленно кружили на огромной высоте, и если я наклонялся вперед и вытягивал шею, то мог видеть их там, в пыльном, пурпурном вечернем небе. Я стоял спиной к Касс Клив, но видел ее отражение в зеркале гардероба. Что-то в ее позе заставило меня замереть. Она сидела на краю неубранной постели, неподвижная, босая, с опущенными плечами, держа по туфле в каждой руке, и смотрела перед собой с выражением беспомощного отчаяния, которое будто бы отзывалось эхом — что делало картину еще более ужасающей — в бессердечной кричащей белизне простыни, на которой она сидела, и в ехидном отблеске изголовья из красного дерева рядом с ней. Я видел этот взгляд раньше, он появлялся у нее каждый раз, когда невыносимая трудность существования — быть неповторимо и неизбежно самой собой — приводила ее в замешательство посреди какого-то совершенно обыденного и тривиального дела. Для нее пара обуви, левая и правая, могла оказаться такой же неразрешимой загадкой, как и любая другая из тех, перед которой ее ставила жизнь. Я отметил с какой-то испуганной нежностью полупрозрачную, белую кожу на ее висках, где ее заколотые волосы были убраны назад, форму колен под легким платьем, слабые отблески отраженного от окна света на голених. На мгновение меня поразила ее инаковость. Кто она, что оно, это непознаваемое существо, так странно замершее в этом герметичном зеркальном пространстве? И все же именно ее, при всей непостижимой таинственности этого диковинного существа, я внезапно захотел с такой силой, что мое сердце сжалось. Я не говорю о плоти, я не имею в виду плотское желание. Я жаждал, я стремился войти в нее по самую рукоять, понять, что

значит быть собой, ибо это знание было для меня запредельным, непостижимым. Понимаешь? В глубине души это все, чего я когда-либо хотел: действительно выйти из себя и забраться всем телом в кого-то другого. Все замерло. Я не осмеливался пошевелиться; я думал, что не смогу повернуться, даже если попытаюсь, будто воздух превратился в твердую среду, в которой я застыл. Мне казалось, что я слышу слабый крик тех далеких птиц. Затем она со вздохом наклонилась вперед и поставила туфли на пол, одну рядом с другой, это движение взволновало воздух и заставило зеркало дрожать, водная рябь пробежала по стеклу, и крики птиц превратились в шум машин за окном; она встала, начала что-то говорить, я повернулся к ней, реальной, а не зеркальной, и, увидев мой взгляд — в ту минуту я, вероятно, был наиболее безумным из нас двоих, — ее глаза расширились, она дрогнула, словно хотела отпрянуть, но непреодолимая сила склоняла ее ко мне, я обнял ее руками гориллы и с такой силой сжал в своих дряхлых, смрадных объятиях, что она охнула, и я почувствовал, как ее дыхание затрепетало у меня на шее; если бы я тогда мог говорить, не могу представить, что бы я сказал.

Несмотря на столь таинственные и пронзительные мгновения, оглядываясь назад на, в сущности, недавнее прошлое, меня удивляет, как мало я могу разглядеть, как мало осталось того, что не кажется удаленным, размытым, съезжившимся и нечетким в запотевшем стекле времени. Из трех-четырёх месяцев — и дефис тут, кстати, необязателен, — что мы были вместе, что она была со мной или я с ней, не знаю, как правильно сказать, у меня в памяти сохранились отдельные, между собой не связанные фрагменты, прискорбно редкие. Как мы коротали время, чем заполняли его? Долгие утра, вялые дни, вечера — это время подобно пустым коридорам с воздухом плотнее взрывной волны. Я вижу, как мы сидим друг напротив друга за столиком в огромном, тихом ресторане гостиницы, излучаемый люстрами свет подобен свету в морге, официанты стоят в кремовых пиджаках, теребят галстуки-бабочки и уныло рассматривают ногти. Единственный, кроме нас, долгосрочный постоялец — пожилой седовласый господин, живший в люксе на последнем этаже; он сидит за собственным столиком в углу возле зеркал, позвякивает ножом и вилок, иногда делает паузу и деликатно прочищает горло в тонкий белый кулак. Это единственное, что я слышу: перезвон столовых приборов и прочищающий горло старик. Мы, должно быть, о чем-то говорили, Касс Клив и я, она, по крайней мере, должна была говорить со мной, ибо говорила она за столом, в постели, на улицах, в трамваях, в такси, рас-

сказывая мне разные вещи, но все это сливается в памяти в нечто, похожее на низкий, глухой гул; тот гул, который задерживается в зале после того, как публика расходится. Мы делали что-то вместе, она и я, посещали достопримечательности, музеи и тому подобное, так же прилежно, как и любая пара туристов. Мы ездили в Милан, в Бреру посмотреть на мертвого Христа Мантеньи и греческую Мадонну Беллини. Мы были в Генуе и провели там приятный день, прогуливаясь по огромному кладбищу Стальено, где сладковатый воздух слабо отдавал разлагающимися трупами, лежавшими повсюду, под глиной и в мраморных склепах; она была очарована этими огромными, больше, чем в натуральную величину, высеченными из камня мертвецами, которые занимались обыденными делами, выстроившись вдоль длинных арочных проходов. Но даже в самых ярких воспоминаниях я вижу не ее, а нечто гораздо менее существенное — колеблющийся, размытый силуэт, кажущийся не более чем праздной, слепополуденной мечтой старика. Отчего запомнилось так мало? Оттого ли, что я так стар, а она так молода? Как мог я надеяться, что увижу ее ясно, ревниво вглядываясь слезящимися по-стариковски глазами через пропасть лет, зиявшую между нами?

Со временем дело, которое привело ее ко мне, возникало в наших разговорах все реже и реже. Я вспоминал об этом, прилагал новые усилия, более или менее решительные, чтобы заставить ее раскрыть все, что она знала обо мне и моем скрытом, если не сказать припрятанном, прошлом, — однако всегда безуспешно. Зачем она мне об этом рассказала, раз думала, что мое незнание дает ей власть надо мной? Признаюсь, я не раз прибегал к силе, пытаясь добиться признания. Я все еще вижу ее в гостиничном номере, как она скорчилась в узком промежутке между кроватью и стеной, где я поставил ее на колени, ее бледное от боли лицо повернуто назад, глаза смотрят на меня, а я нависаю над ней с ужасной ухмылкой, выкручиваю ей руку на уровне лопатки, угрожая сломать ее, если она не расскажет мне все — все, до последней капли! — о том, что поведал ей в тот день в Антверпене прохвост Шодейн. Какой удивительно спокойной, какой торжественной она была тогда, несмотря на боль, что я ей причинял. Конечно, то была игра и ничего больше. К тому времени имело значение не то, что она знала о моих постыдных проступках. Что бы я ни говорил, все это время я ждал, надеялся, что кто-нибудь набросится на меня с моим секретом в руках и пригрозит раскрыть его всему миру. Какая польза от секрета, в чем его сила, если о его существовании никто не знает? Перед лицом опасности неминуемого разоблачения и неизбежно по-

следующих за ним позора, отвращения и всеобщих насмешек я испытывал не столько страх, сколько лихой фатализм. Там, где раньше я прятался, объятый страхом, не до конца понимая, чего именно боюсь, теперь видел себя осажденным, стойким солдатом. Признаюсь, я чувствовал себя довольно лихим злодеем.

Но позвольте мне попробовать еще раз, в последний раз, пока я мысленно там, описать, что на самом деле происходило между мной и Касс Клив. Предлагаю серию сцен, как на фризе: бледная девушка, вокруг которой на фоне городского пейзажа резвится бодрый старичок. Старик в пестрой одежде, в маске, с перьями, весь покрыт ромбовидными нашивками, под животом привязан чудовищный гульфик. На каждой из панелей он принимает на себя тщательно продуманный образ во благо девушки. Вот он удалой витязь с согнутой рукой на бедре, вот — демонический любовник, необузданный, неотразимый, а вот — неутомимый в своих изысканиях ученый со свечой и книгой. Девушка стоит перед ним и терпеливо смотрит на эти выходки, снисходительно, как мечтательная Коломбина, ожидая, когда он снимет маску и пестрое платье; как сильно он напоминает ей отца, играющего свои роли! Видите, вот они на холме за рекой, на узкой, бегущей вверх дороге, под нависшими темными деревьями. Это происходит пустынным, знойным, серым вечером; Франко Бартоли, этот печальный любовник, пригласил их на обед. Они выходят из такси. Она помогает старику с тростью и бесполезной ногой, стараясь не дать ему заметить, что видит, как трясется его большая, сжимающая трость рука с побелевшими костяшками. Порыв теплого ветра колышет деревья, серебрит листву; она не в первый раз думает, что город будто устало дышит, как живое, древнее существо. Она берет старика под руку, они переходят дорогу. На секунду она видит, как он навис над ней: голый, огромный, тощий и обвисший, с растрепанными волосами и пылающими глазами, его старый зев открыт. Затем она видит, как держит его на руках; она похожа на Мадонну на той картине, которую они видели где-то, Мадонну, убаюкивающую гигантского Христа на разведенных коленях, прилагая не больше усилий, чем если бы она ласкала младенца. Многоквартирный дом, где жил Бартоли, был старым, но вместо входной двери стояла сплошная панель из толстого стекла, которое сперва показалось им черным и непрозрачным. Вандер взмахнул тростью и острием нажал на дверной звонок. Они слышали носовое, доносящееся издалека гудение. Они подождали, безучастно созерцающая собственные безликие тени, стоящие перед ними в стек-

ле. В сумрачном, ветренном воздухе вечера она вдруг на мгновение почувствовала себя кем-то другим. Свет залил вестибюль — стекло оказалось прозрачным, а не черным, — превратив его в белую клетку, в которую зашел Франко Бартоли. При виде него Вандер тяжело задышал, будто только что кого-то избивал. “Узрите! — провозгласил он со смешком. — *Облик светоносный!*..”

Маленький человечек проворно приближался к ним, заодно улыбаясь, словно заводная кукла в витрине магазина игрушек; казалось, он не идет, а скользит на цыпочках. Он остановился и нажал кнопку на панели — стеклянная дверь плавно открылась. Он поприветствовал их широким жестом — отчасти реверансом, отчасти пируэтом, потянулся и сильно сжал предплечье Вандера, одновременно сгибаясь, чтобы прикоснуться теплыми, сухими губами к руке Касс Клив. “Вы вместе! — говорит он. — Какой приятный сюрприз!” Касс Клив не была приглашена, но Вандер настоял на том, чтобы она поехала с ним, — и вот она здесь. Бартоли, взмахивая ручонками, пропустил их вперед. Он был одет в тесный костюм, белую рубашку с большими жесткими манжетами и галстук небесно-голубого цвета из блестящей материи. Вандер волочил свою трость по полу, отчего прорезиненный наконечник скрипел о мраморную плитку. Они подошли к стальной двери, напоминавшей банковский сейф. Бартоли постучал по металлу костяшками пальцев, с гордостью отметив, каких усилий и затрат стоила ему установка двери. Нахмурившись, Вандер внимательно его рассматривал. “Борода! — произнес он и засмеялся. — Ты сбрил бороду!” И ведь действительно сбрил, обнажив по-детски пухлые бледные щеки и сползающий на пуговицы подбородок с ямочкой. Бартоли покраснел, застенчиво опустил веки, повернулся, что-то нажал, и стальная дверь открылась. Внутри, в отличие от стекла, мрамора и металла вестибюля, было старое, потрепанное дерево, толстая коричневая драпировка и неровный скрипучий паркет. Освещение было слабым, желтоватым, оно будто исходило из самих стен; воздух в помещении был застоявшимся, затхлым. Они услышали из дальней комнаты голоса, прошли вдоль уставленного книжными полками прохода, пробрались наощупь через загадочное, неосвещенное пространство, где неясно вырисовывались какие-то тусклые объекты, и вошли в узкую столовую с высокими потолками и громоздкой, темной мебелью. Сидящие за обеденным столом выжидающе подняли головы, это были Кристина Ковач и крупный, статный человек средних лет с зачесанной назад гривой седых, как сталь, волос. Одновременно с Вандером и

Касс Клив через противоположную дверь вошла крошечная, закутанная в черное кружево старушка, они приняли ее за мать Бартоли. Сосредоточившись на Бартоли, старуха сразу принялась что-то изрекать, воздев пару дрожащих коричневых коготков. Бартоли тоже поднял руки, успокаивая ее, и попытался познакомить статного мужчину с Вандером и Касс Клив, но его слова потонули в неудержимом карканье старухи. Взяв за плечи, он развернул ее, слегка подтолкнул, и та, шатаясь, вышла из комнаты через дверь, в которую вошла, все еще что-то бормоча. Статный мужчина встал, потянулся через стол и энергично пожал руку Вандера, одновременно скосив на Касс Клив пронизательный, оценивающий взгляд. Бартоли суетливо ходил вокруг стола, отодвигая стулья и переставляя столовые приборы. Вандер наклонился и что-то сказал Кристине Ковач, та улыбнулась и похлопала его по руке, ненадолго задержавшейся на ее плече. Касс Клив стояла и безучастно смотрела в никуда, скрестив ноги и заложив руки за спину. Бартоли быстро расчищал для нее дополнительное место за столом, седовласому мужчине и Кристине Ковач пришлось передвинуть свои стулья; на мгновение все превратилось в хаотичное движение и бормотание, а Вандер смотрел на все это, удовлетворенно улыбаясь. Затем вошла вторая старушка, еще меньше первой. Ее круглое личико было идеально гладким, у нее был крошечный, острый, изогнутый, похожий на клюв зяблика носик. Оказалось, что это и была синьора Бартоли. Она стояла в дверях, смотрела на компанию с выражением безмятежного недоумения и ласково улыбалась, как если бы случайно услышала их голоса и забрела посмотреть, кто эти незнакомцы. Сын крикнул ей, чтобы она села; она была совершенно глухой. Седовласый предложил Касс Клив сигарету из серебряного портсигара. Бартоли, доставив мать к ее месту, стоял у своего стула во главе стола и сиял. Тем временем снова появилась первая старушка, в хрупких ручонках она несла огромное блюдо с рисом. Бартоли разлил вино. Рис источал аромат диких грибов. Крошечная повариха удалилась на кухню. Они сели. Они ели. Он говорил. Она говорила.

События человеческой жизни, какие они странные. Впрочем, почему я так говорю? С какими такими не странными событиями я их сравниваю? Человеческое — это все, что у нас есть. А люди глупы, слишком глупы. Взгляните на Франко Бартоли, весело восседающего во главе стола: челюсть гладкая, маленький голубоватый подбородок с ямочкой. Он быстр, ничего не упускает. Может вести одну беседу и одновременно слушать другую. Сегодня он в безопасности, в цен-

тре своего маленького женского мирка, ему улыбается его счастливая, праздная старая мать и суетится вокруг кухарка Мария; Кристина Ковач от него по правую руку, Касс Клив — по левую, а я на безопасном расстоянии, на другом конце стола. В седовласом приятеле он также уверен — тот громко, горланно и авторитетно вещает, затрагивая широкий круг тем, отдает должное вину и бросает в моем направлении грозные взгляды наемного убийцы. Я так и не узнал, кто он, и теперь уже не узнаю. Его огромные руки не находят себе места, будто он пытается подавить вспышку гнева. Он поразительно похож на поэта Монтале, но, когда я спрашиваю, не приходится ли великий лигуриец ему родственником, он едва смотрит на меня и мрачно хмурится, будто я сказал что-то оскорбительное. Его первоначальная вспышка интереса к Кассу Кливу угасает, как только она начинает рассказывать о своей последней одержимости — комедии дель арте и ее происхождении, Сусарионе¹ и его актерах, римском цирке, Плавте, пьесах паломников и, если я правильно расслышал, что-то о мусульманских вторжениях... затем его взгляд задумчиво скользит в направлении Кристины Ковач. Но и Кристина не удерживает его пристального внимания. Когда-то ей это было под силу, но сейчас — нет. Ее опустошенность теперь заметна больше, чем когда-либо, кажется, прикоснешься пальцем — и кожа растрескается и слетит с нее, как пыль. Ведет себя рассеянno. Долгое время они с синьорой Бартоли сидят молча с одним и тем же выражением лица, глядят на скатерть, но не видят ее, натянуто, отсутствующе улыбаются. Раздается голос Касс Клив, она говорит серьезно и быстро, неумело пытаясь закуривать очередную сигарету Монтале. “Древние *фаллофоры*, — говорит она, с отчаянием глядя на него, — обмазанные сажей, обнаженные, прыгали через тыквы и исполняли всевозможные непристойные акробатические трюки”. В действительности ее рассказ предназначается мне, я узнаю эти мысли, она снова читала мои книги. Я строго ей улыбаюсь. Сбитый с толку Монтале хмурится, кивает и делает еще один глоток вина. Она нервно смеется, слезы блестят в уголках ее глаз. Все смотрят на нее, даже Кристина Ковач, даже рассеянная мать Бартоли. И хотя я тоже смотрю на нее, она на меня больше не смотрит. А теперь скажи это... А теперь скажи...

Сказать что? Мне нечего сказать, у меня заканчиваются слова. Вот я сижу, как обычно, со стаканом и сигаретой, дико

1. Родоначальник древнегреческой комедии, жил в VI в. до н. э.

улыбаюсь и лелею давнюю мечту Калигулы свернуть миру шею. Такие, как я, должны быть схвачены и сосланы куда-нибудь подальше, скажем, на Мадагаскар, хотя запах гвоздик мне не нравится. Или так пахнет в Занзибаре? Она написала: *Я еду в Америку*. Толчок, словно удар электрическим разрядом в сердце. Я стоял, окутанный мягким осенним светом в саду Франко Бартоли, с клочком бумаги в дрожащей руке. Это слово — сердце. Я будто кочегар в трюме корабля, ночью, в бушующем море, которого спасает от черной тяжести вод лишь хрупкая посуда. Я смотрю на свою руку и вижу старую, такую старую кожу. Останавливаюсь. Увядающая плоть. Сегодня за чашкой одобренного алкоголем кофе в кафе “Бицерин” мой новый друг, доктор Зороастр, показал мне вытатуированные числа на его запястье. Он проделал это так естественно: поднял руку, в которой держал сигарету, отчего манжета его прекрасной шелковой рубашки сползла вниз; он был похож на фокусника на сцене, который делает вид, что ничего не скрывает. Я ничего не сказал. Он тоже. Однако я потрясен, был и остаюсь. У меня есть тревожное ощущение, что нечто, отправленное мне давным-давно и затерявшееся в пути, внезапно обнаружилось; нечто, в чем я не нуждался тогда и еще меньше нуждаюсь сейчас.

Каким-то образом я все же ввязался в спор со вспыльчивым Монтале. Нет, если быть честным, я хорошо понимал, что делаю. Мне было скучно, я хотел развлечься, я хотел устроить представление для Касс Клив. Источником разногласий стал какой-то модный писака, чьи работы Монтале громко расхваливал на все лады и которого я называл шарлатаном. Монтале разгорячился, его лицо побагровело под загаром плейбоя. Он сказал, что я, видимо, не читал его работы, и это было правдой, хотя значения и не имело. Все остальные сидели молча, пока мы устремились навстречу друг другу, двое поеденных молью воинов, наносящих и парирующих удары своими великолепными мечами. Франко Бартоли смотрел на нас, крутя головой из стороны в сторону, его шея с каждым поворотом казалась все длиннее и тоньше, будто внутри был спрятан какой-то механизм со штопором. Кристина Ковач, склонив голову и опустив глаза, рассеянно скатывала и разворачивала ладонью уголок салфетки. Мать Бартоли — она с самого начала приняла Касс Клив за мою дочь — поворачивалась к ней при каждом моем новом выпаде, улыбалась и кивала, поджимая губы и расширяя глаза, безмолвно поздравляя ее с изящным поворотом остроумной фразы ее отца, хотя, уверен, из того, что я говорил, она не слышала ни слова. Касс Клив тем временем была сосредоточена на мне с почти

экстатическим напряжением, ее глаза горели, кулаки сжимались, и все больше непролитых, сверкающих слез собиралось в уголках ее глаз. Как я кружился, как громко пел ради нее, как сверкал мой клинок, как я упивался своей свирепостью и боевой прытью! Наконец заговорил Франко Бартоли. Да, Бартоли, этот тщедушный человечешко, откуда-то нашел в себе смелость прервать меня. “Профессор Вандер, — сказал он, обращаясь к Монтале и спокойно улыбаясь, — считает, что в каждом тексте скрывается постыдная тайна и задача критика — эту тайну распознать. Не так ли, Аксель?” Я замялся. Я раздумывал. Монтале, как и хозяин дома, теперь гадко улыбался, выправляя манжеты. Я сделал глубокий вдох. “Я перечитывал, — сказал я Франко, задумчиво вперяя взор в мрачный угол комнаты, — твои сочинения о Шелли”. К слову сказать, Шелли — фирменное блюдо Франко. Конечно же, он ошибался в поэте, считая его дитем природы и поборником революции, аполлоническим пророком, опьяненным певцом возвышенного, — обычная романтическая болтовня, как я не раз пытался убедить его. Заблуждающиеся риторы, такие как Бартоли, являются важнейшими каменотесами нашего ремесла. Над захороненными телами великих мертвецов они воздвигают мраморные статуи, замороженные, идеализированные образы, на которые я никогда не упускаю возможности поднять свой десятифунтовый молот, как, например, сейчас. Я расправил локти и наклонился вперед, чтобы нанести первый разящий удар, когда что-то... что-то случилось. С возрастом воображение, как я выяснил, имеет тенденцию выделять обескураживающие коленца. Видения, которые в молодости и в среднем возрасте казались не более чем грезами, пустяковыми фантазиями, превращаются в полноценные, реальные переживания. Нечто знакомое перемещается и скользит, меняясь местами с вещами, которых раньше не замечал. Хорошо знакомое лицо превращается в лицо незнакомца, окно распахивается в грозную и мрачную перспективу, которой мгновение назад там не было. Так случилось и сейчас. Под тусклым балдахином коричневатого света, в котором я сидел в сопровождении безмолвных стражей — больших черных буфетов и книжных шкафов, — я увидел, как верх стола подергивается рябью и колыхнется, и сквозь эту внезапно ставшую жидкой поверхность прорывается нечто, похожее на затопленный корень или корягу. Оно поднималось и поднималось, медленно, с трудом — раздувшееся, безликое существо с ужасной головой и мокрой грудью, все облепленное листьями и водорослями. Все происходило беззвучно — всплывающие из мрака безмолвные тени и движение темных вод. Существо,

хоть и безликое, смотрело на меня и будто тщилося задать мне вопрос. Явление, галлюцинация, что бы то ни было, длилось всего несколько мгновений, после чего исчезло. Я огляделся. Все было как раньше: Бартоли мрачно хмурился, Монтале сжимал кулаки еще крепче, Кристина Ковач скатывала краешек салфетки, мать Бартоли витала в облаках. А потом, сразу, без предупреждения, Касс Клив издала высокий, истошный, протяжный крик, закатила глаза и соскользнула со стула, исчезнув с ужасающим грохотом под столом. Затем произошла еще одна вспышка, и я снова увидел несущийся грузовик, девушку и кровь, струящуюся у нее из уха.

Некоторые вещи будто происходят не наяву, а в промежутке между реальностью и возможностью ее восприятия: глаз регистрирует событие, но разум не осознает его. На мгновение все замерло в оторопелой тишине. Первым начал действовать Монтале. Несмотря на свою грузность, он, не вставая со стула, ловко повернулся и наклонился вперед, согнув свою большую дельфиною спину, и мы слышали, как он приглушенным голосом говорит что-то упавшей девушке. Ответа не последовало. Кристина Ковач посмотрела на меня со странным, застывшим, грустным выражением лица, значение которого ускользает от меня даже сейчас. Франко Бартоли схватился руками за край стола и сильно надавил на него, словно тоже увидел, как тот превратился в емкость с грязной, темной водой, которая вот-вот разольется. Он что-то сказал, затем вскочил, поспешил на кухню и через мгновение появился снова со стаканом воды в руке. Позади него я увидел Марию, старую кухарку, та в ужасе спряталась за дверь и одним глазом наблюдала за хаотичной сценой. Синьора Бартоли сидела, прижав с обеих сторон ладони к лицу, точно фигура на мосту на картине Мунка, однако издавала не крик, а странный, тревожный, щебечущий звук, подобный тому, что издает голодный или испуганный птенец. Монтале с кряхтением вылез из-под стола с Касс Клив, безвольно повисшей в его руках; ее голова поникла на грудь, хрупкие, обнаженные руки безвольно повисли. В приглушенном свете лампы предметы и фигуры отбрасывали большие, расплывчатые тени, все происходящее напоминало картину прерафаэлитов: лишившаяся чувств девушка в объятиях крупного, квадратного, сурового мужчины, все остальные стоят полукругом, глядя на них, молчаливые и серьезные, будто застывшие. Я попытался встать, но Кристина Ковач, взглянув на меня странно и печально, положила руку на мою, поднялась и последовала за Монтале,двигающимся с Касс Клив на руках осторожной, чем-то похожей на голубину, походкой, удивительно часто

встречающейся у крупных мужчин; за ними следовал Франко Бартоли, который все еще держал в руках перед собой нетронутый, будто священный, стакан воды. Так они медленно вышли из комнаты. Когда Монтале наклонился боком, чтобы протиснуться в дверь, ему пришлось поднять Касс Клив ноги, и я мельком увидел под ее платьем нижнюю часть длинных, тускло поблескивающих бедер, а наверху — тугой треугольник из белого хлопка; мерзкий старый зверь во мне зашевелился и поднял свою ненасытную морду. Я задаюсь вопросом, что хуже: тот факт, что я могу возбудиться в подобный момент или что я об этом здесь упоминаю? Потом они вышли в коридор, а я остался наедине с щебечущей женщиной и ошеломленной, застывшей кухаркой.

Прошло много времени, и, когда они дали мне возможность с ней увидеться, было уже очень поздно. Почему я признавал их власть над ней, я не знаю. Некоторое время я сидел за столом, угрюмо курил и допивал остатки вина из бутылок — полагаю, я был изрядно пьян. Кухарка молча удалилась в свое логово; когда все ушли, синьора Бартоли снова успокоилась и теперь сидела, вздыхала и что-то бормотала себе под нос, пытаясь подобрать со стола невидимые крошки неповоротливыми пальцами, как это часто делают старики, — мне это известно, поскольку в последнее время и сам часто ловлю себя на этом. Вскоре, однако, она начала бросать встревоженные взгляды в мою сторону, все больше волнуясь, — подозреваю, она постепенно забывала, что произошло, и задавалась вопросом: кто мог быть этот туманно знакомый незнакомец, как он оказался здесь, наедине с ней, в ее собственной столовой, откуда, похоже, недавно поспешно сбежала целая группа таинственных и дурно воспитанных гостей, о чем свидетельствовал окружающий ее беспорядок. Затем вернулся Франко Бартоли, хмурый и молчаливый, — неужели Касс Клив пришла в себя и поделилась с ним моими секретами? — и сел, опустив глаза и тихонько прочистив горло. Прошло некоторое время. Он не хотел говорить, и я тоже — между нами происходило нечто вроде бессловесной борьбы, в которой мы оба были полны решимости победить. Я пристально наблюдал за ним и хотел вновь обрушиться на него из-за атеиста из Итона и его поэзии, просто шутки ради, однако, прежде чем я успел поджечь фитиль, снова вошел Монтале, тихо и уверенно, хотя и немного пошатываясь, поскольку тоже весь вечер пил не переставая. Он сказал, что Касс Клив спит и ее нельзя беспокоить — поразительно, как каждый становится врачом в таких случаях, — и бросил на меня обвиняющий взгляд. Мгновение он постоял в напряженной тишине, его руки упирались

в спинку стула, бычьи плечи выпирали под натянутым пиджаком, на тарелку он глядел так, будто боролся с желанием подойти ко мне, взять меня за шиворот и выбросить в ночь — он, наверное, смог бы это сделать, ибо я, признаюсь, не слишком владел собой, — но Бартоли быстро заговорил с ним по-итальянски, сказав что-то, чего я не смог уловить. Монтале еще мгновение стоял набычившись, но потом все же мрачно кивнул, освободил из своей хватки стул и, поклонившись матери Бартоли и бросив прощальный взгляд на меня, повернулся и пошел прочь. Вернулась тишина. Бартоли снова начал громко прочищать горло. Вошла кухарка Мария, обошла стол, тихо собирая посуду, и передо мной осталось лишь пустое место на скатерти. Я встал и, поднимая как можно больше шума, выскочил из комнаты, сам не зная куда.

Когда Кристина Ковач пришла искать меня, я стоял в уставленном книжными полками коридоре, по которому мы проходили ранее, опирался на полки и держал большую книгу поближе к свету, делая вид, что читаю. Некоторое время она тихо стояла передо мной, склонив голову и сцепив пальцы рук. В своем черном платье с белым кружевным воротником она определенно походила на монахиню, и на одно головокружительное мгновение мне показалось, что она пытается придумать, как донести до меня, что Касс Клив умерла. В желтоватом свете узкого коридора ее кожа болезненно сияла и выглядела очень бледной, а края век воспаленными. Вдруг меня как ударило, и я осознал тот удивительный факт, что женщины, стоящей сейчас передо мной, через какое-то время уже не будет в живых; действительно не будет, нигде, что ее плоть, которую я так хорошо знал, скоро истает с костей, а со временем и сами кости превратятся в пыль, а затем исчезнет и сама пыль. Подобное столкновение со смертью шокирует всегда. Да, можно отдавать себе отчет, что человек умирает, но все же не осознавать этого, не постигать полностью. В конце концов, смертельная болезнь — это всего лишь ускорение естественного порядка вещей. Кто знает, может, я уйду раньше нее. Предугадать это невозможно. Меня поражает неопровержимая данность того, что через сто лет все живущие сейчас на этой земле существа, за исключением нескольких гигантских черепах и странного долгожителя, пастуха в Ладакхе, умрут. Это не значит, что меня возмущает данный порядок вещей, — подумайте, какая была бы давка, если бы все происходило иначе. Я часто ловлю себя на мысли, что меня обескураживает не столько мимолетность нынешнего жребия, сколько перспектива того, что нас сменят новые дураки и мошенники с их нуждами, любовью, страхами и маленькими трагедиями. Да, луч-

ше бы бедный старый мир избавился от нас полностью; оставьте его муравьям — говорю я. А пока передо мной умирающая, но еще живая Кристина Ковач, и она требует внимания. “Аксель, — говорит она, — ты должен что-то сделать с этой девушкой”. Интересно, почему люди думают, что использование имени придаст вес их заявлениям? Я спокойно прикрыл книгу, которую просматривал, положив указательный палец между страницами — не то чтобы это имело значение, но это была “Гипнэротомасия” Полифила, лондонское факсимиле 1888 года оригинала 1499 года, в отличном состоянии; как старый книжный вор я не мог не испытать ностальгии — и напустил на себя выражение вежливого, озадаченного недоумения. Кристина вздохнула. Она снисходительна ко мне и если упрекает за предосудительные поступки, то очень мягко. “Что ты с ней делаешь? — спросила она. — Ты же видишь, что она больна”. Больна, запротестовал я, больна? “Да, — сказала она, — больна. И она показала мне синяки”. Синяки, синяки, какие синяки? Что эта девочка рассказала обо мне? “Ты случайно не ревнуешь, Кристина?” — спросил я. Эта мысль внезапно пришла мне в голову, и я высказал ее до того, как осознал ее присутствие. Такие маленькие озарения убеждают меня в том, что машины никогда не завоюют мир. Боже, какой же я непоседливый сегодня, со всеми этими разговорами о насекомых и машинах — что же будет дальше? Но Кристина ревновала... Она долго смотрела на меня, затем отвернулась и устало, безнадежно пожала плечами. “Она хочет тебя видеть”, — сказала она. Спальня, куда они положили Касс Клив, была большой, квадратной, с высокими потолками — я будто попал в прошлое, переступив ее порог. В центре комнаты стояла огромная, высокая, металлическая кровать, в холодных просторах которой моя девочка выглядела как потерявшийся, замерзший ко льдине полярник. Стоящая на низком столике электрическая лампа с коричневым абажуром светила слабо, и повсюду, на каждой свободной поверхности, были расставлены иконы с изображением Иисуса или Девы Марии, или их вместе — мать и сын, один лик печальнее другого, с сочащимися ранами и большими, истекающими кровью сердцами. Я осторожно сел на край кровати — она покачнулась, пружины устало запротестовали. Глаза Касс Клив были закрыты, лицо бледное, словно нарисованное, — оно мало чем отличалось от окружающего нас множества скорбных лиц Девы и ее непорочно зачатого Сына, и казалось столь же нереальным, сколь бесплотным и прекрасным. Были видны только ее голова и руки — будто она сдалась, пытаясь освободиться от застывшей массы наволочек и простыней. Я все еще держал в руке “Гип-

нэротوماхию”. Я положил книгу на кровать, она переместила руку и коснулась обложки с закрытыми глазами, изучая кончиками пальцев текстуру переплета, будто была слепа. Она улыбнулась. “Ну, — сказал я, стараясь говорить помягче, — что с тобой случилось?” Некоторое время она ничего не говорила. Я чувствовал, что она думает. Не доносилось ни единого звука. Я рассеянно подумал, что, может, мы оба умерли, сами того не заметив, и что тускло освещенные покои, переполненные сердцами, колючками и застывшими слезами, — это все, что нас ждет в другом мире. “Другой воздух, — очень мягко сказала Касс Клив. — Другие запахи. Если к ним привыкнешь, чужая страна перестанет быть чужой”. Я сказал, да, пожалуй. Я огляделся вокруг и даже начал тихонько что-то про себя насвистывать — скучать ведь можно при любых обстоятельствах. На стене, над кроватью, в рамке висела большая выпцветшая фотография молодого человека с длинными волосами, одетого по моде прошлого века, в темном пальто, с высоким, жестким воротником и галстуком, его горящие глаза искоса смотрели на меня с выражением глубокой враждебности и вызова. Несмотря на антикварный вид фотографии, человек на ней сильно походил на старую синьору Бартоли, чьей спальней, вероятнее всего, эта комната и являлась. Касс Клив убрала пальцы с обложки книги и коснулась моей руки. Теперь она смотрела на меня. “Я хочу поехать в Америку”, — сказала она. Я кивнул, уступая ей. “Конечно, ты хочешь”, — сказал я. Я мог солгать, я мог сказать, что возьму ее с собой в Аркадию, но не стал. Это не имело значения, она имела в виду не мою Америку.

Той ночью, вернее ее остаток, я впервые за несколько месяцев спал один. Или даже не спал, а скорее лежал в каком-то оцепенении, в компании моих знакомых демонов. Я всегда был жертвой ночных кошмаров — что, я полагаю, неудивительно, — но в последнее время они приходят ко мне наяву. Когда я был молод, мои сны были наполнены хаосом, похотью и насилием, теперь же, в старости, сон — это комната тихих чудес, в которую меня приводят каждую ночь. Это приходящая смерти, в ней мои страхи утихают. Сегодня, однако, эта дверь была для меня заперта, и я лежал на спине под влажной простыней, сложив руки на груди, будто мертвый Христос в своем саване, и слушал звуки за окном. Было похоже, что люди отмечают один из многочисленных праздников этой страны, ибо улицы снаружи звенели от криков гуляк до раннего утра. Или же это была галлюцинация, ибо, когда стало особенно шумно, я подкрался к окну, посмотрел вниз и увидел нечто вроде геральдической кавалькады, проходящей по ули-

це: молодые люди в камзолах и полосатых чулках несли знамена, девушки в нарядных платьях с замысловатыми прическами скакали на гарцующих конях, а за ними следовала группа пестрых менестрелей. Ближе к рассвету толпа, надуманная или настоящая, наконец рассеялась, и тут же появились слишком реальные мусоровозы и курьеры. Когда края занавесок стали светлее, мне показалось, что в комнату вошла Касс Клив. Она безмолвно села рядом, скрывая лицо в тени. Я пытался прикоснуться к ней, почувствовать ее тепло, но обмотавшаяся вокруг простыня крепко держала меня, и я не мог пошевелить и пальцем. О чем я думал, оставляя ее заботам других, в такое время? Но тогда я не знал, что это было за время. Тем не менее из всех ошибок, которые я совершил в жизни, эта кажется мне сейчас самой непростительной...

Я не знаю, что произошло между Кристиной Ковач и Касс Клив той ночью, пока я корчился в постели в одиночестве, какие секреты были раскрыты, какие обещания даны. Сама Кристина ничего мне не рассказала, а я не решился спросить. Я ее не виню — она действовала с наилучшими побуждениями, как и поступают обычно невольные интриганки. Если она действительно знает мои жалкие секреты, то ей, вероятно, все равно — смерть подбирается к ней все ближе. Я сижу с ней часами, особенно по вечерам, часто до поздней ночи. Думаю, большую часть времени она находится в забытии. Я чувствую, как она сражается со своей болью, будто пытается высечь что-то из самого неподатливого материала, создать нечто, превосходящее ее возможности и иссякающие силы. Врачи настояли на том, чтобы она прошла курс химиотерапии, единственным результатом которого, по-моему, стало ее облысение. Она отказывается носить парик. Сейчас, без волос, она приобрела строгую, элементарную красоту: ее голова фараона, робко поднятая и слегка дрожащая на тонком, лишенном плоти стебельке шеи, строга и совершенна — только линии, плоскости и угловатые тени. Иногда я сижу с ней и глажу ее по голове — кажется, это утешает ее, ибо она решительно и настойчиво подталкивает локтем мою руку. Кожа на ее голове всегда теплая и немного влажная, а под ней быстро бьется вена. Я с легкостью обвинил ее в ревности тогда, ночью, у Франко Бартоли, но сейчас ревную я, а не она. Как бы я ни называл свое чувство к Касс Клив — слово “любовь” в моих устах приобретает кощунственный оттенок, — я знаю, что Кристина каким-то образом смогла разделить мои чувства. У них была всего одна ночь вместе, и я хочу рассуждать о том, как они ее провели не больше, чем просить Кристину рассказать мне. Мне мешает своего рода ханжество, или же это скромность;

обжигающее ревнивого любовника пламя похоже на жар похоти.

Когда утром я вернулся в квартиру Франко Бартоли, его дома не было, или же он просто ко мне не вышел, и меня встретила Кристина; она была в том же черном вечернем платье, очень бледная, глаза краснее, чем когда-либо. Она сказала, что ночь провела у постели Касс Клив. Мне показалось это совершенно естественным, как и то, что я без всякой ясной цели упаковал сумку Касс Клив и привез ее с собой из гостиницы. Я верю: в такие минуты мысли обгоняют разум. Кристина, когда я протянул ей сумку, ничего не сказала. Она провела меня в столовую, где мы ужинали накануне и предложила сесть за стол. В ярком утреннем солнечном свете в комнате царила слегка удушливая атмосфера, отдавало потом, будто после нас сюда ворвались те ночные гуляки, и только недавно их, наконец, удалось спровадить. Касс Клив была права: чужим место делают непривычные запахи. Казалось, что эта затхлая, будто настороженная, комната подходила для жизни только после наступления темноты, и проникающий в окно солнечный свет был скандально ярким и резким. Не верилось, что для других, для Франко и его матери, для старой кухарки, это место было столь же знакомо, как и собственные ладони. Я никогда и нигде не чувствовал себя как дома... Я откашлялся и спросил о Касс Клив, робко, будто находился в больнице. Кристина наливала мне кофе и не отрывала глаз от чашки. Я видел свое отражение в полированной поверхности стола — укороченное и нечеткое, его верхняя часть будто скрылась за злодейской маской. Я пытался — непоследовательно, с некоторым раздражением — вспомнить различие между терминами *gemutskrank* и *geisteskrank*¹. “Она хочет побыть одна, — сказала Кристина Ковач. — Какое-то время. Ей есть о чем подумать”. Я кивнул, не понимая, как еще ответить. Похоже, здесь следовали правилам хорошего тона, которых я не знал. Я смутно ощутил тупое, тянущее предчувствие расставания и освобождения, которое, должно быть, чувствует пассажир корабля в первые секунды, когда пароход только отошел от пристани, — теперь я понимаю, что это был первый предвестник грядущей боли утраты. “Знаешь, я люблю ее”, — я слышал, как говорю это почти сварливо; я покраснел бы с головы до пят, если бы моя древняя шкура не была такой толстой. Теперь настала очередь Кристины кивнуть, поджав губы. Я слышал, как старая кухарка скребет-

1. Психически больной; душевнобольной (нем.).

ся на кухне. “Тем не менее, — сказал я, и мой голос показался мне неестественно громким, так говорит викторианский отец семейства, согласившись отдать невзрачную дочь замуж, — тем не менее, я отпущу ее, если она того хочет”. Кристина, все еще глядя вниз, мгновение обдумывала мои слова, затем посмотрела на меня и улыбнулась. “Ах, Аксель, — тихо сказала она, — только тот, кто не способен любить, может любить так самоотверженно”.

Я снова увидел Касс Клив в саду Бартоли — тесной, тенистой коробке с обрубками травы и увядшей листвой, зажатой между двумя высокими стенами с лепниной и задней частью соседнего нависающего над ней жилого дома с пустыми окнами. Она сидела на кованом железном стуле в углу, рядом с усеянным синими цветами кустом, тонкая шея вытянута, руки сложены на коленях. Ее волосы заметно отросли за те месяцы, что она провела со мной; они были собраны и завязаны на затылке в узел — такой, кажется, зовется шиньоном. Она была босиком, в старомодном, льняном, белом пеньюаре, который, несомненно, принадлежал матери Бартоли. Сидя там вот так, на фоне крашеной белой стены, бледная и неприметная, она могла позировать фотографу или же ждать прибытия расстрельной команды. Когда я подошел, она подняла слегка затуманенные глаза и неопределенно улыбнулась, будто не была уверена, реален ли я, или же это просто привычная галлюцинация. Я стоял перед ней в неподвижном, безжизненном воздухе и шевелил палкой жесткую траву. Она равнодушно ждала с застывшей на лице неопределенной улыбкой. Я сказал, что знаю о ее желании побыть одной, и не смог подавить прорвавшуюся нотку досады в голосе. Я сказал, что она, должно быть, знает о тяжелой болезни Кристины Ковач, что та умирает. Я сказал, что когда-то давно переспал с ней в Праге. “Да, — проговорила Касс Клив, — она мне рассказала”. Так. “А что рассказала ей в ответ ты?” Она не ответила. Я вздохнул. Я готовил свою маленькую речь. Синевато-серое облако, крадучись, подползало к солнцу. “Ты же понимаешь, — сказал я, — что мне придется вернуться к своей жизни, а ты должна вернуться к своей”. Я хихикнул. “Я потратил здесь так много денег, — сказал я, — мой агент в Аркадии, который занимается моими финансовыми делами, считает, что меня шантажируют, что — тут я лукаво улыбнулся, — в каком-то смысле так и есть”. Я сделал несколько шагов и развернулся на своей палке. Я сказал, что, конечно, люблю ее, но любовь — лишь стремление выделить человека из общей массы и завладеть им полностью. “Любя тебя, — сказал я, — я забрал тебя у мира и теперь возвращаю обратно. Понимаешь?”

Она слушала молча, рассудительно склонив голову, и теперь кивнула. Я снова нетерпеливо вздохнул. “Ты собираешься меня предать? — сказал я. — Эти газетные вырезки... Ты собираешься показать их всем и предать меня?” Некоторое время она сидела неподвижно, затем подняла глаза, слегка дрожа и улыбаясь, будто проснулась от короткого, легкого сна и оглядывалась с приятным удивлением на синий куст, на белую стену и на меня, стоящего перед ней со своей палкой. “Мы так и не увидели Плащаницу”, — сказала она, встала с железного стула, взяла меня за руку, и мы двинулись через сад к открытому окну, в котором стояла Кристина Ковач, скрестив руки под грудью. “Мне нужно, — мягко сказала Касс Клив, — кое о чем тебе рассказать”.

Она уехала из города в тот же день. Кристина Ковач приехала в гостиницу, чтобы сообщить мне о ее отъезде, и привела с собой Франко Бартоли. Когда я увидел их в вестибюле, сидящих бок о бок на белом диване у фонтана, где я впервые мельком увидел мою девочку, они были похожи на парочку нашкодивших детей, тоскливо ожидающих наказания. Гроза, которая несколько дней нависала над городом, наконец-то разразилась и теперь носилась по небу, расплескивая ярость, стуча кулаками и почти непрерывно швыряя вниз одну ослепительную молнию за другой. Группа гостей и один-два работника гостиницы столпились у открытой входной двери, наблюдая за проносящимися по улице завесами дождя и вздыхая с восхищением и трепетом при каждой вспышке молнии. “Но ты же сказал, что отпускаешь ее, — сказала Кристина Ковач, глядя на меня и моргая. — Я подумала...” Шум дождя снаружи был громче, чем плеск воды в фонтане. Я ударил палкой по мраморному полу. Бывают мгновения, когда вместе с гневом выплескивается страдание, оно отдается безмолвным криком в голове, пронзительным и обжигающим, будто зубная боль. “Ты подумала?! — крикнул я. — Ты подумала?! *Ты вообще никогда не думаешь!*” Кристина продолжала беспомощно моргать. Нет, она не знала, куда поехала Касс Клив, она дала ей деньги, значительную сумму, этой суммы хватит на то, чтобы путешествовать неделями, может, даже месяцами. Я заставил ее пообещать, я заставил ее поклясться немедленно сообщить мне, если она услышит от нее хоть слово. “Ты не понимаешь, — прорывал я, старый раненый зверь, качая головой из стороны в сторону. — Вы не понимаете!” Я был сломен, я готов был зарыдать от гнева. Я проводил их до двери. Молния осветила улицу, раздался треск, толпа выдохнула *Ааа!* Кристина Ковач пошла к стойке регистрации взять гостиничный зонтик, а Франко Бартоли заботливо положил ру-

ку мне на плечо. “Мы думали, ты хочешь избавиться от нее, — сказал он. — Мы думали, ты будешь рад”. Я устало кивнул: да, да, рад, конечно, рад. В течение недели никаких новостей не было. Я мало что делал — лишь бродил по номеру, по коридорам отеля, по улицам, что-то бормотал, разговаривал сам с собой и с Касс Клив, ругая ее, призывая на ее голову проклятия. В моих воспоминаниях фоном того бесконечного промежутка времени является раскатистый грохот и вспышки молний, будто буря, разразившаяся над городом в день ее отъезда, продолжалась, не утихая, день за днем, ночь за опустевшей ночью, каким-то образом сочувствуя смятению в моем сердце. И вот, наконец, как это ни банально, из Генуи пришла открытка с фотографией, на которой, конечно же, был изображен панорамный вид на кладбище Стальено. “Скоро должно произойти солнечное затмение, — писала она. — Как ты думаешь, наступит ли конец света?” Хотя она не указала адреса, я сразу же взял такси на вокзал и к полудню был в Генуе. Я выскочил из поезда, вышел на солнце и вслепую двинулся по улице. День был невыносимо жарким, с залива доносилась душлившая вонь. Толпы, брусчатка, обветшавшие палаццо. Улочка, как петляющее ущелье, сужалась все больше и больше, и вскоре мне пришлось прокладывать себе путь локтями через своего рода базар, где огромные, иссиня-черные люди в белых одеяниях, развалившись, сидели в своих палатках. На прилавках лежали куски жареной пищи, мешки рассыпающихся зерен, а над нами были подвешены за маленькие черные копытца козлята с неснятой шкурой и перерезанным горлом. Я сел в кафе и выпил стакан анисовой водки. Толстый владелец-араб, удобно облокотившись на прилавок и ковыряя в зубах, рассказывал мне на французском о своих женах и бестолковых сыновьях. Было время сиесты, опускались ставни. Вращающийся на потолке вентилятор колыхал скрученные липучки от мух. И тут, в этом жизнерадостном и таком чужом месте, я наконец понял, что она для меня потеряна навсегда. Навсегда: как язык насмехается над нами. Я вернулся на станцию, где мне пришлось ждать следующего идущего на север поезда еще один мучительно долгий час. Был конец дня, когда я, измученный, вернулся в гостиницу, испытывая беспросветное чувство стыда. Я задернул шторы и забрался в кровать, которая все еще слабо пахла ей, или же мне это только казалось.

Шли дни, приходило все больше открыток из Рапалло, Санта-Маргериты, пяти городов Чинкве-Терре, из мест, где я никогда не был и о существовании которых даже не знал. Я следил за ее путешествием вдоль Лигурийского побережья по

большому старому атласу, который Франко Бартоли снял для меня с высокой полки уставленного книгами коридора. К тому времени я уже покинул гостиницу и переехал к нему и его Марне. Это была временная договоренность: буду жить у него, пока не сниму бюро поиска пропавших без вести. Каждый день мы с Франко вместе ездили на его маленькой машинке в больницу на промышленной окраине города, где Кристина Ковач проходила последний, совершенно бесполезный курс лечения. Большую часть времени она находилась в состоянии протрации и шока; она была похожа на жертву землетрясения, которую достали из-под завалов лишь спустя неделю. В ее присутствии Франко Бартоли чувствовал себя неловко — возможно, потому что я был с ним; он сидел на металлическом больничном стуле, зажав ладони между коленями, откашливаясь и вытягивая вверх шею из слишком жесткого воротника рубашки. Случалось, он впадал в затяжные приступы безучастного созерцания: смотрел в одну точку, а когда возвращался с небес на землю, с виноватым видом, украдкой поглядывал на Кристину Ковач и на меня. Он приносил ей цветы, они были своего рода искупительной жертвой — букеты орхидей, лилий и тубероз, от которых к легкому зловонию больничной палаты примешивался запах морга. Кристина стала зависима от него, то и дело просила его тонким, как бумага, голоском о помощи: поменять воду в вазе на подоконнике, поднять упавшую книгу, вызвать медсестру. Препараты, которые ей вводили, вызывали у нее жажду, и он несколько раз наливал ей воды в стакан, садился к ней на кровать, обнимал за плечи и помогал пить, а мне приходилось отворачиваться, идти к окну и созерцать фабрики и торговые комплексы, дымящиеся в неослабевающей летней жаре. Я приносил открытки от Касс Клив, и Кристина просила медсестер приколоть их к стене рядом с ее кроватью. Иногда она неподвижно лежала на боку, подложив руку под щеку, отвернувшись от меня и Франко, и пристально глядела на эти аляповатые картинки с ясным голубым небом и шелковистым морем. Покинув ее, мы шли в бар на другой стороне оживленного перекрестка, который нам приходилось переходить зигзагообразно, перебегая от одного светофора к другому. Завсегдатаи бара были водители-дальнобойщики, одинокие, с затравленными глазами и смуглые молодые головорезы неясного происхождения, — и те и другие проводили время за игрой в пинбол в упорном, kloкочущем молчании. Когда мы сидели у грязной металлической стойки, Франко со своим кофе и я с граппой, я чувствовал, как он пытается сформулировать все, что хотел сказать, все, что, по его мнению, должен был

сказать, и каждый раз терпел неудачу; он был похож на кофемашину за стойкой бара — мерцающий, пузатый монстр с бесчисленными кнопками и датчиками, — внутри него будто копился пар, который он никогда не сможет выпустить.

Кстати, уж не знаю, как это понимать, но я нашел таблетницу Мамаы Вандер! Она выскользнула через дырку в кармане куртки, которую я редко ношу, и застряла в подкладке. Я по-детски обрадовался, заполучив ее обратно, и стал пополнять ее из запасов болеутоляющих Кристины Ковач: одна таблетка за одно посещение. Пусть копятся до того дня, когда и мне придется заглушить свою собственную боль — навсегда. Кристина в накладе не будет: доктор Зороастр щедро, если не сказать преступно, снабжает ее этим добром. Это он ухаживает за ней теперь, когда она вышла из больницы; они проводят много времени вдвоем, я слышу, как они часами тихо беседуют неизвестно о чем.

Пока я жил в квартире Бартоли, его мать старательно избегала меня. Я испытывал к ней своеобразное сочувствие. Должно быть, это жутковато — сталкиваться снова и снова, каждое утро, с этим поразительным пришельцем, а ведь я уверен, что каждую ночь, как в сказке, факт моего проживания в ее доме выскальзывал из ее безнадежно дырявой памяти. А вот старая кухарка Мария, в отличие от матери, прониклась ко мне, она кокетливо, сотрясаясь своим *colosso*¹, потчевала меня всевозможными лакомствами и сладостями, тарелками тушеной в соусе из свежих трюфелей пасты и кусочками *панфорте*, которые грозили вырвать с корнем мои немногочисленные оставшиеся в живых зубы, а также крошечными стаканчиками поблескивающего, словно металл, густого, сладкого ликера с плавающими в нем кофейными зернами и призрачным синим светом, трепещущим по краю. На пару с Франко Бартоли они соорудили для меня импровизированный кабинет в задней части квартиры, окна кабинета выходили в сумрачный сад; здесь, как сказал Франко с благоговением, я смогу работать, не опасаясь постороннего вмешательства. Эта комната стала для него священным местом, святилищем интеллектуальных жертвоприношений, пристанищем божественного — он оказался, как я с некоторым удивлением обнаружил, натурой искренне религиозной. Я часто слышал, как он, проходя на цыпочках мимо моей двери, скрипит половицами, и почти чувствовал его улыбку, полную восторженного счастья и гордости от того, что ему повезло заполучить Вандера Великого. Я не знал, что

1. Крупное, массивное тело (*итал.*).

ко мне он относится с таким пиететом. За всю жизнь ни одному критикану не удалось пошевелить безмятежную поверхность моего самолюбия, однако ревностный почитатель мог заставить меня вздрогнуть от стыда. У меня не хватило духу сказать бедному Франко, что моя работа, в чем бы она ни заключалась, давно завершена и другой уже не будет. Вместо этого я каждое утро покорно входил в эту комнату с видом человека, чей взгляд устремлен в бессмертие, плотно закрывал за собой дверь и чувствовал нутром, как снаружи все замирает в ожидании беззвучного рева моего могущественного интеллекта, запускающего двигатель. Все сплошной обман. Я часами сидел в этом кабинете, ссутулившись в неудобном старинном кресле, упираясь локтями в карточный столик, который служил мне рабочим столом, подперев подбородок кулаком, глядя на то место у стены, где в тот, последний, день Касс Клив встала со стула, взяла меня за руку, повела по иссушенной солнцем, потрескивающей траве и сказала мне так спокойно, улыбаясь, опустив глаза, будто давала простой ответ на неизмеримо сложный вопрос, что у нее будет от меня ребенок.

Почему мужчины всегда удивляются феномену зачатия? Это, вероятно, было естественно в первобытные времена, когда мы полагали, что это ветер занес дитяtko в утробу женщины, но какое у нас есть оправдание теперь, в нашем пресыщенном информацией веке? Да, конечно, за свою долгую жизнь я спал со многими женщинами, но, насколько мне известно, не оплодотворил ни одну яйцеклетку. Какой озорной бог плодородия постановил, что в самом конце жизни я должен выстрелить одной из его мощных стрел прямо в яблочко его тайной и трепещущей мишени? Кто бы мог подумать, что мое старое, засохшее семя все еще может прорасти? Какой конфуз! Как же глупо я себя чувствовал! Но как в то же время я был благодарен! Понимаете, я сразу увидел последствия, возможности, все то, что я назову спасительной благодатью этого абсурдно чудесного события. Позвольте мне пояснить: не я был спасен. На этот раз, может быть, действительно впервые в жизни, я думал о других. Внутри этой девочки уже рос свернутый бутон того, что должно было стать новым миром. Из невообразимо сложных спиралей в полый сердцевине бластулы, которую я оставил набухать в ее животе, уже возникло новое начало моего народа, моего потерянного племени. Это было так просто. Моя ласковая матушка, мой меланхоличный отец, мои братья и сестры, преданные смерти до того, как успели пожить, — все получают свое крошечное место в этой новой жизни. О наивный старик! Как я мог подумать, что этот мир допускает подобное искупление?

На самой последней открытке была изображена ярко окрашенная церковь на скале посреди лазоревой бухты. Эту открытку она отправила в пакете вместе со своей перьевой ручкой. *Дорогой Свидригайлов – я еду в Америку – Ваша Кассандра.* Она опустила его в городке Кьявари за три дня до своего отъезда. Она, должно быть, подсчитала, что пакету понадобится именно это время, не больше и не меньше, чтобы добраться до меня. Я поражаюсь ее вере в надежность почтовой системы этой страны, хотя эта вера оказалась на удивление оправдана, потому что всего десять минут спустя, пока я беспомощно стоял у окна в садовой комнате с открыткой в одной руке и ее авторучкой в другой, пытаюсь придумать, что делать дальше, Франко Бартоли постучал в дверь, осторожно просунул голову в щелку и прошептал, что по телефону звонит одна особа — *una persona* — и хочет со мной поговорить.

Из всех традиционных персонажей итальянской комедии Арлекин одновременно самый эксцентричный и самый загадочный. Что же это за странное существо? Похожи ли на наши его разум и сердце? Если кто-то захочет сделать его статуэтку, он должен воспользоваться резиной: только резина сможет передать его мятежный и неуловимый дух, сотворенный богами в момент неудержимого, лихого веселья. Его называют разными именами, и никто не может сказать, какое из них дано ему при рождении; многие знатоки утверждают, что закрепившееся за ним имя изначально было его прозвищем. Он, без сомнения, божественного происхождения, – если не сам Меркурий, бог сумерек и ветра, покровитель воров и сводников. Он также и Протей – уживчивый и агрессивный, комичный и меланхоличный, иногда впадающий в иступленное безумие. Он – создатель новой формы поэзии, манерной и замысловатой, полной философских размышлений и неуместных возгласов. Он – первый высококлассный поэт, чей стиль полон непростойностей. Его черная полумаска завершает свирепый, дьявольский образ, за которым может скрываться дикий кот, сатир, палач. Вообразите, что думает о нем общество, и попытайтесь представить, если сможете, как ему удастся игнорировать это мнение и противостоять ему! Едва только власти дали ему жилище, едва он вступил во владение им, как люди начали переносить свои дома в другое место, чтобы его не видеть. Здесь он живет со своей подругой, чей голос – единственный из известных ему; без него он бы слышал лишь стоны. Приходит день. Заунывно бьет колокол. Он выходит в черном, глаза красные. Утро. Он приходит на площадь, заполненную напирательной и задыхающейся толпой. Ему в ноги бросают отравителя, отцеубийцу, богохульника. На-

ступают напряженная, ужасающая тишина. Он хватает осужденного, растягивает его на дыбе, затем ломает ему кости на колесе. Болтается голова, волосы свисают вниз, зияющий, как печь, рот хрипит кровавое слово, молит о смерти. Все кончено. Уходя, он протягивает окровавленную руку; ему бросают несколько золотых монет, он уносит их с собой, продираясь через толпу, которая расступается в ужасе. Он возвращается домой, садится за стол и ест, затем идет к кровати и засыпает. Проснувшись на следующий день, он совершенно не думает о том, что делал накануне. Он человек? Да. Бог принимает его в своих святынях и позволяет ему молиться. Он не преступник, и все же ни один язык не поворачивается сказать, что он добродетелен, что он честен, достоин восхищения. Похвала не кажется ему уместной: она предполагает наличие взаимоотношений с другими людьми, а у него их нет. У этого Арлекина их нет.

Итак, она увидела, чем все закончится. Ей больше некуда идти, и она была рада этому. Она смотрела с палубы маленького парома, как пять городов растворяются в вечернем морском тумане, за горбом восходящей за мысами сливово-синей ночи; смотрела и думала о том, что и она исчезает во тьме. Это происходило с тех пор, как она покинула Турин, если не раньше, если не задолго до этого — плавный, незримый процесс истончения и угасания. Мир отпускал ее так же, как и ему пришлось отпустить ее. Она отдавала себе отчет в том, что происходит, что должно произойти, чтобы картина завершилась. Она пыталась объяснить это Кристине Ковач — что все взаимосвязано, что одно было частью другого, что все имеет предназначение, но Кристина не поняла. Кристина — она ясно видела это — пыталась спасти ее, как и она когда-то пыталась спасти его, думая, что в этом заключается ее цель. Но все было не так, совсем не так. Теперь они причаливали, и она испытывала нечто, похожее на эйфорию. Лодка в тишине скользила к пристани, где стояли странные, неподвижные, размытые фигуры. Старик в морской фуражке шагнул вперед и ловко схватил веревку, брошенную ему одним из матросов. Колеблющаяся водная гладь, подобно маслу, отливала различными цветами — персиковым, лиловым, розовым. Летучие мыши порхали в сумраке. Вдоль набережной тянулись кафе, бары и маленькие ресторанчики, а за ними по склону холма карабкалась деревня, в окнах домов горел свет — столько жизни. Над дверью стоящей на зубчатом мысе церкви на фоне темнеющего неба сияла лампа или фонарь. Матрос с парома донес ее сумку до гостиницы. Как все просто.

Она снова открыла блокнот и начала писать, теперь уже спокойно, сидя под лампой у открытого окна своей комнаты;

вокруг лампочки тихо и мягко шуршит мотылек, маленькие волны дышат внизу на гальке. *Коломбина больна. Зовут Доктора. О, спасите меня, спасите меня, Дотторе! У Коломбины будет ребенок. Старик в ярости.* Она улыбнулась, отложила блокнот, скрестила руки на столе и положила на них голову. Ей казалось, что она скатывается по огромному, крутому, темному склону. “Это время, — подумала она, — время — это дуга, которая становится все круче”. Все, что она когда-либо делала, ее самые незначительные поступки, даже в младенчестве, привели ее сюда, в эти мгновения, эти неизбежные мгновения — последние. Так странно и в то же время так просто. Она устала, но с усилием подняла голову и некоторое время сидела, прислушиваясь к усыпляющим ночным звукам. Она ходила к доктору, элегантному старому доктору с крашеными волосами. Он был добр, водил рукой по ее животу, словно жрец, и вздыхал. Она заметила цифры на его запястье и поняла, почему он вздыхает. Он хотел, чтобы она пошла в клинику и положила этому конец, чтобы ей помогли положить этому конец. “Что вы будете делать? — спросил он. — Куда вы обратитесь?” И он долго смотрел на нее. “Ах, *синьорина!*”

Открытка придет завтра. Она была рада, что отправила вместе с ней ручку. Она хотела, чтобы он знал все, что было известно ей.

В спальне, в квартире Франко Бартоли, после того как она упала той ночью в обморок, Кристина Ковач легла рядом с ней. Было так жарко и так мало воздуха, но какой холодной была рука Кристины, лежащая на ее сердце. Она спала, зная, что эта женщина не спит, охраняет ее сон. Она ощущала страх Кристины, он был почти осязаем, словно был некто третий, лежащий рядом с ними, — невидимый, безмолвный, неутомимый. Потом она проснулась, и Кристина заговорила с ней так, будто разговаривала через открытое окно с сумасшедшей, стоящей на карнизе. Ну а кто я, спрашивала она себя теперь, кто я, как не сумасшедшая на карнизе? Она улыбнулась в темноту за окном. Она заглянула в сумочку Кристины, нашла пузырек со снотворным и хотела украсть его, но не стала. Она знала, что Кристина за ней следит. Она задавалась вопросом, просил ли он об этом — присмотреть за ней, проследить, чтобы она не приняла таблетки или не прыгнула с карниза.

Она наугад открыла свой путеводитель и прочитала о смерти Шелли. Он приехал в Ливорно, чтобы встретиться с лордом Байроном. Шхуна называлась “Ариэль”. На ней был поэт, Эдвард Уильямс и управляющий парусом мальчик-матрос. Были и другие имена, было даже название лодки, но не

было сказано, как звали мальчика. Они сожгли тело Шелли на берегу. Она отложила книгу, встала со стула и постояла неподвижно, прислушиваясь: ни звука — только плеск маленьких волн. Она вышла, заперла за собой дверь и как можно тише спустилась по лестнице в ночь. Чего она боялась? Кто услышит ее и попытается удержать? Никого не было. Мужчина с седыми волосами и усами за стойкой даже не поднял глаз, когда она проходила мимо.

Воздух снаружи был теплым и имел резкий, терпкий аромат, похожий на запах йода. Это было море. Она чувствовала на губах привкус соли. Ощущения были такими яркими, будто знали, что других уже не будет, что они последние. Она шла по тихим улицам к гавани. Она знала, куда идет. По набережной гуляли люди, их было немного, последние туристические лодки давно уплыли. Она ловила на себе взгляды, в основном женские. Догадывались ли они, просто взглянув на нее? Будут ли ее помнить? Море было неразлично — просто чернота без горизонта, будто половина мира исчезла с лица земли. Завтра солнечное затмение, сегодня — ее собственное. В ее голове больше не было голосов, они сказали все, что должны были сказать, сделали все, что должны были сделать. Она представляла их, толпу идущих за ней: держатся на расстоянии, глаза распахнуты, руки у ртов, смотрят в ликующем ожидании, не веря, что она наконец сделает, то, к чему они призывали ее так долго.

Она поднялась по крутому мощеному холму к церкви. Фонарь над входом все еще горел. Дверь была открыта, проем прикрыт тяжелой кожаной занавеской, стертой по краям поколениями рук, раздвигавших ее. Восковые свечи, сводчатая крыша, каменный пол, статуя Мадонны в голубых, розовых и кремовых тонах, ее глаза устремлены вверх в печальном восторге. Так тихо. Она присела на край скамейки. Все сложилось, все ее поступки, даже самые незначительные — и она оказалась здесь. Вошел священник, пожилой, невысокий, толстый и совершенно лысый. Он удивленно посмотрел на нее и снова вышел. Отец. Сбоку за алтарем была дверь. Она встала и пошла вперед. Дверь была старой, дерево — холодным и влажным на ощупь от ночного воздуха. Дверь открылась, взвизгнув на петлях. Как просто! Вот небольшой квадратный каменный балкончик под зияющим небом, где-то далеко-далеко внизу журчит по камням прозрачная вода. Она вскарабкалась на парапет, задела камень и оцарапала колено. Ночной ветерок прижимал юбку к ее ногам; такой прохладный, такой мягкий. Она положила руки на живот, чувствуя тепло, ей не принадлежащее. Если бы только она знала имя

мальчика, мальчика с “Ариэля”. Он тоже утонул. Исчез. Один из многих. Колено болело, болело настойчиво — все в этом мире требует внимания, признания своего существования. Она услышала, как кто-то вошел в церковь позади нее и что-то сказал, но слов она не разобрала. Поторопись. Она увидела себя падающей до того, как упала, как летит по этой ускоряющейся дуге. Кто-то стоял позади, это был священник, старый священник, она увидела отблеск на его лысине и вспомнила официанта, и статую всадника в темноте, — вспомнила всё. *Синьорина!* Она глубоко вздохнула и на мгновение снова превратилась в ребенка, отец позади нее сказал: “*Прыгай*”. Медленно, впадая в экстаз, восторженно смотря вверх, точно Мадонна, она наклонилась в пустоту — священник за ее спиной напрасно протянул вперед свои руки. Время. Ночь. Вода.

Франко Бартоли довез меня на своей маленькой машинке до самого дальнего конца побережья. Мы добрались до Специи и проехали по городу к Леричи, перегретый двигатель натужно гудел. Далее мне предстояло пересечь залив, однако, когда мы прибыли, день клонился к закату, и лодки уже не ходили. Пришлось остаться на ночь. Я выбрал гостиницу “Шелли”; Франко, поджав губы, выказал свое неодобрение; я мог бы поселиться в “Альберго лорд Байрон”. Поэты, вы жили не зря. Франко устало предложил остаться и составить мне компанию, но я сказал нет, он должен вернуться, его *dolce mama*¹ будет беспокоиться. По правде говоря, я не смог бы вытерпеть его присутствия ни минуты более. Он тронулся, бросив на меня последний сочувственный взгляд через ветровое стекло, поспешно развернул машину на набережной и устремился в сумерки. Я позвонил в гостиницу, где она останавливалась, отсюда до нее было всего несколько миль, если плыть морем; оно выглядело таким невинным. Мне сказали, что тела все еще не нашли. Я съел тошнотворный ужин и удалился в свой номер с бутылкой виски и одним из самых сильных снотворных Кристины Ковач и сразу погрузился в серию диковинных, ярких кошмаров, как на морских картинах Хокусая, в которые время от времени влетался образ раздутого трупа утонувшего поэта — он всплывал на поверхность пылающего моря. Когда на следующее утро я пришел в гавань, мне сказали, что паромы начнут ходить только после полудня: именно сейчас ожидалось затмение и считалось плохой приметой

1. Дорогая мама (*итал.*).

плыть до его завершения. Я заполз обратно в свою несвежую кровать и проспал до полудня, пропустив затмение, если только пугающий, однообразный путь сквозь сияющий мрак был не сном, а проблеском застилаемого солнца, пробивающегося сквозь сон. Когда я наконец очнулся — мокрый, распростертый в луче солнечного света, беспрепятственно падавшем на меня через открытое окно, то несколько счастливых мгновений не знал, где я и почему здесь нахожусь.

Я всегда злюсь, когда сильно переживаю. Такая реакция не является редкостью, как сообщил мне доктор Зороастр, особенно если учесть обстоятельства того дня. Я накричал на администратора в гостинице, на продающего билеты на паром паренька, на почерневшего на солнце Харона в лихо сдвинутой на затылок фуражке с якорем, который, когда я наконец-то сидел на пароме, протянул мне руку помощи и едва не стянул с трапа в море. К тому же я был не слишком учтив с вежливым молодым человеком, который встретил меня на набережной на другой стороне, посланником Касс Клив, которая в моем сознании все еще была живой девушкой. День был солнечным и оживленным, с порывами теплого ветра. Служащий гостиницы — назовем его Марио — смуглый дылда с адамовым яблоком, которое будто двигалось на хлипкой резинке, расстился передо мной так, словно я собирался ударить его своей палкой, что вполне мог бы сделать, если бы мы не застряли, высаживаясь с парома. Я потребовал, чтобы он рассказал, что произошло, — я должен знать все, прямо сейчас, здесь, на набережной, в эту минуту, все! Давай, крикнул я ему, скажи мне! Я схватил его за локоть и сильно встряхнул, глядя в его испуганное лицо. Однако когда он начал говорить, я не стал слушать — я отвернулся и приказал отвести меня туда, где все произошло. Мы поднялись вверх через деревню. Марио сказал, что там был священник, он прибыл слишком поздно, синьорина... Он сложил руки вместе и избразил ныряние. “Она прыгнула, синьор”. Ее тело до сих пор не нашли.

После церкви — там, конечно, никого не было, священник выполнял свои обязанности где-то в другом месте, и встретиться с ним не удалось — я пошел в гостиницу, маленькое ветхое заведение, и велел показать мне ее комнату. Меня оставили в ней одного, тихонько прикрыв дверь. Я порылся в ее сумке, не имея представления, что ищу. В боковом кармане на молнии было ее грязное нижнее белье, я вытащил и осмотрел эти запятнанные реликвии, засунул запачканные швы в рот и пососал их, чтобы в последний раз ощутить острый вкус ее знакомых выделений. Затем я пошел в ванную и по-

стирал белье в умывальнике. Вода булькала, омывая мои запястья серебристым елеем. Я подумал о ней: лежит в морских глубинах с открытыми глазами, смотрит невидящим взором вверх, на поверхность моря, которое покачивается далеко над ней. Сначала я повесил ее выстиранное белье на вешалку для полотенец, но подумал, что так не годится, и сунул его в карман. Потом вернулся к умывальнику и ополоснул лицо, я не удивился, если бы, отнимая полотенце, обнаружил бы на нем кровавый отпечаток моей физиономии. Я сел за столик у окна и стал листать ее блокнот. Бедная Коломбина. Во время нашей поездки в Геную она ненадолго потеряла меня на кладбище. Я отошел на несколько шагов к одному из новых участков, где были похоронены недавно умершие городские торговцы и мафиози; там статуи были по-современному пафосны. Под колоннадами было прохладно и тихо, и я некоторое время рассеянно читал надписи на могилах, развлекая себя мыслями о вечном. Собираясь снова спуститься на нижний уровень, я увидел ее — она вышагивала по залитому солнцем гравию — и остановился за колонной, наблюдая за ней. Я заметил, что она была в некотором волнении: крепко скрестив руки и опустив голову, она быстро ходила из стороны в сторону. На мгновение она замерла, будто обдумывала что-то, а затем внезапно начала стремительно вышагивать, лишь для того, чтобы снова остановиться и повторить весь процесс заново. Некоторое время она повторяла эти действия, но в конце концов заметила, что я прячусь за колонной, и остановилась. Мы стояли и смотрели друг на друга. Не знаю, о чем она думала. Возможно, она думала, что я все-таки оставил ее, что решил исчезнуть и бросить ее среди мертвых и их памятников. Как ни странно, именно воспоминания о таких мгновениях давят на меня сейчас сильнее всего — я полагаю, это были мгновения ее глубочайшего отчаяния.

Я спустился вниз, ее белье лежало мокрым комком у меня в кармане, и поговорил с владельцем — красивым, седовласым мужчиной, пахнущим чесноком. Я показал ему пригоршню дорожных чеков и сказал, что предпочту, чтобы он забыл о моем пребывании здесь. Он ничего не сказал, лишь мгновение подумал, а затем слегка пожал плечами. Он стоял с бесстрастным взором, опираясь кулаками о стол, пока я подписывал чеки. Из темноты позади него беззвучно появилась его жена — тучная женщина с тремя подбородками и подозрительным взглядом. Явился и служащий гостиницы Марио. Удивительно, что вся деревня не ввалилась в комнату на меня поглазеть. Вручая ему чеки, я сказал, что хочу отдохнуть, и спросил, могу ли побыть в ее номере — в номере, который раньше принад-

лежал ей. Синьор Альберго возразил: в любой момент прибует новый постоялец. Я посмотрел на него, он смягчился. Я поднялся и лег на кровать, где совсем недавно лежала Касс Клив. Пока угасал день, я думал о многих вещах, в особенности меня занимало явление, о котором я узнал случайно, когда читал о господине Мандельбауме и его проделках, — речь идет о феномене, который известен у неврологов как синдром чужой руки. Это примечательное и редкое заболевание — зарегистрировано не более полусотни случаев — является результатом своеобразного бунта в нервной системе. Обычно нормальный и кажущийся здоровым пациент не может совладать со своей рукой, которая по собственной воле и прихоти производит действия независимо от него и часто вопреки его собственным интересам. За столом он обнаруживает, что своенравная ручонка насильно кормит его пищей, которую он не хочет есть; он встречает знакомого на улице и, вместо того чтобы протянуться в приветственном жесте, рука взлетает вверх и шлепает удивленного знакомого по физиономии. Время от времени поведение руки становится настолько несносным, что вторая рука должна быть призвана для подавления выходов первой; возникающая при этом борьба может быть жестокой до крайности и может закончиться нанесением ран самому себе и даже падением. Один пациент неоднократно пытался задушить себя и мог бы добиться успеха, если бы ему не бросились на помощь и не оторвали самоубийственную — или просто убийственную — руку от его горла. В тот день, лежа на кровати в опустевшем гостиничном номере, я задавался вопросом, может ли половина человека быть анархистом, стремящимся к разрушению целого. Ибо одно дело думать о Касс Кливе как о цельной персоне, охотно покидающей этот мир, и совсем другое — допускать возможность того, что, даже когда она кончала с собой, заключенная в свои собственные неразъединимые объятия, половина ее кричала в ужасе, как ребенок, которого уносит в своих лапах демон.

Я сел на последний паром. Юный Марио проводил меня до пристани, я не знаю почему, может, его родители — я упоминал, что он был сыном хозяев гостиницы? — хотели удостовериться, что я покинул эти места. Или, возможно, моя утрата требовала соблюдения церемониальной симметрии: встретив меня на пристани, он должен был отвести меня туда же. Он был безукоризненно вежлив, подстраивался под темп моего шага, поддерживал меня под руку, когда я ступил на покачивающийся трап. А потом подождал на причале, пока паром не отплыл, и даже помахал мне на прощание. Были сумерки, его белая рубашка светилась неземным светом. На

самом деле его звали не Марио, не знаю, почему я его так называл, а Анджело; эмиссары Небес принимают самые неожиданные воплощения. *Адью, Анджело.* Поднимая кипучие буруны, паром развернулся, мы выскользнули из гавани и направились к горизонту, где, подрагивая, сиял остаток дня. Стоя на корме, я вынул из кармана мокрый комок нижнего белья и бросил его в море, где он на мгновение закружился, распутившись, как японский цветок, а затем исчез во мраке, под волнами. На Леричи опускалась темно-синяя ночь. *Она оставила меня в тишине...* Мне следовало подождать, пока море вернет ее тело. Да, следовало подождать.

Весь тот длинный день меня преследовало ощущение, что все это время кто-то во мне притаился. Когда я осматривал места, где она была, или дотрагивался до ее вещей, будто кто-то другой смотрел за меня, моими глазами, касаясь этих вещей кончиками моих пальцев. Впоследствии мне пришлось в голову, что с помощью какой-то симпатической магии я, должно быть, предчувствовал, что будет с ее отцом, когда он туда приедет: приплывет на пароме, поднимется на холм к церкви, остановится в том гостиничном номере, который был так заполнен ее отсутствием. Боюсь, что мы на пару уничтожили ее, старый Феспис и я. Однажды она сказала, что любит его, а я ответил, почему бы и нет, ведь он ее отец, но она закрыла глаза, покачала головой и как-то по-своему поморщилась, как делала иногда, и сказала “нет”; тогда я ее не понял, но она имела в виду, что *была влюблена* в него и всегда *любила*. Я подумал, что это чушь, придуманная, чтобы произвести на меня впечатление или шокировать, и больше не сказал ни слова. Однажды, поздно вечером, уже после ее смерти, я позвонил по найденному в ее вещах номеру и после первого же гудка мне ответил мужской голос. Он казался неестественно бодрым, будто обладатель этого голоса лежит без сна, ожидая звонка — возможно, моего. Я пытался что-то сказать, но был слишком пьян и, кроме того, плакал. Она сказала мне, что ее отец актер или был актером. Уверен, у нас с ним много общего. В конце концов, я ведь тоже актер, но не профессионал, а вдохновенный любитель. Разница лишь в том, что роль, которую я играю, принадлежит только мне и не может быть исполнена кем-то еще, на сцене или за ее пределами. Но ведь и Аксель Вандер был таким, разве нет?

Меня ожидали новые сюрпризы, новые потрясения. Однажды я сидел за карточным столиком в своем кабинете, в доме Франко Бартоли, и писал первые страницы этого повествования перьевой ручкой, которую она мне прислала, — и в ручке закончились чернила. Сам я чернил не нашел, а Франко дома

не оказалось. Я вышел и после утомительных и вялых поисков — собирался дождь, школьники пинали листья в сточных канавах, — наткнулся наконец на лавку с канцелярскими принадлежностями на узкой улочке у реки. В лавке стоял запах застывшего клея и полыни, как в школе моего детства. Магази́чик был настолько узким, что мне пришлось встать боком между прилавком и витриной с выставленными на ней тонкими тетра́дями и твердыми блокнотами. За прилавком стояла румяная и непропорционально крупная женщина, одетая во все черное, с нарисованными бровями и уложенной в высокую причёску копной покрытых лаком волос; было в ее манерах что-то неопределенное — она могла бы быть старшей медсестрой в больнице, или надзирательницей в тюрьме, или даже учительницей. К моей просьбе она отнеслась с профессиональной деловитостью и начала доставать одну за другой бутылочки с чернилами, протягивая их мне и указывая на этикетки длинным алым ногтем. Когда я наугад выбрал один из пузырьков, она одобрительно кивнула, медленно закрыла глаза и поджала губы, будто я прошел тест на исключительный вкус. Она спросила, взял ли я с собой ручку и не хочу ли сейчас ее наполнить. Это предложение, наряду с запахом школьной комнаты и близостью, навязанной нам замкнутым пространством, намекало на интимность, одновременно тревожную и странно притягательную, и я почувствовал себя маленьким мальчиком, которого не отпускает после уроков особо расположенная к нему учительница. Я робко достал ручку и отвернул не без труда корпус, ибо внутри было что-то, какие-то бумажки, плотно обернутые вокруг одноразового картриджа, — “Ессо, *signore, una segreta!*”¹ — и крепко обвязанные шелковой ниткой, которую мне удалось, хоть и не сразу, развязать, после чего я развернул клочки бумаги, разложил их на стеклянном прилавке и попытался удержать растопыренными пальцами. Сначала из-за того, что бумажки продолжали скручиваться и сквозь них пробивался свет, я не мог разобрать напечатанные слова, однако потом увидел его фотографию, и свою тоже, и наши написанные с ошибками имена. Продавщица наклонилась вперед так, что ее лоб почти касался моего — я почувствовал довольно приятный запах мыла, исходящий от ее волос, — и тихонько вздохнула, будто мы вместе откопали спрятанное сокровище. Затем она посмотрела мне в лицо, и выражение озабоченности, обеспокоенности появилось в ее глазах, она протянула руку и нежно положила ее на

1. Смотрите, синьор, здесь потайное отделение! (*Итал.*)

мою. Какие же странные эти крайне редкие, трогательные, сбивающие с толку мгновения, когда незнакомец выходит из толпы и без всякой причины, из простого добросердечия, предлагает слова утешения и протягивает руку помощи. Что она увидела во мне, что вызвало у нее такое сочувствие? Дрожь, дикий взгляд, панические рывки из стороны в сторону, застывшую на лице беспомощность? Посмотрите на меня, пойманного в свете фар, онемевшего от удивления и боли, с последними скудными секретами, выставленными на всеобщее обозрение, готового приникнуть головой к огромной груди этой женщины и выплакать все слезы из своего отвердевшего сердца.

Но вот что удивительно. Больше всего меня шокировал не трюк, который проделала со мной Касс Клив, и не раскрытые тайны — а то, что она все это время прекрасно знала, кем я был. Глядя на эти древние обрывки газетной бумаги, заметку о его смерти в “Штандарт” и две фотографии в “Газетт”, сопровождавшие его пародию на интервью со мной, я думал не о нем и даже не о Касс Клив, а о Магде. В этот момент я наконец осознал то, что знал всегда, сам того не подозревая, — она, Магда, тоже была причастна к моей тайне. О, я не говорю, что она знала наверняка, что я не Аксель Вандер или что буржуазное происхождение, которое я якобы презирал, баловавшие меня родители, роскошная квартира, бедные родственники, принадлежали не мне, а ему. Я не говорю, что она знала все это в деталях. Ее знание о моей двуличности проникало глубже — оно проникало в самую мою сущность. Не спрашивайте, как она догадалась. Возможно, она встретила кого-то, кто был знаком со мной еще до того, как я стал Акселем Вандером — Америка в те дни была полна чужих секретов, — или, может, отвергнутый ею поляк что-то разнюхал обо мне и моем прошлом и не преминул сообщить ей. Какая разница? Неважно, неважно. Просто я был изумлен ее молчанием. Все те годы, когда я думал, что спасаю свою личность с помощью обмана, на самом деле именно она поддерживала мою целостность, сохраняла мою неприкосновенность, притворяясь обманутой. Она была моим молчаливым гарантом подлинности. Именно это я осознал, стоя в тот день в магазине канцелярских товаров на виа Бонафус, и будто рухнула стена, которая ограничивала мою жизнь, и передо мной открылась панорама огромного мира, которую я никогда раньше не видел.

Погрузившись в это состояние изумления — изумления ребенка, открывшего одну из тайн мира взрослых, я почувствовал острую необходимость рассказать кому-то об этом открытии. Кристина Ковач не подходила — для нее, так далеко

ушедшей в сторону смерти, все это было бы не более чем далеким щебетанием, обычными сплетнями живых. О том, чтобы выболтать подобные вещи Франко Бартоли, не могло быть и речи. Я мог бы довериться его матери, конечно, мои секреты навсегда остались бы в безопасности: она забыла бы про них сразу, не успев услышать. Однако в итоге я обратился к доктору Зороастру, выбрав его доверенным лицом и исповедником. Это было в тот день, когда он помог перевезти Кристину Ковач в мою квартиру. Да, я привез ее жить со мной, или, точнее, умирать, как она сама заметила, криво улыбнувшись. Была машина скорой помощи из больницы, два выбритых до синевы санитаров в белых халатах, которые больше походили на парикмахеров, чем на медработников, но все же они осторожно и ловко отнесли ее в кресле вверх по лестнице и уложили в постель — я отдал ей мою спальню, а себе устроил ложе на диване в другой комнате. Доктор дал ей успокоительное, и она была в полубессознательном состоянии, ее бедная голова безвольно склонилась, и она бормотала что-то себе под нос на языке, который я не узнавал. Лысая и иссохшая, все еще в белом больничном халате, она была похожа на ученого восемнадцатого века, который собрался на прием без парика. Мы с доктором стояли у изножья кровати, наблюдая за ней, когда я услышал, как начинаю рассказывать ему все подряд. Нет, не все, конечно, — с выработанной годами скрытностью трудно расстаться. Я рассказал ему, что Касс Клив знала обо мне нечто особенное, не говоря ничего конкретного, и, обнаружив это, я сразу и впервые понял, что и моя жена это знала. Он слушал спокойно и сосредоточенно, стоя в своем большом пальто и шарфе, не сводя взгляда с уже находящейся в забытии женщины. Пошел первый снег, в низкое окно у кровати просачивалось холодное дыхание природы, вокруг царил приглушенная тишина. По мере того как уходящий год постепенно становится бледнее, ассирийская смуглость лица доктора Зороастра становится все более выраженной: у него свирепые темные глаза и профиль хищника, как у хозяина пустыни. Одна из самых поразительных деталей его присутствия, одновременно тревожного и ободряющего — это неподвижность. Он будто действует по принципу прерывистой энтропии: выходит из неподвижности и молчания, начинает двигаться и говорить, а затем снова погружается в себя и выглядит так, будто вовсе не шевелился. Порой ему нужно довольно много времени, чтобы ответить на вопрос или сформулировать какое-то замечание, и может показаться, что он вообще не обращает внимания на внешний мир, а находится в какой-то отдаленной внутренней

сфере расслабленного созерцания и спокойствия. Полагаю, это прибежище тех, кто чудом выжил. Теперь он выдержал еще более продолжительную паузу, и я уже сожалел о том, что заговорил; я питал тоскливую надежду, что он вообще не станет отвечать. Он закурил с грациозным жестом фокусника, что является еще одной его особенностью, его руки медленно двигались, сквозь них плыли и опускались клубы дыма, и, если бы я не был так загипнотизирован его словами, я бы быстрее осознал странность сказанного им. Он спросил, заметил ли я его удивление, когда впервые назвал ему свое имя. “Вы помните? — сказал он. — Мы приятно проводили время. Пили кофе в Бисерине”. Я вспомнил место, но не вспомнил его удивления, да и о каком удивлении могла идти речь при мумифицированной царственной маске, ставшей его лицом? Он сказал, что был удивлен, ибо слышал имя Аксель Вандер раньше, очень давно, при совершенно иных обстоятельствах и в совершенно иной обстановке. Здесь он остановился, вынул сигарету изо рта, и его глаза сузились от дыма — казалось, он что-то вспоминает. Он медленно повернулся и вышел из спальни в кабинет, где свет от лампы слабо конкурировал со светом дня. Он подошел к окну и посмотрел сквозь грязные стекла, наблюдая, как падают белые хлопья. Я чувствовал, как учащенно бьется мое сердце, — оно всегда предчувствует возможные потрясения и реагирует подобным образом. “Снег, — пробормотал доктор. — Да, снег”. Он сказал, что встретил Вандеров где-то в лесу, — они, как и он, ждали транспортировки в лагерь. Это были люди среднего возраста, еще здоровые, но в состоянии сильного эмоционального потрясения. Они обменяли на еду последний маленький мешочек с бриллиантами, которые им удалось провезти с собой, спрятав в подкладках одежды, и их перспективы, как и перспективы всех тех, кого туда привезли, были весьма мрачными. Они уже потеряли сына, уничтоженного, как они выразились, действиями вероломного друга. “Уничтоженного?” — тихо переспросил я. Или же я лишь подумал об этом. Я медленно сел за стол и оперся на него рукой. Есть особый выдох, напоминающий последний вздох. Куда отправили Вандеров, спросил я, куда их повезли? Он пожал плечами, не отворачиваясь от окна. “На Восток”, — сказал он.

Я жду, когда приедет Франко Бартоли навестить Кристину Ковач, как это бывает каждый день. Он снова отращивает бороду, словно пытаясь компенсировать потерю волос Кристины. Думаю, она не всегда его узнаёт. Я оставляю их наедине, хотя подозреваю, что Франко хотел бы, чтобы я остался. После того как он, выполнив свой долг, завершает визит, я при-

глашаю его перед уходом немного со мной посидеть; мы выпиваем по бокалу вина, он шмыгает носом, сморкается и говорит о всякой всячине: Кристине Ковач, своей работе, событиях в большом мире; Касс Клив он не упоминает — наверное, щадит мои чувства. Я снова рассказываю ему любопытную историю доктора Зороастра о людях, которых он встретил в лагере в лесу, о людях, назвавшихся Вандерами. В действительности, я пересказываю ее самому себе. Я вспоминаю, как отец Акселя разыгрывал сценки, одновременно исполняя роли и Моисея, и Рахиль, как убедителен он был. Но если они?.. Если Аксель? Что мне думать? Франко Бартоли допивает вино и, вздыхая, уходит. Я слышу, как отъезжает его машина, надеваю шляпу с широкими полями, беру свою палку и, заглянув к Кристине, выхожу на зимние улицы, на свою ежедневную прогулку, свою повседневную Арлекинаду. Я думаю о том, какая мы странная компания: Франко, бедная Кристина, Доктор и я. В это время года в городе тихо. Однако у мертвых есть свои голоса. Воздух, в котором я двигаюсь, полон шепотов отсутствующих. Я скоро стану одним из них. Хорошо. Почему у меня должна быть жизнь, а у нее нет? Она. Она.